

У Р А Л Ь С К И Й
Снегоным

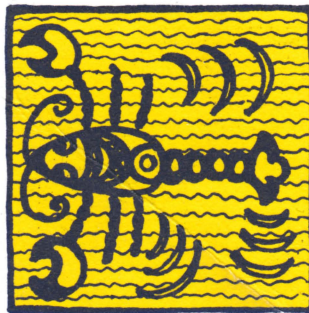
ISSN 0134 - 241X

11-12'1994





**ЖЕЛАЕМ
СЧАСТЬЯ
В НОВОМ ГОДУ!**



УЧРЕДИТЕЛИ —
СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РФ
ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ЖУРНАЛА

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1935 ГОДУ,
ВОЗОБНОВЛЕН В 1958 ГОДУ.

РЕДАКЦИЯ:

Виктор КЛОЧКОВ
(главный редактор),
Юний ГОРБУНОВ,
Маргарита ГОРШКОВА
(художественный редактор),
Герман ИВАНОВ
(заместитель главного редактора),
Андрей ПОНИЗОВКИН,
Юрий ШИНКАРЕНКО,
Нина ШИРОКОВА,
Леонид ШУНЯЕВ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Виктор АСТАФЬЕВ,
Владислав КРАПИВИН,
Станислав МЕШАВКИН,
Николай НИКОНОВ,
Олег ПОСКРЕБЫШЕВ,
Борис СТРУГАЦКИЙ

Компьютерная верстка:

Галина ЦВЕТКОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

620219, ЕКАТЕРИНБУРГ,
ГСП-353, УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 67
ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ:
223-662 (ФАНТАСТИКИ),
224-501 (КРАЕВЕДЕНИЯ, СЕКРЕТАРИАТ),
220-481 (ПРОЗЫ И ПОЭЗИИ,
ПУБЛИЦИСТИКИ, НАУКИ И ТЕХНИКИ,
МОЛОДЕЖНЫХ ПРОБЛЕМ)

Рукописи принимаются перепечатанными
на машинке через 2 интервала, 60 знаков
в строке, 28-30 строк на странице.

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

По вопросам подписки и доставки
обращаться в районные отделения
«Росвязьинформа».

Бражованные экземпляры отправлять
в ИПП «Уральский рабочий».

Reg. № 441 от 13.12.90.

Подписано к печати 14.12.94.

Формат бумаги 84×108/16.

Бумага газетная.

Печать с фотополимерных форм.

Усл. печ. л. 10,08.

Уч.-изд. л. 12,9.

Усл. кр.-отт. 12,6.

Тираж 25 000 экз

Заказ № 914.

Все претензии по ошибкам в тексте предъяв-
лять редакции журнала «Уральский следопыт».

Отпечатано с готовых оригинал-макетов
на ИПП «Уральский рабочий»:
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

На 1 и 4 стр. обложки
слайды Николая ПЕРЕВЫШИНА.

У Р А Л Ь С К И Й
СЛЕДОПЫТ
U R A L S T A L K E R

В НОМЕРЕ: 11-12/1994

Верхуслава из Большого Гнезда Юний ГОРБУНОВ	2
Хочу принять постриг... Марина НЕЧАЕВА	6
Наставник молодого Пушкина Владимир СТОЛИЦЫН	14
Снежная кавалерия Александр ХИТРОДУМОВ	15
Дубовые дощечки Юрий ШИНКАРЕНКО	19
Стихи Михаил НАЙДИЧ	22
Ограбление почтового поезда БУАЛО-НАРСЕЖАК	23
Заочный КЛФ	31
Журнал в журнале "Аэлита"	
Микроб на лысине Валерий ГАПЕЕВ	33
Отец Владимир ПОКРОВСКИЙ	42
Черно-белое Александр АНДРИЕНКО, Роман ЕРИМЕЕНКО	50
Гостеньки из мироздания. Вылазка во мрак Михаил НЕМЧЕНКО	55
Биологический возраст Евгений ГАРКУШЕВ	59
Ловцы бульдозеров Олег КОСТЕНКО	61
Загарай Виктор МЯСНИКОВ	62
Пленник Альберт ЗЕЛИЧЕНОК, Елена БУРМИСТРОВА	63
Стихи Владимир КУЗИН	57
Ведьмины круги. Повесть Елена МАТВЕЕВА	66
Содержание за 1994 год	94
Узловат узор Нина ШИРОКОВА	96

Юний ГОРБУНОВ

Верхуслава из Большого Гнезда

Мальчишник

Почти столетие минуло после княжения святого Владимира. Киевский великокняжеский стол постепенно терял свое могущество.

После Ярослава Мудрого, единственного из двенадцати владимировых сыновей, достойно княжившего на Руси, началось выделение и обособление русских княжеств, состязание княжеских самолюбий и амбиций. Даже добродетельнейший Карамзин горько и монотонно пишет "о сих временах, скудных делами славы и богатых ничтожными расправами многочисленных властителей".

Законы Ярослава, впервые начертанные языком славянским, стали на Руси чуть ли не началом беззакония властьпредержащих.

Сын Мудрого — великий князь Изяслав, отменив смертную казнь, указом своим словно бы разрешил гулять по Руси сабле и мечу безнаказанно.

В пору княжения другого ярославова сына — Всеволода — митрополит Руси Иоанн написал "церковные правила", осуждающие прегрешения мирские и христианские, но ими (правилами) только отгенил тот произвол, что царил на Руси.

Среди этих усобиц выделяется добродетельная личность переяславского, а потом великого киевского князя Владимира Всеволодовича Мономаха. По его почину не раз собирался на ковре в Киеве совет князей,

Рисунок
Натали ПЛАСТОВОЙ



выражавших клятвенную преданность друг другу. Но не успевали князья разъехаться, как в голове кого-нибудь из них уже готов был план очередного коварства. Назвать хотя бы беспричинно жестокое ослепление князя Василька Ростиславича.

Недолго княжил в слабоем Киеве шестой мономахов сын — Георгий (Юрий), за свое честолюбие прозванный Долгоруким (прозвище, кстати сказать, уничижительное: народ киевский этого князя не любил). Однако в пору неразборчивой и кровопролитной тяжбы своей за главный престол властолюбивый князь начал успешную колонизацию северо-западных окраин. Он сел там христианство, а с ним и культуру и оставил по себе память как неустанный градостроитель. Кроме Москвы, основал города Юрьев-Польской, Переяславль-Залесский и другие. Он же заложил в 1154 году город Дмитров недалеко от Москвы и назвал именем своего сына Всеволода-Дмитрия, который на этом месте и в том же году появился на свет. Это будет впоследствии великий князь Всеволод III Большое Гнездо, с дочерью которого — княжной Верхуславой — нам с вами и предстоит познакомиться.

После Юрия Долгорукого княжил в Киеве Изяслав Давидович, но счастье и слава уже отвернулись от стольного града.

Начиная с изяславова княжения, Русь перестала быть Киевской. Престол великокняжеский на время переместился во Владимир. Туда, в Русь Владимиро-Суздальскую, и наша с вами теперь дорога.

Эту знаменательную передвижку стола совершил другой сын Юрия Долгорукого — Андрей, получивший прозвище Боголюбский. От престола киевского, вокруг которого звенели мечи междоусобиц, князь подался на берега северной реки Клязьмы и, укрепив основанный там Мономахом город Владимир-Залесский, положил начало новому великому княжению. Какое-то время Киев пытался еще противостоять Владимиру древностью своих храмов, могил и величием старины. Но Бог, как видно, отвратил от него свой лик. В 1169 году город был осажден союзными дружинами северян, которые впервые силой открыли его ворота. С этого времени великое княжение полностью перешло во Владимир, и первым великим князем Владимиро-Суздальским стал Андрей Юрьевич Боголюбский.

На этом пора нам попрощаться с Русью Киевской. Это было младенческое государство. Чтобы ему стать взрослым, предстояло княжествам пережить период самостоятельности, почувствовать сладость собственной земли и свободы, притягательность родных могил, прелесть малой родины, верность долгу отцов. А одновременно осознать пагубность дробления, слабость раздробленности. Но за науку надо платить, и Русь платила. Внутренняя смута разжигала аппетиты и безнаказанную дерзость соседей-кочевников, особенно ханов половцев.

Непомерной и жестокой платой за самостоятельность удельных княжеств явилось вскоре на Русь татаро-монгольское иго.

Вот такими очень беглыми шагами мы с вами и прошли это столетие. На его протяжении женщины словно бы и не участвовали в истории. Неясными тенями, бессловесными фигурами проходят они по сцене кровавых смут и междоусобиц. Режиссер обесцветил и обезжизнил этот свой спектакль. Он стал скучен, жесток и однообразен как бесконечно затянувшийся мальчишник. Женщин в мужские игры не принимали, а они только лукаво улыбались многомудрым повелителям своим, прекрасно понимая, что жизнь вовсе не похожа на спектакль, именуемый русской историей. Она течет и по их женской — супружеской, материнской, сестринской — прихоти. А ведь нас с вами интересует именно женское лицо Древней Руси, то лицо истории, которым она к нам еще никогда не поворачивалась.

Женщины не участвовали в спектакле, но жизнь отнюдь не была такой бесцветной и однотонной.

Мы с вами видели княгиню Ольгу, которая мудростью и силой духа могла поспорить с любым правителем-мужчиной. Мы наблюдали рабынь по войне — Малушу и Рогнеду, не ронявших чести и достоинства в великокняжеском окружении, И как бы исключениями из правил они стали только по милости летописца позднейших времен, не историю писавшего, а пьесу по своему сценарию.

Как и в античном мире древних греков, на Руси Киевской в младенческом состоянии проявились многие личные и общественные добродетели, несущие на себе печать матриархата, первобытной нравственности.

Древние русские города и веси оглашались не только звоном мечей и звуками труб, но и счастливым смехом любимых и любящих. Под этим смехом радугой красок и звуков наполнялся ликующий мир. Трели птиц и ручьев, краски неба, дубрав и туманных рассветов переполняли чашу, и любовь сестер, невест, матерей и жен изливалась рождением детей в счастливых муках матери, обретением дома, населенного теплом и уютом, вознесением в небо куполов — ведь только любящие, окрыленные руки могут соперничать с деяниями Творца!

Возвращаясь с кровавых игрищ в стены городов, мужа и братья не укор находили там, а ласку и всепрощение. И наступал тогда мир на кровавой от игрищ земле, и наполнялась вновь безоглядно расплесканная чаша.

А если удача была на стороне врага, и становились женщины его добычей, сия чаша до краев наливалась горько-сладкой жертвой, и на выжженной земле опять пробивались зеленые побеги жизни. Если бы не женское всепрощение, не врачующие руки и устали не знающее материнство, как ненадолго хватило бы нас, не умеющих прощать и останавливать занесенную для удара руку?!

Ничего этого нет в спектакле, именуемом историей, и женский облик ее приходится складывать из мозаичных крох, случайно оброненных летописцами мужских ристалищ.

На колокольне Спаса

Дружина Всеволода стояла в те дни против войска черниговского князя Святослава. Между супротивниками текла река Влена. (Ныне река Веля, приток Дубны в Талдомском районе Московской области.) Ни тот, ни другой не торопились перейти ее. Святослав сомневался в силе своего разношерстного войска, а Всеволод не хотел покидать выгодных, дарованных ландшафтом, позиций. А еще он поминутно помнил, что в тереме детинца (так в древней Руси назывался Кремль, крепостца, ограждающая княжеский двор внутри города) осталась на сносях жена его Мария и вот-вот подарит его вторым дитем. Не хотел князь запятнать это событие кровью — пусть даже и половецких воев, нанятых Святославом.

Шел тогда 1181 год. И родилась у Марии и Всеволода во Владимиро-Залесском вторая дочь — Верхуслава.

Дружины так и не скрестили мечей на Влене, а разошлись, каждая мня себя победительницей. Но ничья была-таки в пользу Всеволода. Сумел он без крови и силу строптивым князьям показать, и достоинство сохранить. И дитя свое в колыбельном сне не потревожить.

Всеволод в это время, что называется, набирал очки как великий князь стольного града Владимира. Уже и Киев понимал, что не может с ним не считаться. Рязань склонилась перед ним главу. Новгородская вольница хоть и бузила, а в последний момент все-таки уступала князю владимирскому.

Всего было намешано в нем предостаточно: и хитрости, и коварства, и мужества, когда доходило до брани. Ничто не останавливало в стремлении собрать Русь под молодым крылом Владимиро-Суздальского княжества.

Но нельзя не заметить в княжении Всеволода некий

налет матриархальности, уловленный молвой, впоследствии нарекшей князя Большим Гнездом. Она, матриархальность Всеволодова княжения, несомненно шла от Марии-ясыни — жены князя.

Всеволод был у Юрия Долгорукого из последних сыновей. Между ним и братом его Андреем Боголюбским разница в сорок лет. Без отца остался он тринадцатилетним. Место на Горе великокняжеской в Киеве либо во Владимире ему вроде бы и не светило. Жили они с братом Михалкой сами по себе — то в византийском изгнании, то под суровым княжеским приглядом брата Андрея. Рано научился Всеволод осторожности, надежде только на себя самого, и жил самостоятельно. И жену, невесту как очутившуюся на Руси молодую ясыню (осетинку), нашел себе сам. Сам, чтобы не ломать язык, нарек Марией, и женился на ней не по династическим либо еще каким соображениям, а по любви и близости душ.

Это она, ясыня Мария, собирала всеволодово Большое Гнездо, народив ему в любви беззаветной четырех дочерей и восьмерых сыновей. И, похоже, что каждое рождение накладывало ненарушимое табу на копьё, стрелу и меч в их кровавой тризне — как то было на Влене. Застывала нога коня у границы соседнего княжества и ходила по рукам братина (Сосуд — золотой, серебряный, медный, деревянный), в котором разносили питье на всю братию при большом застолье.) с медом, когда в княжеском тереме раздавался первый крик новорожденного.

Раннее детство Верхуслavy текло во Владимире, вблизи его Золотых ворот, в княжеском дворе, доставшемся Всеволоду от брата Андрея Боголюбского. Каждое утро, выбегая на крыльцо терема, встречала она сияние, исходящее от белокаменного Спаса — легкого, воздушного, вызывающего беспричинную улыбку. Людская молва донесла до нас свидетельство, что сия каменная невидаль была предтечей другой сказки, созданной годом позже руками андреевых камнесечцев, — церкви Покрова на Нерли. (Стоящая ныне во Владимире церковь Спаса более поздней и иной постройки. А та, что помнила Всеволода и Верхуслavy, сильно пострадала при пожаре 1778 года и была разобрана.)

Дни проводила Верхуслava в окружении матери, нянек, сестры Всеславы да двоюродной — Пребраны. Но была, похоже, отцовою дочерью. Любила редкие минуты покоя на его коленях, прогулки с ним на клязьминские берега.

А однажды летом, после заутрени, выйдя из церкви, отец не подтолкнул ее, как обычно, к матери, а, не выпуская руки, свернул от паперти по травяной дорожке за стену церкви, и зашагали они к колокольне Спаса. Ступени были высокие, отец брал ее под мышки и поднимал, приговаривая: "Оп-ля".

Поднялись на первый ярус. Открылась панорама города совсем необычного, Верхуславе незнакомаго. Терема, хоромы боярские, дощаники на пристани — все сгрудилось и прижалось к земле. Зато Клязьма и Лыбедь смотрелись живыми бликующими лентами, уходящими далеко-далеко.

На всем, особенно на храмах, видны были еще не залеченные следы прошлогоднего пожара.

— Ветер какой, — сказал отец и, накрыв Верхуслavy

широким корзном, (Корзно — княжеская принадлежность, плащ-накидка, закрепляемая на груди запоной.) Тепло и тихо стало, прижал к себе.

Верхуслava нашла глазами выбежавшее за городские стены и тоже сгрудившееся монастырское подворье. Там, в стенах деревянного Вознесенского монастыря, говорят, покоится несчастная тетка ее, неуступчивая страдальца Ольга. Видеть ее Верхуславе не довелось, а слухов ходило много.

Была она женой галицкого князя Ярослава Осмомысла, но мира между ними не было, ибо в извечном конфликте княжеском с боярами держала Ольга их сторону.

Жили они с князем чаще всего поврозь, и утешался Ярослав с наложницей Анастасией. Уже выросли у него дети. Дочь Ефросинья выдана была за новгород-северского юного князя Игоря, а сын Владимир уже готов был с помощью бояр и матери взобраться на высокий княжеский столец (княжеское кресло) в завидно богатом Галиче.

Бояре галицкие жили в вечной тревоге: семейные неурядицы князя соблазняли близких венгров, поляков и супротивную Волынь на легкую добычу. Война то и дело стояла на пороге Галича, и бояре винили в том "ведьму" Настасью, князеву наложницу.

Однажды они взбунтовались, расправились с любимцами князя, Настасью пожгли на костре, сына ее Олега, ехидно именуемого "Настасьевичем", заточили в поруб (яма со срубом, куда сажали провинившихся.) А с униженного князя вытребовали клятву, что будет впредь с боярами считаться и не станет за сию расправу мстить. В этом беспримерном бунте богатого, приграничного Галича княгиня Ольга была боярским знамением. Семейная распря потрясла все удельное княжество.

Бунт грозил Ярославу потерей княжения, и он пошел с женой и боярами на мировую. Но мир недолго длился. Снова начались у князя раздоры. Но на этот раз Осмомысл пустил в ход дипломатию и восстановил против боярской партии всех князей-соседей. Когда неуступчивая княгиня опять покинула Галич и явилась к брату во Владимир, Всеволод отказал сестре в помощи. Отчаявшись, Ольга ушла в стены монастыря и в самый год рождения Верхуслavy там скончалась.

В княжеском тереме детинца ее вспоминать не любили, а вот Верхуслava с затаенным любопытством и симпатией ловила даже мимолетные слова о строптивой тетке из Галича. Ее супротивность была княжне по нраву.

С юга бесшумно летели дымы какого-то далекого пожара. Что-то горело за синеющим на горизонте лесом. Говорят, там, в десятках поприщ от Владимира, обретается ясская земля — родина матери ее, Марии. Еще там живет горячий и своенравный народ — грузины.

Так вот у тех грузин случилось небывалое: править народом была поставлена женщина, молодая, едва ли не двадцатипятилетняя царица Тамара. Отец ее, царь Георгий, в самый пик своего владычества решил короновать дочь, и феодалы, окружавшие трон, не посмели ему перечить.

Но мало еще того. По княжескому двору во Владимире пошли слухи, что объявился в Грузии с половецкой дружиной князь Юрий Андреевич, всеволодов племянник, неудачливый наследник владимирского стола.

Всеволод лишил его удела, и он покинул Русь. Долго ничего не слышали о нем, считали, что сгинул. И этот-то князь-неудачник объявился ни много, ни мало мужем грузинской царицы! Мария считает, что "позаботилась" о том тетка Тамары — царица Русудан. Та самая Русудан, коей довелось побывать великой княгиней на Руси Киевской: незадолго до кончины своей тогдашний князь Изяслав Мстиславич взял ее в жены. Замужество длилось каких-нибудь три-четыре месяца, князь умер, а Русудан вернулась на родину, но русского духа, видеть, хлебнула.

Мария к выбору царицы Тамары относилась холодно. И не только потому, что пал он на князя-изгнанника, как бы в пику великому князю владимирскому, а потому еще, что на руку Тамары с большим основанием претендовал дальний родственник Марии осетинский царевич Давид Сослан!

У Верхуслavy так у той глазенки загорались, когда слышала она в женских покоях рассказы о романтических событиях в горной стране.

Недолго будет Тамара женой русского князя-кондотьера. Опершись на меч его и дружину, утвердится она на троне и отринет Юрия, как выпитый бокал, и протянет руку свою осетину Давиду, и будет четверть века самодержавно править Грузией. И будут поэты, вслед за первым и талантливейшим из них — Шота Руставели*, слагать о ней величавые оды.

**существует мнение, что в поэме Ш. Руставели "Витязь в тигровой шкуре" князь Юрий Андреевич стал прототипом Фридоны.*

Но об этом не дано было провидеть Верхуславе даже с высоты колокольни Спаса.

Не знал-не ведал Всеволод, о чем грезилa укрытая им от ветра девочка-княжна, не знал, что видения ее так не по-детски близки и созвучны его собственным великокняжеским думам. А то присел бы на корточки, взял бы дочь за плечи и пытливо глянул в материнны карие глаза.

Но князь все молчал, глядя на восток, за береговые кручи Клязьмы. Где-то там, в половецких степях, вдали от дома сложилa прошлой весной головы лихая новгород-северская дружина князя Игоря и курская — Всеволода, брата его.

Как малое дитя, как распалившегося отрока уговаривала Игоря жена его Ефросинья, на колени падала, умоляла погодить, поостеречься, послать гонцов к Святославу в Киев. Сама готова была заложить возок и мчать к дяде своему Всеволоду, просить если не помощи мужу, то вразумления, слова мудрого. Чуяла Ефросинья, чем обернется для Руси безоглядная лихость мужа. Кто бы ни был врагом русских князей — "поганые" ли половцы, собственные ли бояре или соседние удельные княжества — война оборачивалась бедой земляпашцам, купцам и горожанам, их детям и женам, стерегущим и спасающим семейные очаги.

Не пустил Игорь. Не воспринимал он Ефросиньюшку как советчика в княжеских делах. Только торопливо целовал, прощаясь. Думалось и грело, что лишь слепая любовь жены держит его за алое корзно, а не страшное женское предчувствие беды. "Глупая ты, Ярославна. Разве не славу себе и тебе иду я с дружиной добывать

в степях половецких? Зачем же делить ее, славу, загода?"

Да, молодость этого не умеет и не хочет.

Не зрелым мужем, желавшим мира и лада Руси, а мальчишкой-воителем смотрелся тогда 34-летний князь северский. Лихая кровь бурлила в нем. Бабушка Игоря была ведь половецкая. Да и все "ольговичи" — ветвь, идущая от Олега Гориславича, князя тьмутараканского — несли на Руси бремя недоброй славы друзей и родичей ханов половецких. Давно ли вместе с ханом Кончаком искал Игорь той же "славы" в русских княжествах? Давно ли, поссорившись с князем переяславским, грабил его города? Теперь, мнилось, светила легкая добыча и легкая слава в степи половецкой.

Недолго пришлось Ярославне ждать подтверждения самых худших своих предчувствий. Неудачный поход Игоря открыл ворота половецкам на Русь.

Наверное, о том же, но по своему думал в этот миг и Всеволод, глядя в заклызьминскую даль. Наверно не только окрестности виделись со Спаса по-другому, но и минувшее, и грядущее Руси Владимиро-Суздальской. Да и судьба самой княжны Верхуслavy. Потому что снял он вдруг ладонь с головы дочери и широкий трехперстный положил на себя крест.

Княгиня-девочка

Верхуславе не было еще и девяти лет, когда просватали ее за княжича Ростислава и отправили из Владимира в Белгород. Чтобы понять пружины сей сугубо политической акции, придется нам ненадолго навеститься в Киев.

Когда отдал Киев великокняжеский стол Владимиру-Залесскому, стали в Киеве исподволь верховодить бояре. Но князь же по-прежнему домогались престижного княжения в древней столице. Усобицы эти боярам надоели, и они измыслили очень оригинальную форму правления — так называемый дуумвират. На княжение садили сразу двух властителей да еще из враждующих кланов. Старший княжил в самом Киеве, а второй — на так называемой "русской земле" со столом в Вышгороде или Белгороде. Этим бояре пытались хоть как-то усмирить вражду и держать Киев в мире.

Так вот в годах восьмидесятых XII века такими соправителями в Киеве были князь Святослав из Ольговичей, тот самый, что стоял против Всеволода на Влене, и Рюрик Ростиславович, долго, упрямо и безоглядно добивавшийся киевского стола. Он, как и Всеволод Большой Гнездо, был ветви Мономаховой.

Великий князь владимиро-суздальский, конечно же, не хотел упускать Киев из-под своего влияния и решил породниться с одним из дуумвиров. Он знал, что Святославов век уже недолог, и первым князем в Киеве скоро будет Рюрик. За его-то сына Ростислава и выдал он свою любимую дочь.

Сватовство и свадьба Верхуслavy, не в пример и более значительным событиям на Руси, удостоились почетительного внимания киевского летописца. Еще бы! Всеволод отдавал дочь-любимицу. Отдавал в пору своего великого княжения на Руси. И тем, что отдавал ее отроковицей и что отдавал в Киев, хотел он всем без обиняков показать, что не семейное это событие, а обще-

русское, не мечом достигает он мира и послушания удельных князей, а такой вот личной и дорогой ему, князю, жертвой.

Для девочки Верхуслavy перемены были как бы и не всерьез. Отец словно бы предложил ей игру, и она доверчиво ее приняла. Представляется нам Верхуслava девочкой бойкой, с мальчишескими замашками, с рано развившейся претензией не подчиняться, а княжить. Будь иначе, Всеволод, любивший Верхуслavu, не решился бы так рано ставить на нее в своих политических планах.

Выбор жениха оказался удачным. Ростислав белгородский среди князей вовсе не был фигурой третьестепенной, но в то же время умел уважать неписанные династические и родственные законы. Он и его родня, видимо, тоже приняли условия игры. До известной поры Верхуслava жила не обремененная супружескими обязанностями. Порукой ее нестесненности в новом семейном кругу была тяжелая рука великого князя и его непрекращаемый авторитет на Руси.

Было лето 1189 года. Богато обряженный кортеж прибыл во Владимир из Белгорода. Во главе сват поставил ни кого-нибудь — князя. А свитой к нему — знатнейших бояр с женами.

Опять замолчали мечи на Руси, обопнулись усобицы. Почитай, два великих князя — южный и северный — через девочку Верхуслavu протянули друг другу руки.

Ранние браки на Руси не в диковинку, но свадьба восьмилетней девочки все равно событие незаурядное.

В женской половине детница суматоха со слезами, но и подобием маскарада. Князь от Верхуслavy не отходит, ловит даже мимолетнюю печаль на лице ее и спешит зацеловать, заутешить. Да Верхуслava же папина дочь. Печали не ведает, радуется нарядам и представляет себя царицей Тамарой, ожидающей суженного. Словом, она еще ребенок и личин (масок) на лицах окружающих не замечает.

Только у Марии игра не выходит. Когда все готово стало к отъезду дочери, разом сникла, спала с лица. Неслышным слезам дала волю. Знала, что отрезает, что завтра не будет уже у нее дочери, и это вот беззаботное дитя станет княгиней.

То и дело ищет Мария племянника — князя Владимира галицкого, коему поручено невесту сопроводить и сдать жениху с рук на руки. А тот, непутевый, все к медуше (погреб для хранения медов и вин) жметса, который день навеселе. Понимает, что не спроста ему всеволодово поручение.

Никак не давался Владимиру Галич. У кого только не искал помощи — то в Польше, то в соседних княжествах, то у Фридриха Барбароссы. Король венгерский не то, чтобы помочь — коварно заточил его в высокую башню, но князь сбежал, изрезав на веревки свой ша-тер. Теперь он во Владимире. И вот наконец великий князь решил поддержать "сестричича" (племянник, сын сестры) на галицком столе и посылает его на свадьбу дочери — как бы заявить о том всей Руси княжеской.

Потому и весело князю, потому и крутится он у медуши и ни одну поневу (юбка) мимо не пропустит, чтобы не ущипнуть. (Этот самый Владимир Галицкий, кстати сказать, колоритно изображен в опере Бородина "Князь Игорь".)

Все готово в обратный путь: бояре на сытых конях, невестин разукрашенный возок, дружина под началом всеволодова милостника, другой возок, полный серебра и золота — приданое Верхуслavy. Бьют во Владимире колокола — церковь поминает нынче своих первых святых Бориса и Глеба. Золотые ворота распахнуты настежь. Высоко сияют купола отстроенного после пожара Успенского собора.

Прощай, Лыбедь тихая! Прощайте, высокие ступени Спаса! А с тобою, детство мое, не умею еще расстаться.

До третьего стана (то есть до третьей ночевки) ехали с Верхуславой Всеволод и Мария.

"Плакасы по ней отец и мати, — говорит киевский летописец, — занеже бо мила им, и млада сущи осьми лет..."

Долго, неторопливо следовал свадебный поезд по Руси от Владимира до Белгорода, где была в ту пору резиденция киевского соправителя. Только теперь смогла Верхуслava лицезреть суженного своего — 16-летнего княжича Ростислава.

Он приглянулся Верхуславе. Подошел к возку серьезный, но румянцем меченый, подал руку девочке-невесте и, придерживая левой меч, помог сойти на землю. Был на нем синий кафтан, перетянутый блестящим поясом, алое корзно, собранное на груди запоною, куныя шапка с малиновым верхом, а на ногах сафьяновые, се-ребром отделанные сапоги.

Стояли на почтительном расстоянии гости — бояре и князевы милостники. Обстановка заставляла княжича быть собранным и серьезным. Верхуслava же по-девчачьи улыбалась жениху. Робости и смущения не было в ней. Была игра, и продолжалось детство.

Под открытым небом детница уже ждали столы. Свадьбе предстояло быть пышной и многолюдной. Как сообщает летописец, съехались в Белгород слишком двадцать удельных князей, дружественных Рюрику и Всеволоду. Ходили по кубкам братины с медом и вином Хиосским. Говорены были тосты. Рюрик, являя щедрость свою и приязнь к юной снохе, подарил Верхуславе город Брягин.

Нечастыми были ныне на Руси такие застолья Рюриковичей. Возможность словом перекинуться, в глаза друг другу посмотреть, попытаться узнать ближайшие намерения...

Академик Рыбаков предполагает, что на этом княжеском застолье неведомый нам творец читал публично "Слово о полку Игореве". Ведь многие герои поэмы собрались за тем столом. Был и сам Игорь новгород-северский, только что тоже женившийся сына на рюриковой дочери Ярославе.

Скорее всего, виновники торжества — юная княгиня и князь-отрок — были скоро забыты гостями и в одиночестве лакомились яствами. Сидя на высокой лавке, крытой ковром персидским, и болтая ногами, не достаемыми до пола, княгиня хмурила бровки и повторяла материны слова:

— Князь, не перевернуть ли тебе кубок?

Теперь детство Верхуслavy странным образом продолжилось в образе жены, княгини за стенами города-крепости. Женив сына, Рюрик, похоже, оставил ему Белгород на удельное княжение, а сам с двором своим

перебрался в Овруч — город, тоже некогда побывавший древлянской столицей.

Древнерусский Белгород не имеет ничего общего с нынешним областным центром, коего в ту пору не было и в помине. Летописный Белгород стоял чуть юго-западнее Киева, где сейчас находится село Белгородка. Ничего здесь не осталось от старины, кроме могучих валов, обозначивших прежние крепостные стены.

Любопытную реконструкцию Белгорода дал в своей книге "По следам Добрыни" А. М. Членов. По его версии это была земельная столица древлянского князя Святослава Владимировича. Город и закладывался в 880-м как стольный, сразу после вокняжения Владимира в Киеве, и зачинателем Белгорода был, якобы, Добрыня, сын древлянского князя Мала. Мощью крепостей и валов, размахом своим город древлянский изначально соперничал с Киевом и совсем не случайно стал позднее столицей сопратителей княжества. Стоял здесь монументальный собор, не оставивший однако следов. Зато найдены остатки глубоких колодцев — не тех ли, из которых по легенде черпали кисель печенег?

По легенде этой осажденные белгородцы решили обмануть печенегов. Из последних запасов сварили кисель, вылили его в два-три колодца и пригласили вражеских послов убедиться, что сама природа помогает осажденным и что измором их не взять.

Не одну осаду выдержали эти стены. Знали княжеские усобицы, видели дикую сцену ослепления Василька Ростиславича, князя теребовльского; были, говорят, свидетелями появления на свет первого летописного свода.

В таком-то вот городе, мясцем себя столицей, предстояло Верхуславе стать из девочки женой, потом женщиной, потом матерью.

Вообще сказать, и не только город силится дотянуться до близкого Киева, но и всем его князьям-обитателям не давал покоя стол великокняжеский, ныне надежно оседланный Святославом. Тесть Верхуслав — Рюрик спал и видел себя первым князем киевским. О том же начинал помышлять и муж — Ростислав. О том толковали и обитательницы женской половины детинца. Поверила мало-помалу в их честолюбивые мечты и Верхуслава. С этими помыслами и взрослела юная жена, по-детски радуясь мужниным удачам.

А молодому Рюриковичу явно фартило. История как-то замолчала тот факт, что именно Ростиславу и его дружине удалось загладить нелепую историческую оплошность Игоря новгород-северского. Весной 1191 года молодой, но вовсе не безрасудный князь, взяв под свое начало дружину Черных Клобуков*, хладнокровно разгромил рать половецкую на реке Ивле. Не пришлось Верхуславе, подобно кузине ее Ярославне, плакать на городской стене, предчувствуя неудачу на Каяле. Напротив, радостно прыгала и хлопала в ладоши одиннадцатилетняя княгиня, когда принесли ей весть о победе Ростислава. А потом в тереме кинулась к мужу на шею и целовала еще не горячими детскими губами.

*Черные Клобуки — тюркское племенное образование, сложившееся к середине XII века между Степью и Русью как буферное из торков, берендеев, печенегов и ставшее вассалом Руси. Черные Клобуки помогали русским князьям обороняться от половцев. Постепенно эти степняки-союзники слились со славянами и стали

составной частью будущей украинской нации. (См. И. В. Можейко. 1185 год. М., 1989, с. 283)

Через два с лишним года Ростислав еще раз предпочел защите от половцев нападение на них. Та же половецкая река Ивля стала свидетельницей новой и еще более добычливой его победы. Летописец услужливо пересчитывает взятых им в полон мужей, коней, колодников, скот и челядь.

И удачливому князю, и, чего греха таить, юной княгине захотелось похвастаться этой победой перед родственниками. Супруги совершают триумфальную поездку. Сначала к Рюрику в Овруч, потом к дяде ростиславову в Смоленск. Везут богатые "сайгаги" (подарки). Прислышав о громкой победе на Ивле, и Всеволод зазвал к себе зятя с дочерью.

Можно себе представить, как встречали во Владимире 13-летнюю княгиню и князя-победителя, какой праздник был для Марии и Всеволода!

У Верхуслavy подрастали братья. Старшие — Константин и Юрий — приняли уже постриг (пришедший из язычества обряд пострижения волос у мальчиков и сажания их на коней). После этого они из женских рук переходили в мужские. Девятилетнего Константина Верхуслава держала ровней. Утрами брали они коней и в сопровождении гридня (младший дружинник), минув Золотые ворота, ехали на клязьминскую пристань, где, стиснутые льдом, дожидались весны допаники. Верхуслава, серьезничая, рассуждала о походе мужниной дружины в Степь и о том, что не за горами у них с Ростиславом киевский стол...

Прибыв летом, они провели во Владимире всю зиму. Одарив многими дарами, сообщает летописец, Всеволод с честью отпустил их восвояси.

А стол киевский скоро действительно достался Рюрику — умер престарелый Святослав, и киевляне с крестами встретили нового князя. Гуляя в Киеве мономаховичи, празднуя вокняжение Рюрика. Прислал и Всеволод своих бояр. Стал Киев и вовсе под его крылом — ведь он теперь старший среди мономаховичей! Юная Верхуслава сделала свое дело, породнив двух великих князей. Игра была сыграна.

До пятнадцати лет (наверное, был такой уговор при сватовстве) молодых ночами вдвоем не оставляли. Но пришло время и Верхуславе расставаться с детством. В 1198-м, когда исполнилось ей семнадцать, княгиня родила дочь. Ей дали имя Ефросинья (наверное, в честь Ярославны, игровой жены), а по византийским святцам — Измарагд. Киевский летописец сообщил, что Рюрик взял внучку к себе в Киев "и тако воспитана бысть в Киеве на Горах". Затем история потеряла ее из виду.

Опять на колокольне Спаса

И снова был июнь.

Звонили заутреню. Вчера был тяжкий разговор с Синомом, епископом владими́ро-суздальским.

Стояла Верхуслава на ветру колокольни.

Потрескавшиеся от времени перила, казалось, были нагреты рукой отца. Те же голубые ленты Лыбеди и Клязьмы, посерквивая, уходили за горизонт. Но не было уже девочки Верхуслavy. Стояла на ее месте 33-летняя вдова, и черный плат ее трепетал на ветру.

Не было матери, а грудилась у северо-западной городской стены строения и купола девичьего Княгинина монастыря, возведенные в тоске и слезах Марии последних лет жизни.

Не было отца, а вознесся рядом с новым княжеским дворцом собор Димитровский — достойный памятник всеволодову великому княжению.*

**На северном фасаде храма есть скульптурное изображение Всеволода. Он сидит на троне с новорожденным сыном Владимиром (в крещении — Дмитрием) на коленях, а вокруг — другие сыновья его "Большого гнезда".*

Не было мужа — князя Ростислава, а осталась вот эта золотая гривна-медальон, подаренная восьмилетней невесте 16-летним женихом...

Лихим половецким всадником проскакали по жизни взрослые годы Верхуславы. Прах оставили они за собой. Прах и могилы.

После смерти Святослава и вокняжения в Киеве Рюрика, смута вокруг стола не только не утихла, но стала ожесточеннее. То и дело приходилось Верхуславе собирать мужа на лихую ли брань с соотечественниками, на осаду ли русского города или в поход на неудобное Киеву княжество.

Беспощадный воитель Роман волынский и галицкий, несмотря на прямое родство с Рюриком, оказался главным его соперником. С помощью Черных Клобуков ему удалось открыть ворота Киева и выгнать Рюрика. Но когда Роман с дружиной отсутствовал, Рюрик, соединившись с Ольговичами и с половцами, напал на Киев как на город чужеземный и произвел в нем такое жестокое опустошение, какого еще никогда не знала древняя столица. Рюрик жаждал стола, Ольговичи — династической мести, а половцы — легкого грабежа. Не было пощады, пишет Карамзин, ни знаменитым людям, ни юным женам, ни священникам, ни монахам. С той поры город лишился своего блеска.

Усобица на Руси достигла апогея. Только ленивый и немощный не изгалялся над Русью и не грабил ее.

Вернувшись к Киеву, Роман сумел хитростью и коварством пленить все семейство Рюрика. Попали в его сети и Ростислав с Верхуславой. Мнилось Верхуславе, что игрушечным домиком рассыпается та хранина родственных связей, что кропотливо возводил ее отец. Ни честь, ни клятва, ни родство, казалось ей, не имели уже силы на Руси.

Пленив семейство своего тестя, Роман насильно постриг родственников в монашество, не обойдя при этом даже дочь Рюрика — свою собственную жену! Над Ростиславом же и Верхуславой глумиться все же поостерегся. Только отправил их пленниками в Галич.

Расправившись таким образом с Рюриком, Роман между тем на Киев не позарился, а отдал его на усмотрение Всеволода, великого князя, а тот взял да и посадил на киевский стол своего зятя, галичского пленника Ростислава. Подарил, можно сказать, Киев любимой дочери. Вот ведь как повернулась к ним переменчивая судьба.

Наверно, надо было радоваться, слать дары во Владимир, ставить щедрые столы киевлянам. Но ни то, ни другое вовсе не было уместно: великий город достался им на княжение разграбленный, униженный и обезлю-

девший. Голый трон стоял посреди пепелища. А если прислушаться тревожными ночами, то за стенами детинца воскреснут железный лязг мечей, мольбы и стенания жен и обрывки молитв, обращенных к небу...

Такого ли триумфа жаждал Ростислав, хотела Верхуслава? А что если поруганные половцами жены, разоренные храмы Киева, бессмысленная жестокость Рюрика и насильное пострижение дочери его, что если это только битые карты в отцовской дипломатии?

Вот этот-то горько-сладкий итог в детстве затеянной игры и стал началом череды невозвратных для Верхуславы потерь.

Княжить в Киеве Ростиславу довелось недолго. Может быть, года три. В 1205-м в одной из стычек погиб воитель Роман, князь волынского-галицкий и тем самым развязал руки Рюрику. Тот немедленно сбросил с себя одежду инока и снова ринулся к утраченному киевскому престолу. С укором смотрела вслед ему жена. Она приняла иночество как веление Божье и не согласилась на расстрижение. А чтобы муж не заневолит, ушла в схимники, то есть обрекла себя на затвор монастырский.

Рюрик же объявился в Киеве, и сын почтительно уступил ему престол. Бояре только головами качали на такую бесцеремонность вчерашнего варвара.

Но город уже вновь наполнился народом, и были киевлянам по душе фортели князя-инюка — уж тут-то он на угощенье не поскупились!

Рюрик сел в Киеве, а Ростислав занял второй стол — в Вышгороде. Всеволод на это помалкивал. Стали отец и сын соправителями княжества.

Во владимирском детинце между тем давно назревала драма. Лет семь уже как тяжело занемогла княгиня. Велико было гнездо, свитое Марией-ясыней. Сыновей летописцы насчитывают восемь (двое умерли младенцами), дочерей определенно называют четырех: Всеславу, Верхуславу, Елену и Сбыславу. Может, были и другие да не оказались повода упомянуть.

Дочери... В хозяйстве мудрого князя они — немалый капитал. Противовес усобицам и распрям. Они как бы мирный аргумент в политическом соперничестве — мы это видим на примере Верхуславы. Если сыновья появлялись на свет с мечами и для мечей, то дочери — с братьями.

Осетинка Мария оказалась истинной славянкой — по широкой, любвеобильной и всепрощающей натуре своей. Похоже, что ни одного державного шага не сделал великий князь, не посетив перед тем покоев княгини Марии, не вобрав в себя благотворного духа материнского молока, тепла любящих глаз и ответливых на ласку рук и плеч. Не раз бывало, что напуганный дурным сном или предчувствием, бросал Всеволод все дела и с малою дружиной, очертя голову, мчал в детинец, чтобы только увидеть свою Машу здоровой и, как прежде, любящей его.

Умела Мария упредить иную княжью расправу, незаметно повернуть мужа с тропы войны на тропу то ли хитрого маневра, то ли временной уступки. Так что с годами это стало и собственно всеволодовой тактикой.

Сильны были чары Марии-ясыни над князем. А раз над князем, то и над княжеством, а коли это княжество великое, то и над Русью всей витали чары Марии в пору всеволодова княжения.

Недуг Марии был наполовину физический, а наполовину душа страдала — как у всякого существа мыслящего и совестливого. Счастлива она была рядом с мужем и тяжело было ей с ним. Много отдавала она любви и сил материнских, и стремительно при этом оскудевала чаша ее. Не на все стало Всеволоду хватать Марии. Блекла некогда броская красота горянки, не могли быть, как прежде, частыми и горячими ласки ее. Много детям приходилось отдавать, обделяя мужа.

Стала замечать Мария легкие князевы измены, сначала и самому ему удивительные, которые он тут же старался замолить перед ней. Но дальше — больше. Появилась у Всеволода отрада — дочка витебского князя, по годам куда ему не ровня.

И занемогла Мария. И зачатила в храмы, которые и прежде щедро одаривала землей, деньгами, драгоценностями. Ее бы к князю лишний раз, а она — в храм. Тогда и выстроен был ею Успенский женский монастырь. Сама нашла строителей и место указала.

Монастырь рос, княгиня сдавала. А как освятили храм и прижились в кельях первые насельницы, и вовсе покинули Марию жизненные силы. И попросила она мужа свезти ее в монастырь и оставить там на покаяние. Тогда-то и прискакал в Вышгород к Верхуслане гонец из Владимира.

Многолюдными были проводы Марии. Сама хотела того княгиня, и Всеволод не перечил. Любимый сын Юрий приехал, дочь Верхуслана. Других детей летописец не упоминает. Зато "был тут епископ Иоанн, духовник ее игумен Симон и другие игумены и чернецы все, и бояре все и боярыни, и черницы из всех монастырей, и горожане все проводили ее со слезами многими до монастыря, потому что была до всех очень добра".

Чуждо сердце Марии: последняя это ее дорога земная — от княжеского двора в Печерном городе до Успенского монастыря. Зимней была еще дорога, 2 марта было на дворе 1206 года. А 19-го княгини Марии не стало. Упокоили прах ее в том же монастыре, в алтаре придела Благовещения. В надгробной надписи названа она Марфою — именем иноческим, которое носила 17 дней. "Сын ее Юрий, — сообщает летописец, — плакал и не хотел утешиться, потому что был любим ею".

С тех пор девичий Успенский монастырь во Владимире зовется Княгининым монастырем.*

**Здесь же, в Успенском соборе монастыря, погребены вторая жена Всеволода, сестра Марии — Анна, а также жена и дочь Александра Невского. Монастырь существует поныне. Правда, храм уже другой, более поздней постройки. Какою была та, княгинина, церковь, догадываются только археологи. Места княжеских погребений заложены кирпичом и сокрыты.*

Через три года Всеволод привел во дворец молодую жену — ту самую дочку витебского князя Василька Брючиславича. Доступные нам летописи имя ее не сохранили. Знал его только историк Татищев, пользовавшийся документами, до нас не дошедшими. Он называет ее Любовию.

Вторая, "молодая" жизнь великого князя длилась однако недолго. Апреля 15 дня 1212 года он тихо и спокойно скончался, оплаканный не только молодою женой и детьми, но боярами и всем народом русским. Гробница Всеволода была установлена в Успенском соборе, глав-

ном храме владими́ро-суздальском, рядом с саркофагом его брата Андрея Боголюбского.

Историки прежние и нынешние единодушны в оценке благотворных для Руси деяний Всеволода Юрьевича Большое Гнездо. "Он был рожден царствовать, — пишет Карамзин, — хвала не всегда заслуживаемая царями!" Один из немногих русских князей времен усобиц, стремился он властвовать без василия, избегая бесполезной крови, предпочитая мечу дипломатию. По мнению Б. А. Рыбакова, княжество при Всеволоде укрепилось и разрослось, стало крупнейшим феодальным государством в Европе — ядром будущего Московского.

Великий князь владими́ро-суздальский был, несомненно, сдерживающим началом в потоке удельных распрей, захлестнувших Русь. Но исключительно личность князя, — а многое в ней пло от жены — играла здесь решающую роль. Ибо после смерти Всеволода именно "большое гнездо" его, распавшееся на удельные княжества и не сдерживаемое уже сильной рукой, довершило губительное дробление Руси.

Еще примерно через два года не стало у Верхусланы и мужа. Исчезло со страниц его имя летописей — незаметно и загадочно. Похоже на то, что по какой-то причине не в строку была его смерть летописцу, и он замолчал ее.

Вблизи того же времени мелькнуло в летописи последний раз имя и самой Верхусланы. Она упомянута в послании владими́рского епископа Симона черноризцу Киевопечерского монастыря Поликарпу. Этому монаху, как видно из письма, Верхуслана пыталась покровительствовать в его честолюбивом стремлении обрести епископский сан. "Не пожалео и тысячи серебра для тебя и для Поликарпа", — якобы сказала она епископу, предлагая награду за услуги.

На эту просьбу княгини Симон отвечает высокопарно и с достоинством (по крайней мере, так явствует из письма): "Дочь моя, Анастасия! Дело не богоугодное хочешь сделать!"

Историки невысоко ставят личность монаха Поликарпа, и видимо он действительно не заслуживал епископского сана. Но нам не это любопытно, а сам стиль просьбы Верхусланы ("серебра не пожалео") и ответа епископа ("не богоугодное дело хочешь сделать, дочь моя").

Наверно это не первая попытка Верхусланы покровительствовать и с высоты своего положения влиять на монастырские дела. Монастырь ведь — один из главных объектов благотворительности, общественного служения для женщин ее времени и ранга. Наверно в несколько ином тоне просила бы она и ответил бы ей недавно рукоположенный архиерей, бывший духовник ее матери, если бы жив был великий князь Всеволод...

Не могла не переживать этот недавний разговор Верхуслана. С этими невеселыми мыслями и оставим мы ее на колокольне Спаса.

Был 1214 год. Такие ли еще печали предстояли ей и всей Руси от близкого уже нашествия татаро-монголов!

Урок девятый: монашество на Урале

Наш очередной урок (к сожалению, как видит читатель, мы не сумели выдержать последовательность тем, предложенную в первом номере журнала) поможет нам заглянуть за высокую и непроницаемую ограду православного монастыря, бытовавшего на Урале в XVIII веке.

На учительской кафедре сегодня Марина Юрьевна Нечаева, научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук. Закончив УрГУ, она занялась русской историей XVIII века, Кандидатскую диссертацию защитила по теме "Монастыри в системе регуляции общественной и хозяйственной жизни" на уральском материале. В уроке-очерке использован фактический материал, собранный в Государственном архиве Курганской области.

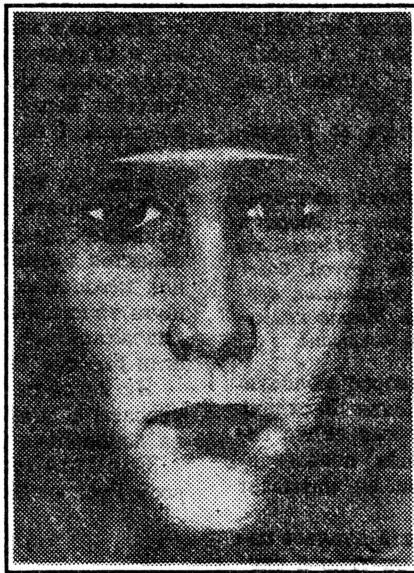
Марина НЕЧАЕВА

"Хочу принять постриг..."

"Имею я всепоследняя неотменное и всеусердное рачение... воспринять здесь... чин монахинский", — писала наместнику Далматова Успенского монастыря вдова Агафья Белозерова в 1759 году. То же писали до и после нее крестьяне, дворяне, посадские, служилые, священники и пономари, отставные солдаты, их жены, дочери, вдовы... За каждым прошением — человеческие судьбы, житейские трагедии и религиозные порывы, приводившие людей столь разных, к порогу одной монашеской обители, стоявшей на берегу уральской реки Исети.

Далматов Успенский монастырь в XVIII веке был известен на всем Урале: богатый, с обширными владениями, с почитаемой иконой Успения Богоматери, принесенной сюда основателем — старцем Далматом. Монастырь привлекал взоры и сердца многих. И многих принимал. В 1722 году в нем обитало 40 монахов; а в приписном Введенском девичьем монастыре монахинь было почти вдвое больше — 75. Выходцы из крестьян среди братии составляли большинство. Затем преобладало служилое сословие: дворяне, казаки. Были и посадские, священнослужители, инородцы... Зачем пришли они в обитель?

Говорить о мыслях и чувствах людей прошлого довольно сложно, о многом они молчали. В прошениях объясняли — кто искренне и просто, кто — сухо и почти формально, — что "обещались" пресвятой Богородице принять иночество и "до кончины жизни поработать



И. Глазунов. "Монахиня"
(фрагмент)

Господу Богу" или что возымел и "всеусердное желание и неотменное намерение" постричься... Вот и все о религиозных порывах. О проблемах житейских писали куда подробнее. "Ради старости своей глубокой... ибо имею от роду девяносто девять лет", — писал монах Филарет, прося о полной схиме. "Ибо муж мой помре"; ибо отец вот уже 5 лет как бежал, а мать умерла, "и для того я всеиужайшая во всеконечное сиротство пришла". Пятеро дев писали, что хотят постричься, "ибо мы нижайшие в замужество за слабостью здоровья своего итети не желаем". Быть может, так оно и было, но все пятеро оказались сиротами: отцы их умерли и перед смертью "завещали" им идти в монашки, а матери — с легким ли сердцем или со слезами, все подписались, что согласны.

Порой за плечами оставалось богатое прошлое. Сколько мест сменили, сколько работ и профессий, пока не оказались в обители. Вот монах Мисаил (в миру Михайло Старостин). Родился в Устюжском уезде в крестьянской семье, работал на купца, в 45 лет ушел на Каму на соляные промыслы, а еще через пять — в Далматов монастырь. Семь лет работал на монастырь "за

вклад", и только тогда его постригли. К тому времени ему было уже 58 лет.

Монах Иосиф (в миру Иоаким Смирных) — тоже из крестьян и тоже издалека — из Вологодского уезда. Он еще во младенчестве после смерти отца был "снесен" матерью в люди, обучился портняжить, зарабатывал на жизнь в Астрахани, потом в Нижнем Новгороде. А 35 лет пришел в Далматов, без паспорта (как и большинство других — все они беглые), два года поработал "за вклад" портным и был пострижен.

Постриг — акт отречения от мирской жизни — должен был совершаться послушником вполне сознательно, поэтому еще в раннехристианских монастырях существовали предписания не принимать до достижения определенного возраста. Сохранялись эти ограничения и в XVIII веке. Правда, полного единодушия в этом вопросе не было: для мужчин в церковных соборных правилах называется возраст 10 лет, а в "Духовном Регламенте" петровской эпохи — 30. Для женщины "правила" церковных соборов полагали возможным принятие монашеского сана не ранее 70 лет, а девицам — не ранее 60-ти. Однако практика вносила поправки: указом 1701 года возраст пострига в монахини снижался до 40 лет.

На деле же все было иначе. Монахами Далматова в XVIII веке становились и 15-ти летние юноши, и старцы, коим далеко за 80, а в монахини постригали и 8-летних девочек. Для женского монастыря практиковалась даже более низкая возрастная граница, чем для мужского, хотя предписывалось прямо обратное. В состав братии принимали послушников всех возрастов в равной степени, и число принявших постриг ранее разрешенных 30 лет было относительно невелико, а вот женская община состояла в основном из "нарушительниц" — до разрешенного возраста (50—60 лет), причем со временем их становилось все больше. И это абсолютно не беспокоило церковные и светские власти, которые были прекрасно осведомлены о постоянных нарушениях возрастных предписаний. Половина монахинь принимали постриг

совсем молодыми — до 30 лет, еще треть — после 50-ти.

Непременным условием пострига считалась его добровольность. В процедуре даже был предусмотрен искус — срок проверки обдуманности желания. Предписывалось наказывать за принуждение к постригу родителями — детей, мужем — жены. В семнадцатый век однако не был оригинален в этом вопросе: церковные и светские власти по-прежнему напоминали о добровольности, и по-прежнему бывали случаи принуждения (хотя и не слишком часто). Вот один пример.

Из Тюменского Троицкого монастыря в Далматов была переведена монахиня Анна Булдакова. Когда ее по прибытии хотели облачить в монашеское платье, она заявила, что не пострижена, а только ряса и апостольник на нее наложены. Анна сообщила, что оказалась в монастыре не по собственному желанию, а по воле мужа, который "по злобе своей за то что она Анна на его Булдакова довела церковную татбу", привел ее в монастырь и попросил постричь. Схимонах Федор это исполнил, а потом в женском Тюменском монастыре, куда ее после пострига привез муж, игуменья с сестрами наложили на нее монашеский чин прямо в келье без священнослужения, хотя это полагалось делать только в церкви. Далматовские власти были несколько обескуражены таким оборотом и, поскольку оказывались непричастны к этому насилью, сообщили митрополиту, а Анну пока оставили белой. К сожалению, дальнейшее нам не известно.

В начале XVIII века Далматов монастырь был "богат" братией, и желающим принять постриг часто заставляли сначала поработать на монастырь мирянином (от года-двух до тридцати), и только потом кто-нибудь из братии "свидетельствовал": да, достоин пострижения. Для крестьян, не сумевших создать себе условия для жизни и спокойной старости, для больных и престарелых монастырь был желанной обителью, здесь не надо каждый день думать о куске хлеба, не останешься без крова на старости лет. Да и работа в монастыре полегче, пахать уже нет нужды, как раньше, когда мо-

настырь только возник и отстраивался, теперь монахи трудятся в хлебной, в келарне, наблюдают за работой других. Послушания бывали разные, и если назначенное тебе не по силам, можно попросить о другом. Монахини тоже без дела не сидели, но это была знакомая и привычная для женщин работа — прядение, ткачество, "шитье на сестер и братию" хлебопечение, уход за скотом. А еще при монастырях были больницы, и десять-пятнадцать иноков и инокинь жили там, когда не в силах были нести другие послушания.

Но скоро монастырю пришлось забыть об этих днях. Петр I считал монахов тунеядцами, а богатства монастырей многим внушали зависть.

Да и нравы монастырские давали основание для критики — пьянство, склоки, а сколько слухов и подметных писем "против государя" пущено черноризцами, которые не поняли его нововведений! И царь решил превратить монастыри в богадельни, лишить их притока молодых и трудоспособных монахов. В 1723 году был издан указ, запрещающий постриг в монашество. Монастыри обречались на постепенное старение и вымирание. Только оставшиеся солдаты и вдовы священнослужители могли, если захотят, принять постриг. Но оставшие предпочитали жить при монастырях "на пропитании", гарантированном им государством, а из белого духовенства в Далматовом монастыре в 1722 году было только 4% монахов.

И монастыри пошли на нарушение запретительного указа. По-прежнему постригали и крестьян, и служилых, и других желающих. Правительство жестоко наказало нарушивших запрет: по всем монастырям провели расследования, постриженных "из запрещенных чинов" расстригли и отправили по домам, а тех, кто взял на себя смелость нарушить указ, оштрафовали, некоторых лишили сана и сослали в отдаленные монастыри в качестве простых монахов. Мера возымела действие: настоятели стали более законопослушны, а епископы и митрополиты строго наблюдали за этим.

Только в 1761 году были отмене-

ны "запретительные указы", но предстояло введение штатов монастырей (определение числа и количества "мест" в них) и секуляризация 1764 года — лишение монастырей земельных владений и крестьян.

Как же проходила жизнь в обители? При вступлении в монастырь послушник приносил ряд клятв, которым должен был следовать до конца жизни. Выполнение их составляло особый путь служения богу, в котором виделся смысл самого института монастыря. Обетов было три: целомудрие, смирение и нестяжательство. Их соблюдение всегда считалось делом непростым, поэтому в монастырях существовали специальные правила, иногда в устной традиции, иногда в виде письменного устава, детально регламентирующие весь образ жизни: как общаться с мирянами, каковы должны быть отношения между братией, как вести себя монаху, каков суточный распорядок монашеской жизни. С правилами знакомили еще до пострига, и каждый послушник дол-

жен был проверить себя — готов ли он жить этой жизнью до конца своих дней.

С самого начала существования христианских монастырей иноков стремились удержать в стенах обители. В восемнадцатом веке монахов стали ежегодно переписывать, наказывать за прием чужих чернецов. Куда бы ни отправлялся монах — на богомолье или по хозяйственным делам обители за пределы вотчины — он должен был предъявить паспорт, где четко указывалось, куда он едет. Боже упаси уклониться от маршрута — такого ловили, долго допрашивали в разных инстанциях, секли и под караулом отправляли назад. Особо строгими были ограничения на выход из женских монастырей. В них выбирались две старшицы из наиболее опытных и побожных, и только они могли покидать стены монастыря, каждый раз испрашивая на то согласие настоятельницы.

Не все выдерживали устав монашеской жизни, кое у кого возника-

ло желание сбежать и вновь стать мирянином, а то и просто побродяжничать, хоть на время почувствовать свободу. Далматовский архив сохранил один характерный случай. В 1724 году архимандрит монастыря получил челобитную от некоего посадского Варахина, тот сообщил, что в Тобольске под видом мирянина Ивана Максимова Стрекаловского живет беглый далматовский монах. Беглеца взяли на допрос, провели очную ставку, и он сознался, что действительно сбежал 14 лет назад, "а из чернечества то меня погнало, что впался в блуд и убоялся прещения архиерейского...". Дело было передано митрополиту, от которого последовала резолюция: быть ему до смерти в послушании в хлебе или поварне при огне (на трудных работах), поминая при этом, что уготовано грешникам. Позднее, в 1732 году было издан сенатский указ, предписывающий беглых монахов, пойманных в мирском одеянии, лишать сана и ссылать на заводы.

Далматовский Успенский монастырь было общежительным. Этот тип монастырей существовал издревле, и еще в раннехристианских обителях сложился принцип, согласно которому монастырские средства обеспечивались примерно в равной мере, по потребностям, но без излишеств, питанием и одеянием из монастырских средств. Общая трапеза, запрет "ясти" по кельям тоже обеспечивали общность средств существования. Инокам запрещалось иметь личное имущество, однако на практике некоторые далматовские монахи сохраняли свой скот, давали мирянам деньги в долг (а стало быть, имели их), из своих средств возмещали казенные растраты.

Уставные нормы Далматова монастыря строго запрещали привозить в монастырь любое "питие пьяное", за исключением кваса и меда, поставленных без хмеля. Судя по всему, пьянство с первых веков существования монастырей составляло один из основных пороков иноков. За него лишали благословения. Монахам запрещалось, кроме крайних нужд, появляться в корчмах и гостиницах. Однако несмотря на то, что эти запреты повторялись неоднократно, нарушений было доста-



М. В. Нестеров. "Пустынный"

точно. В XVIII веке епархиальные власти Сибири пошли даже на своеобразную "блокаду" обителей: в церковных вотчинах не позволялось иметь корчмы, и население довольствовалось вином, покупаемым на ярмарках. Далматовские монастырские власти четко соблюдали этот запрет, покупая на церковные нужды братии всего 1—2 ведра вина в год. Известны случаи публичного наказания провинившихся шлепами или плетями. За пьянство инока могли также перевести в другой монастырь — своеобразная "смена обстановки". Смирjali цепью.

Не меньше хлопот доставлял монастырским властям и другой грех, достаточно распространенный среди братии — "шумство", "своеволие", "непотребное поведение", в котором усматривали нарушение одного из основных обетов монашества — кротости, смирения. Выражалось оно в драках, ссорах, ругани, сквернословии, и наказывалось также, как и пьянство.

Из относительных новшеств XVIII века можно назвать запрет монашеству вести письменные занятия, иметь бумагу и чернила в кельях (заниматься этим можно было только с разрешения настоятеля в общей трапезной).

Распорядок дня в обители был довольно жестко регламентирован уставами, но увы, устав Далматовского монастыря не дошел до наших дней, и мы не знаем, как проводили монахи каждый свой день. Были равно предписаны как труд, так и молитва, и они не могли быть подменяемы друг другом. Послушания у монахов были разные: такими считались и должности настоятеля, эконома, казначея монастыря, и назначение монахов для присмотра за исполнением хозяйственных работ в вотчине, и отправка их во главе военно-хозяйственного отряда на далекий монастырский рыбный и пушной промысел на Тоболе. Почти полностью оторванные от обители, они должны были там организовать лов и засолку рыбы, добычу пушнины, и все это при постоянной угрозе нападения местных кочевых племен.

Словом, работы хватало на всех: монахов и было-то чуть больше десятка, а крестьян в вотчине в 1744



М. В. Нестеров. "Великий постриг"

году — 2150 человек мужского пола, да столько же и женского, всего более 4 тысяч. Хотя управляли ими не только чернецы, но и монастырские служители, и сама крестьянская община, а все равно везде требовался хозяйский монашеский "пригляд". Разъезжали по монастырским деревням, осматривали мельницы, скотные дворы, амбары, поля, учитывали хлебные и другие припасы... Далеко это от уединенной созерцательной жизни, да и на вольготное тунеядство что-то не похоже.

А еще школу содержали при монастыре, где дети служителей учи-

лись грамоте. Имелась школа и для детей священнослужителей окрестных церквей.

Право же, стоит с уважением отнестись к нашим далеким предкам, сочетавшим молитвы с каждодневным трудом, стремившимся, пусть и не всегда с равным усердием и успехом, соответствовать тому высокому нравственному идеалу, который в XVIII веке связывался с образом православного монаха.

*Фотоперепродакции
Н. ПЕРЕВЫШИНА*

Владимир СТОЛИЦЫН

НАСТАВНИК МОЛОДОГО ПУШКИНА

Май 1814 года... Российскую и латинскую словесность вот уже несколько дней лицеисты не учат: заболел преподаватель. Директор лицея пригласил спастись положение молодого преподавателя Петербургского педагогического института Александра Галича — знатока шести языков, кандидата философских наук.

Пушкину-лицейсту в то время, по выражению В. Жуковского, была "душе нужна пища". Пушкин сдружился с Галичем: новый преподаватель был великолепно образован и, что немаловажно, поощрял стихотворцев. Вечера, проведенные вместе, дали юному поэту так много, что все преподаватели лицея столько не могли дать. Пройдет двадцать лет, и Пушкин напишет в своем дневнике: "Встретил доброго Галича и очень ему обрадовался. Он был некогда моим профессором и одобрял меня на поприще, мною избранном. Он заставил меня написать для экзамена 1814 года оду "Воспоминания о Царском Селе".

Все пушкинисты обратили внимание на тот факт, что незадолго до гибели Пушкин снова возвращался к лицейскому эпизоду: "...Наконец вызвали меня. Я прочел мою "Воспоминания о Царском Селе", стоя в двух шагах от Державина, я не в силах описать состояния души моей: когда я дошел до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилося упительным восторгом... Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении. Он меня требовал, хотел обнять. Меня искали, но не нашли..."

Душевные наставления Александра Галича для лицеиста Пушкина сыграли особую роль. Еще в Севской семинарии Галич серьезно занимался переводом с иностранных языков, из газет и журналов "нужное выписывал в тетрадь, переводил нравоучения и рассуждения". В философском классе "малой академии" Севска он изыскал философию Баумейстера, Бруккера, читал латинских авторов. В 1806 году опубликовал собственную работу о поэзии под заголовком "О простосердечном". Естественно, близость такого наставника значительно определила дальнейшую судьбу Пушкина — начиная с того момента, когда он блестяще в лицее выдержал публичный экзамен на поэта.

Два больших стихотворения посвятил Пушкин другу своей юности — "Послание к Галичу" и "К Галичу"; его имя поэт упоминает в стихотворении "К пирующим студентам", и еще в одном — где высмеял клевету реакции, Директора Петербургского университета и пансиона Кавелина: "Бедный мой Кавелин-дурачок":

"...Нет, добрый Галич мой,
Поклону ты не сроден —
Друг мудрости прямой,
Правдив и благороден.
...Смотри, тебе в награду

Наш Дельвиг, наш поэт
Несет свою балладу.. "

Крупнейший исследователь пушкинских рукописей В. Е. Якушев обращает внимание на несколько исчерканных отрывков, написанных поэтом в 1815 году, которые он собирался переделывать; сбоку — трехстрочная ремарка: "О, если б мог достигнуть глас участия и удивленья в душе, не снесшей оскорбленья..." На Галича кем-то был сделан донос по поводу того, что у него на дому бывают недозволенные философские собрания. Еще один ученик Галича сожалел, как и Пушкин: "...Я лично много от этого, потерю, ибо много уже обязан ему и его наставлениям, получая часть его. Еще больше оставалось впереди".

Почти год давал Александр Иванович Галич уроки Пушкину, Дельвигу, Кюхельбекеру... И когда в "Евгении Онегине" Пушкин вспоминал:

"В те дни, когда в садах лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал,
Весной, при криках лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне..."

— не называя имени своего любимого учителя, он отдавал дань памяти человеку и наставнику, благословившему на долгие века одну из самых ярких поэтических муз.



Александр ХИТРОДУМОВ

СНЕЖНАЯ КАВАЛЕРИЯ

Аэросани в войну не напрасно называли "снежной кавалерией". На подступах к Новгороду в течение считанных дней на аэросанях было доставлено боеприпасов 130 тонн. В газете "Красная звезда" от 12 марта 1942 года рассказано о следующем эпизоде войны. Шел бой за большак, который немцы упорно обороняли. Когда во вражеской обороне была образована брешь, командование решило использовать для быстрой высадки десанта транспортные аэросани. Семь больших саней вихрем промчались по заснеженной поляне. Большак был прочно оседлан нашими войсками.

Аэросани использовались не только в период Великой Отечественной войны. В журнале "Военные знания" за 1949 год говорится, что еще в середине XVIII века крестьянин деревни Большепольская Нижегородской губернии Леонтий Шемшуренков подавал прошение о том, чтобы изготовить ему сани, которые могли бы ездить без лошади.

Изобретатель Яузской бумажной мельницы Ивашко Кулыгин выдумал сани с парусом и катался на них ночью. По доносу попа Варваринской церкви Ивашку схватили и нещадно били батогами, а сани сожгли.

Пионерами аэросанного дела были инженеры А. С. Кузин, А. Докучаев и другие. Первые аэросани, несовершенные и тихоходные, применялись только для спортивных целей. В 1908 году в Москве были сконструированы аэросани с моторчиком в 3,5 лошадиных сил, которые развивали скорость 15 верст в час. В 1919 году создается комиссия "по организации постройки саней". Новые типы аэросаней использовались на фронте — на них подвозили боеприпасы к осажденному Кронштадту. О пользе, которую принес молодой армии этот транспорт, можно судить хотя бы по тому, что экипаж был награжден орденом Красного Знамени. В 1932 году появилась новая организация — ОСГА — Отдел строительства глассеров и аэросаней.

Первые аэросанные училища появились в сентябре 1941 года в городе Соликамске Пермской области и в поселке Коряжма Архангельской области. Оба училища создавались на базе авиационных школ: самолетов тогда не хватало, а кадры были подготовлены. Обучение велось на лежневой дороге. С саней снимали лыжи и заменяли колесами — время не ждало: до снега нужно было научить людей управлять машинами. В ноябре 41-го года первый выпуск курсантов прямо из училища отправился на фронт.

Каждый фронтовик помнит свой первый бой. Помню его и я.

Это было 16 февраля 1943 года. Взвод младшего лейтенанта Кондакова, состоящий из трех боевых аэросаней, находился недалеко от поселка Пяльма. Патрульную охрану Онежского озера вел пограничный полк войск НКВД, и наш отдельный аэросанный батальон

был придан этому полку для борьбы с диверсионными группами.

Место, где находились два взвода — боевых и транспортных аэросаней — было очень удобным: и как стоянка, и как укрытие от вражеской авиации. Небольшой подъем со стороны озера на берег, а затем естественное углубление на ровную площадку, окруженную лесом. Выкрашенные белой краской машины сливались со снегом. Двигатели постоянно находились под утепленными капотами, в моторах менялось подогретое масло — в любую минуту можно было их завести.

Наш взвод — три экипажа, всего шесть человек. Наиболее интересный — экипаж Кости Кочеткова и Широкова Ивана. Костя, командир машины, — молодой, жизнерадостный, энергичный. Широков, водитель — вдвое старше Кочеткова, угрюмый, ворчливый, но человек хороший и водитель добрый. Кочетков неважно знал двигатель, зато Широков, до войны работавший шофером, быстро освоил авиационный мотор, и он у него работал безукоризненно. Интересная была пара, и дружная.

Я в эту ночь был дежурным. Выстрелы и красную ракету услышал и увидел почти одновременно. Солдаты выбегали на улицу, одеваясь на ходу, разбирали лыжи. Командир взвода Кондаков уже нес пулемет. Экипажи заволокли моторы. Мне ехать первому: я — механик-водитель у командира взвода; в сутолоке еще мелькает мысль: "Одевать маскировочный халат или нет? — Нет, некогда, надо скорее выехать". Противник хорошо ходит на лыжах — может скрыться...

В ночное время через смотровое окно видно плоховато, но фару включать нельзя — едем без света. Две остальные машины идут немножко сзади — слева и справа от нас: таков боевой порядок, движемся как бы углом. Кондаков увидел противника и выстрелил из ракетницы, толкнул меня в спину — торопит.

И тут мне обожгло голень правой ноги — боли не было, просто обожгло, как пчела укусила или кипятком плеснуло. "Ехать можешь?" — спрашивает командир. "Могу!" И, бывает же такое... Та же боль обожгла другую ногу: я понял, что ранен во второй раз. Мы остановились. Меня перевязали. Почти до самого Хед-острова мы преследовали диверсантов. В медсанбате, когда разрезали валенок и ватные брюки, — из одной раны выпала пуля. Пулю и крупные осколки я долго носил в кармане, хотел сохранить до конца войны. Но война затянулась, и я их потерял. А множество мелких осколков осталось в стопе правой ноги на всю жизнь.

В очередную военную зиму я вместе с другими солдатами грузил аэросани на платформу. Наш отдельный батальон прибыл на станцию Сегежа, откуда уже своим ходом мы пошли в Пяльму — опять туда, где прошло мое боевое крещение...

Дубовые дощечки

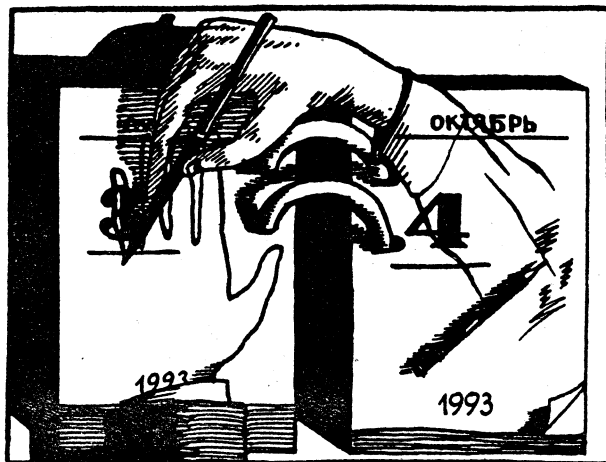
Превращения "кулачной игры"

Несколько дней назад я наконец решил избавиться от ваучеров. Обреченно понимая, что для меня, как и для большинства простых смертных, приватизационные чеки — всего лишь форма экономической учебы, этакий завлекательный способ навсегда запомнить, чем "дивиденд" отличается от "инвестиции", я не стал особо мудрить. И пошел в банк! Точнее, в банк... В один из коммерческих.

Решил совместить приятное с полезным. Сначала отделаться от ценных бумажек. Потом попробовать разобраться, как нынче выгоднее хранить деньги, что может сулить рядовому вкладчику бизнес-счет, а что, например, вклад накопительный. (Собственное финансовое неведение меня уже давно томило. Вдруг отвалит гонорар, хотя бы вот за эту публикацию, — да такой — что не только долги раздать, а и на тридцать три черных дня хватит. И куда с такими деньжищами?! Не в мешке же хранить!) Наконец, воочию хотелось увидеть, чем финансовые "малыши", рекламно угукающие о своем процветании со всех углов, отличаются от привычных "сберкасс", тех самых, что за несколько последних лет так изляпали себя мизерными процентными ставками, нехваткой наличности, очередями, хамством, что от одной вывески "Отделение Сбербанка" — ощущение деревенских ворот, вымазанных в дегте и посыпанных перьями.

Многозначительно бросив коллегам: "Я — в банк!", отправился...

Я стоял за стойкой, заполнял бланк договора и одновременно любовался, как матовое стекло "конторки" отражает офисное помещение: оливковые разводы настенных драпировок, притемненный под старину хрусталь люстр, компьютерные дисплеи, сочащиеся зелеными строчками... Ксероксы источали над собой запах озона, словно море после грозы. А девушки-операторы!.. Одна эффектнее другой!.. "Моя", та, что вносила в память компьютера паспортные данные, вдруг показала мне эталоном здешнего, банковского, очарования. Конечно, это под ее облик подбирался оливковый цвет драпировок, под ее черноту ресниц и слабую си-



неву теней на веках, под голубые прожилки ее рук, лежащих на клавишах компьютера. Это специально затемнены хрусталь люстр и цветочных ваз — не должны они соперничать с белозубой операторской улыбкой. И даже простоватые, обычного белого пластика жалюзи на окнах не выпадали из общей гармонии. Разве не смягчали они провинциальной, тавдинско-ирбитской вздернутости девушкиного носика?..

В общем, отгороженный от мира пластиковыми шторами, банк выглядел внушительно, автономно, самодостаточно. Здесь клиенту давалась возможность почувствовать себя если не голливудским миллиардером, то уж наверняка хозяином двух-трех "комков" в Екатеринбургe.

И я уже радовался, что мой вклад не дотягивает до миллиона. Ведь судя по рекламным листовкам, к клиентам-миллионерам банкиры являются на дом. А что в моем тесном дому? Разве помечтаешь? Разве ощутишь себя полновластным хозяином жизни?

...Вдруг звякнули подвески на люстрах. Хлопнула входная дверь. И в офисное помещение, бряцая полусапожками, вошел молодой охранник. Годика двадцати одного.

Он хозяйски полулег на стойку. Начал мурлыкать-курлыкать с "моей" операторшей... Потом достал из кармана тысячерублевую купюру.

— Натах, давай в жмэн сыграем...

— Во что? — удивилась Натаха и совсем отвлеклась от обслуживания единственного клиента, то бишь меня. — Я такой игры не знаю!

— Да это очень просто... — "боец" по плечи двинулся в окошко, стал объяснять так неторопливо, будто они одни с Натахой на всем белом свете и никто не донимает их дурацкими ваучерами. — У меня в кулаке тысяча рублей. На купюре есть семизначный номер. Говори, какие две цифры из этого номера твои...

— Ну, первая цифра и пятая, — с ходу врубилась Натаха.

— А мои — третья и шестая. Третья — это единица, а шестая — двойка. Всего — три. Так, теперь твои цифры сложим...

Это мы уже проходили! Лет пять назад!

Я повнимательнее взгляделся в "бойца". По возрасту, по манере поведения, по особому выражению лица, из которого даже "мурлыканье" не вытравило жестокости и самодовольства, в банковском охраннике угадывался бывший "пингвиненок".

"Пингвинятами" называли за середину восьмидесятых годов юных "катал" (картежных мошенников), любовавших кафе "Пингвин". Среди других молодых "каток" эта славилась особой жестокостью, изворотливостью, умением выколотить из подростков-сверстников любые деньги. Основным способом *снятия* с простодыр денег были карты. Но не брезговали "пингвинята" и другими приемчиками. В том числе и "жмэном". Дело в том, что "жмэн" — игра заведомо проигрышная для тех, кто не знает, что такое "колхозная капуста".

Мошенничество основывалось на том, что для "жмэна" отбирались особые купюры. Как можно больше нолей в серийном числе! Это и была "колхозная капуста", то есть купюра на "колхозника", на "лоха".

Все деньги, проходящие через руки, "пингвинята" проверяли на колхоз — и подходящие, с чередой "ноликов", припрятавали для лучшего случая.

Встретив доверчивого ровесника, юный мошенник предлагал ему игру с несложными правилами. Оба по-очередно называли порядковые номера двух цифр из серийного числа. Цифры складывались. Чья сумма оказывалась больше — тот завладевал купюрой (или отдавал равную по номиналу).

Несложно догадаться, что по теории вероятности простодыра наткнулся обычно на нолики. "Пингвиненок" же отлично помнил, где расположены цифры, отличные от нуля!

Среди сонма игр — настольных, интеллектуальных, спортивных, развивающих, народных, эротических и прочая — "жмэн" точнее всего было бы определить как игру КУЛАЧНУЮ. И потому, что "игровым полем" здесь был кулак, сжимающий купюру, и потому, что кулаками "пингвинята" пользовались, выбивая из проигравшего долг, зачастую очень крупный.

Впрочем, до кулаков дело доходило не часто. Подростковая молва быстро связала "пингвинят" со взрослыми мошенниками от карт. Попавшие на удочку простофили безропотно отдавали долг, не без основания полагая, что "пингвинята" покровительствуют (не за красивые глазки, конечно) такие "авторитеты" преступного мира, одни фамилии которых бросали в дрожь.

Сейчас эти фамилии известны еще шире. Преступные некогда *авторитеты* стали "авторитетами" легального бизнеса, солидными банковскими клиентами и даже — учредителями некоторых банков.

Я еще раз взглянул на охранника, чье присутствие так живо вернуло меня в недавнее прошлое и напомнило, на каких игральном костях воздвигнуто основание некоторых коммерческих структур. Покосился на бланк договора. Что за этим договором — не "колхозную" ли "капусту" держу я в руках? Не по заведомо ли проигрышным правилам взялся поиграть с банкирами? Не стоит ли все виды вкладов, в которых я пытаюсь разобрататься — все эти "срочные", "рождественские", "накопительные" — свести к одному: "колхозные" вклады?

Стало неуютно и противно.

"Боец", между тем, закончил подсчет "очков".

— У меня в сумме три... А у тебя... У тебя — ого! — аж пятнадцать очков! *Красенькая* — твоя! Держи... — И бывший "пингвиненок", гроза тощих ре-

бьчих карманов, бумажным самолетиком пустил по воздуху тысячерублевку.

Я не верил своим ушам. Специалист по "жмэну" проиграл "кулачную игру"! Но ситуация вдруг сразу расшифровалась...

Да потому и проиграл охранник — что специалист, что знал, КАК проиграть, какую купюру (анти"колхозную"!) для этого выбрать! Полузабытый шулерский приемчик он вывернул как перчатку, чтобы размягчить девичье сердце. Былое умение ХАПАТЬ он использовал не по назначению, он превратил это умение в умение ОТДАВАТЬ.

— Шоколадку лучше купи! — улыбнулась девушка-оператор, возвращая своему поклоннику тысячерублевку, а ко мне обратилась: — Заполнили договор?

Я протянул в окошко заполненный бланк, ваучеры. Отдал почти без сомнения.

Во мне вдруг проснулась надежда, что банк, возвращенный на криминальной почве, на гранд-шулерских операциях, теперь не тот, что раньше. Как и "пингвиненок", его охраняющий.

Мне почти поверилось, что новые банкиры переосмысливают свой опыт, видят, что себе дороже обманывать тебя, всех нас. И учатся заигрывать с клиентами... Ну, может не заигрывать, но играть честно! Чтобы завоевать симпатии, уважение, а если повезет — то и любовь!

Вот бы оказаться мне правым!

Январь, 1994.

Даст ли Мария "нюхать цветка"?

Только, чур, не очень смеяться!.. Все, что я буду цитировать, — не пародия и не легковесный "стеб". Детские стихи, к которым мы сейчас оборотимся, серьезные и искренни. А если и есть в них доля аффектации, то она сродни возбуждению новичка-актера: это от волнения, от боязни забыть роль, от желания заставить зрительный зал плакать во что бы то ни стало...

Стихи, о которых речь, по времени написаны не так давно, всего какой-то десяток лет назад. Но по сути — они знак и принадлежность иной эпохи.

Эпохи, когда орден Ленина считался величайшей наградой.

Эпохи, когда грудь каждого малыша защищал тотемный знак: звездочка с кудрявым Володей.

Эпохи, когда памятники Ильичу еще не были демонтированы.

Надо ли удивляться, что и стихи — о Ленине. Ленинская тематика не обошла никого: ни крупных поэтов, здравствующих в процветании и поныне, ни графоманов, засоряющих многотиражки, ни, тем более, детей...

Для детей эта тема была, может, наиболее органичной. В отличие от взрослых, они не халтурили, не заискивали перед властью предрежащими идеологами, они просто создавали очередной сказочный мир. Ильич-лэнд. Они неумело с точки зрения стили, неумело по чувствам лепили образ главного обитателя этой сказочной страны, образ понятный, доступный и одновременно — великанистый.

Я листаю свои записные книжки, куда изредка заносю жемчужины детского творчества. Выбираю то, из чего дети строили когда-то свой стихотворный Ильич-лэнд.

Больше всего стихов о Ленине записано мной в редакции "Пионерской правды". И не удивительно... Газета сама подуживала юных авторов, сама указывала "магистральную" тему поэзии. После того, как рифмованные строчки какого-нибудь юного дарования о вожде появлялись на первой полосе — другие юные дарования заваливали кабинеты на Сущевской письмами. И, честное слово, жаль, что всего опубликовать было невозможно ни физически, ни "идеологически"...

Навсегда скрылось в редакционных завалах такое, например, четверостишие:

"Наш лозунг должен быть один!" —
Сказал Ильич на съезде.
И съездом он руководил,
Стояв еще в подъезде.

Разве не блестяще? Абстрактные, тяготные послылы взрослых о трудолюбии вожды, о его неумейной энергии, об огромной работоспособности обрели под пером мальчика лаконичную и привлекательную форму. "Руководил; стояв еще в подъезде!" Ай, да Ильич!

Не менее раскованно выписывает этот же образ и другой автор. Несколько штрихов — и строгий Ильич достигает выразительности и праздничной карнавальности, сравнимой, быть может, лишь с каким-нибудь диснеевским дядюшкой Скруджем:

Вот тот дом, где Ленин жил.
Здесь работал он, служил.
Здесь рабочим помогал.
И с матросами гулял.

Двусмысленность "гуляния с матросами" нисколько не снижает образ героя. Разве может добрая душа кому-нибудь в чем-нибудь отказать?

В Ильич-лэнде царит полная идиллия. Тут обнимаются дети разных цветов кожи. Здесь проводится елка с дурманящим названием — кремлевская. Если кому взгрустнется в этой стране, Ильич тут как тут, посмотрит внимательно в глаза и даст мудрый совет. И дети-антисоветчики (поступающие всегда вопреки взрослым советам) здесь слушаются. А цветов-то в Ильич-лэнде!..

Красные гвоздики...
Любят дети вас.
Нюхают с душою,
Говорят слегка:
"Милый деда Ленин
Нюхать дал цветка!"

...В общем, взрослые навязывали детскому миру образец подражания, единый и безоттеночный, дети же расцветчивали его и игрались с ним. Безобидно и увлеченно. Развивали, как во всякой игре, свою творческую фантазию... Целому поколению помогал формироваться Ильич-лэнд! Выдуманный, волшебный, "свойский" Ильич-лэнд!

Даже единственное реально существующее в этой иллюзорной стране место — Мавзолей — дети не воспринимали как усыпальницу. Судя по стихам, Мавзолей виделся им этаким шкафом, похожим на собственный, домашний, куда на ночь прячутся куклы, машинки, "жучки" и прыгалки...

Спи ты, Ленин мой прекрасный!
Баюшки-баю!
Ярко светит месяц ясный
В мавзолей твою...

Корявое "мавзолей твою!" очень похоже на ругательство. Но разве нельзя простить ребенка, вырванного, хотя бы на ночь, из увлекательной игры?.. Разве не понять его обиды на строгую "мавзолей", куда упрятали обитателя и хозяина Ильич-лэнда.

Ильич-лэнда, безвозвратно разрушенного нынче, мне немного жаль. Заведенный идеологическим "ключиком", он начал собственное движение. На его "территориях" дети искали что-то свое и находили — утешались, веселились, мечтали...

Но новые времена рожают новые игры. Маленьких поэтов вдохновляют новые реальности...

Я откладываю старые записные книжки и иду "в фольклор". Может, уже во всю кипит работа над новым сказочным городком? Может, уже новая детская страна всюю выявила свои очертания?

Выявила...

Мне совсем недавно удалось записать несколько "вещичек", показывающих, что на наших снежных просторах растут новые всеобщий фантазийный "лэнд". "Вещички" такие... Несколько загадок:

Губа до пола, играет в поло (Хосе Игнасио).
Рожа овечья, ж... человекья (Виктор Каррено).
И "переделка":

В лесу родилась елочка,
А кто ее родил?
Мария Лопес, дурочка,
И Виктор — крокодил.

Наверное, есть что-то еще... Индивидуальное, созданное бессонными творческими ночами. Мария-лэнд только строится.

По первым "объектам", еще даже не очищенным от строительного "мусора", видно, что в новую сказку потянет не многих ребят. Кого-то испугают постоянные "разборки" ее обитателей, кого-то их приземленность... И — хорошо!

Может, случится наконец, что фантазия ребенка начнет подпитываться собственной семьей. Где-то волшебный мир закрутится возле героев Андерсена, где-то — вокруг Ивана-дурака, а где-то вокруг тех небывалых созданий, которых мама с папой придумали сами...

15.03.94

Графология наоборот

Удивительные открытия выпадают не только на долю вундеркиндов. Иногда их являют миру ребята, попавшие в беду. Об одном таком открытии мне хочется рассказать.

В лагере "Солнечная горка" начиналась первая смена. Я, новоиспеченный вожатый, слонялся по пионерской комнате и ворошил кипы аккуратных, с цветными наклейками на обложках, папок. В папках таились всевозможные сценарии. "Малая олимпиада", "Антифашистский митинг", "День Нептуна", "Игра "Украли вожатого"... А сценарий нужного мне "Костра знакомств" был даже в нескольких вариантах...

В распахнутое окно дышал чабрецом и отцветающим реписом бок Солнечной горки. Над кустами чилиги

порхали бабочки. Обнимая один из склонов горы, прокладно рябила река.

Лето, взрослея, взывало нас наслаждаться жизнью. А сценарий, близнецы-сценарии-штамповки, веяли вокруг пыль и скуку. Пусть и дальше пылятся!.. И без них найдем способ познакомиться!

Так и отправилась мы на отрядный костер без предписанных замыслов. Выбрали себе поуютнее речной плес, окруженный распушившимся ивняком. Расположились. И оказалось: мои четверолапки — что пчелы, умудренные интуитивными навыками. Не надо им никаких подсказок! Те, кто еще не успели пообщаться, торопливо выспросили друг у друга имена — и все занялись делом. Одни принялись сгребать в кучу паводковый мусор для костра, другая компания, отыскав на берегу сломанное весло, заспорили о его достойном применении. "Применили": устроили соревнование, у кого больше брызг... Пришлось мне отодвинуться ближе к зарослям ивы. Оттуда выбрался вспугнутый "отшельник", из отряда же. Пронеся мимо терпкий никотиновый запах, он деловито вытащил из штанов спички, принялся разжигать полусырые ветви. Костер занялся, и пламя потянуло ребят к себе. Они успокаивались, устраивались у огня.

На берегу остался только один мальчишка. Он, закатав штанины, бродил по успокоившейся отмели, высматривал мальков, чьи стайки видны были даже от костра. Мальки были прозрачными, их хрупкие хребтики просвечивали сквозь плоть. И мальчишка был прозрачен, сквозь мятую рубашку выпирал заметно сутловатый позвоночник.

— Эй, моряк с печки бряк! — окликнул его кто-то. Он не услышал. Продолжал стоять в воде на одной ноге, не решаясь опустить вторую в серебристое рыбье облако.

— Не мешайте... Пусть!.. — попросил я, ибо знал, что за долгую лагерную смену мы, и вожатые, и ребята, не раз будем мечтать, чтобы Юрка (Юркой звали того "моряка") вот так отвлекся.

Юрка приехал в лагерь позже всех. Не на автобусе, как другие, а на черной "Волге" председателя строительного профкома. Профсоюзный начальник побывал у директора лагеря — и началась суетливая круговерть вокруг опоздавшего ребенка. Директриса собственноручно повела его в столовую, потом — к спальному корпусу. Отозвав меня, она объяснила, что произошло. А произошла беда..

В один из июньских дней Юрик пошел к матери на стройку. Коробка возводимой АТС-ки была уже пустыня. Рабочие разошлись по домам. В воздухе болтался вздернутый подъемным краном компрессор и прятороченный к нему моток кабеля. Это мастер требовал в конце каждого дня вздымать на верхотуру, под стрелу крана, все более-менее ценное. Не было житья от воришек и любопытных "исследователей"!.. Тень компрессора — четкий параллелепипед — покачивалась на замусоренной земле. Юре сел в затенения, начал сам с собой играть "в ножички". Он дождался, когда мать, штукатур-маляр, доделает свою работы. Мама задерживалась. Что-то там не давалось ей...

Вдруг со второго этажа послышались крики. Мать звонко кого-то материла. Нецензурщину она позволяла себе только во гневе. По выкрикам матери Юра понял,

что какой-то ханыга, решив, что стройка опустела, курочил там, на втором этаже, электропроводку.

Юра подкинулся. Увидел в незастекленном проеме стены спину матери. Мама пятилась и громко, наверное, на весь город, кричала:

— Убери топор, подлюка! Размахался! Я твою харю до единого волоска запомнила! ... скроешься! Сегодня же за решетку сядешь!

Мамка, изобразив пальцами "решетку", продолжала потихоньку пятиться назад.

Юрка знал, что нужно броситься ей на помощь, но почувствовал в душе липкий кисельный страх.

А мама... Мама вдруг загнулась о низкий порожек металлической секции. Вскрикнула. И полетела вниз.

У фундамента стоял огромный чай с гашеной известью. Ослепительные белые брызги ударили шпанелью по стене АТС-ки. Юрка взвыл. Бросился к матери. Она, залепанная белым, по горло стояла в жгучей жиже и наощупь искала бортик чана.

— Воды... Быстрее воды... — просипела она, когда Юрка помог ей выбраться. — Глаза жжет... И руки... И грудь...

Юрка помчался к цыганским домам по соседству со стройкой. Черноволосый хозяин мигом откликнулся на его рев. Бросился на подмогу. Кто-то вызвал "Скорую помощь".

С сильными ожогами мать увезли в больницу. А Юрка остался один. Он стоял у окна опустевшей квартиры, хотя ждать было некого, и грыз себя. Он клял себя за трусость. Ну, чего стоило хотя бы закричать: "Мамка, я к тебе!..." Все было бы по-другому! Поймали бы вора-ханыгу! Здорова и невредима осталась бы мать. А Юрку не терзала бы совесть!

Но — не закричал, онемел, застыл как на гипнотизерской сцене...

Тру-сиш-ка!..

На следующий день к Юре пришли люди из профкома. Велели собираться в лагерь.

...Он подошел к костру, когда у нас уже затеялся сумбурный разговор. Изгойсто присел в сторонке. Краем уха ловил слова сверстников.

А мы продолжали углублять знакомства. Способ для этого отыскался неожиданный и не очень затасканный. Я вспомнил, что накануне прочел популярную книжку о Зуеве-Инсарове, известном в свое время графологе. И стал рассказывать ребятам о чудесах, которые он творил, выведывая по почерку характер любого человека, любого инкогнито. Графология, наука о почерках, заинтересовала моих подопечных.

— А вы сами-то читаете *почерка*? — спросила девочка в круглых очках (девочки больше верят во всемогущество вожатых).

— Можно попробовать... — скромно признался я. Достал записную книжку, авторучку. Девочка придвинулась ближе, близоручко склонившись над чистой страницей.

— Пйши: "Я ВЕРЮ В ГРАФОЛОГИЮ..." — попросил я. Девочка благоговейно заводила ручкой по бумаге, предварительно справившись, через "А" или "О" пишется незнакомое слово. Почерк у ней был самый обычный, школярский: слишком правильный и добросовестный. Зуева-Инсарова это, вероятно, смutilo бы. Но не меня!

— Ага... — сказал я, так и сяк вертя записную книжку. — Так... Это... Здесь... Ну, вот смотри! Твоя строчка ползет вверх. Видишь? А это явный признак того, что сейчас твое настроение в полном порядке.

Это было безошибочно. У кого же плохое настроение в первый лагерный день?! Девочка изумленно таращила глаза.

— Вот еще важная особенность твоего почерка, — невозмутимо продолжал я. — Смотри... Буквы отстоят одна от другой. Разбежались, как драчуны. Знаешь, что это значит? Ты — натура художественная, артистическая.

Я сделал небольшое отступление:

— У Есенина такой же почерк. Буквы отстоят друг от друга во!.. — жест большим и указательным пальцами. — Ты, наверное, как Есенин, стихи пишешь?! Или танцуешь, как Асейдора Дункан!..

Я сделал паузу. В нашем туманном деле паузы — самое важное.

Артистическая натура цокнула пересохшим языком.

— Ага, правильно... — подтвердила она. — Я хожу на акробатику! И в школьном хоре пою! А стихи — так, немножко; для бабушки!.. Вот это наука! Все знает!

Знакомство наше нашло нужное русло. Важны были не мои слова. Важны были комментарии ребят.

— Суков, суков... — говорил я очередному желающему узнать свой характер. — Смотри, какие вершинки у твоих согласных! Острые, как шипы! Такой почерк у тех, кто любит подраться...

Мальчишка, в котором и без почерка узнавался забияка, широко улыбался. Его синяк уплывал от переносицы к виску. А сам он щедро поведывал о себе:

— Я-то че?.. Пусть сами не лезут! Сманили меня к "камнерезке", а сами не стали яшму брать! А сторож поймал!.. Тут они — на меня... Будто я подбил камни собирать... А сторож... А я...

Выдержи паузу подольше — и услышишь все подробности и о друзьях забияки, и о "дворце", который он собрался ставить из шлифованных осколков яшмы, и о противном стороже, помешавшем "проекту века"... Но паузы уже не получались долгими. Слишком многие хотели черкнуть в моем блокноте: "Я ВЕРЮ В ГРАФОЛОГИЮ..."

— Гласные сверху открыты, — импровизировал я. — Не очень приятная деталь. Свидетельство неискренности! Бывает?

— Бывает, — тупила голову девочка с ослепительными красными ногтями.

— А ты уложил все буквы влево. Большой, видно, оригинал!..

Шутливая окраска разговора между тем с каждой минутой испарялась — не эфирные ли масла? Ребята, поверив в мою проницательность, становились все откровеннее, подходили к пределу в своих излияниях. Это стало меня тревожить: кто я такой, чтобы исповедовать детей?! Потому поспешил:

— А если серьезно, графология частенько построена на шарлатанстве. Как цыганка гадает не столько по руке, сколько по реакции человека на ее слова, так и графолог... Хотя я дураку ясно: между характером и почерком есть зависимость. Только выяснит эту зависимость, все ее тонкости — дело будущего...

Ребята разочарованно молчали. И вот тут вмешался Юрик:

— А зачем выяснять? — спросил он взволнованно. — Телевизором, например, пользуются все, а какие там тонкости внутри — мало кто знает...

Юра подошел к костру, стал сушить мокрую штанину, натянув ее руками. Лицо окутал белый пар. Больше он не вымолвил ни слова. А на следующий день отпросился в библиотеку. Я даже не подозревал, что это как-то связано с графологией. Оказалось связано, да еще как!..

Юра искал на библиотечных полках книгу о Суворове. Причем не любую, а с суворовскими автографами, с репродукцией его писем ли, рукописи, просто подписи... Он задумал очень важный для себя эксперимент. Решил сделать похожими на почерк полководца свои неустойчивые каракули!

Если почерк зависит от характера, размышлял Юрка, значит и характер зависит от почерка. Приучи себя писать, как Юрий Никулин, — и вот ты уже не просто четвероклассник Юрка, а клоун... Анекдоты так и слетают с языка. Каждое движение вызывает чей-то смех. Полная раскованность, остроумие, находчивость!.. А если научиться копировать летящий почерк Пушкина? Не подтолкнет ли меняющийся на глазах характер, свободолобивый и гордый, к перу и бумаге? А вели писать контрольные работы почерком Миклухо-Маклая? И делать домашнее задание, выводя буквы, будто Юрий Гагарин?

Юрка рассказывал о своем "открытии"; сбиваясь и глотая слова. Но суть была ясна. Перспективы открывались величественные. Мне уже виделись школы, где первоклашки старательно копируют иероглифы какого-нибудь Тутанхамона. Начинать — так с истоков цивилизации!

Но Юрка вернулся к Суворову.

— Где его почерк отыскать? В библиотеке — только Ленин да Маркс! А мне нужен полководец!..

Да, чтобы защитить мать, чтобы навсегда отогнать от себя липкий кисельный страх перед негодьями, ему нужен был характер полководца. И — почерк полководца!

Я пообещал заглянуть при случае в районную библиотеку. Но лагерная жизнь не скоро позволила вырваться в город. А за Юриком через неделю приехали родственники. Маму выписали из больницы — и за ней требовался уход.

Так я и не знаю, состоялся ли лихой эксперимент, задуманный у лагерного костра, подтвердилось ли "изобретение", сделанное не вундеркиндом, а обычным мальчишкой, попавшим в житейскую передрыгу.

Где-то хранится у меня старый блокнот с ребячьими: "Я верю в графологию..." Есть там и Юркин адрес, торпливо сделанный его рукой. Буквы — те еще уродцы! Но иногда я пытаюсь их скопировать. Вдруг Юркино "изобретение" — не такая уж глупость? Вдруг за умением писать, как Юрка, придет ко мне умение мыслить, как Юрка, как другие дети на него похожие. Вдруг мальчишеский почерк поможет мне защититься от душевных перегрузок, от разного рода проблем, болотными пузырями вскипающих тут-там-тут?...

Когда уходит от нас, от взрослых, это блестящее детское качество: умение "сбрасывать" проблемы, растворять их хотя бы в своем воображении?..

Постоянному автору "Уральского следопыта", известному уральскому поэту Михаилу Яковлевичу Найдичу в декабре исполнилось 70 лет.

Четырежды раненный на фронте, но отстоявший нашу родину от нашествия фашизма, выпустивший в послевоенные годы более 20 книг стихов и прозы, ветеран по-прежнему молод душой и полон творческой энергии. Пожелаем ему доброго здоровья — а остальное приложится.

Венедикт СТАНЦЕВ
Член СП России

Михаил НАЙДИЧ

Пусть ласточки продолжают свой полет

У последнего редута

Ах Господи, кому какое дело
До нас, до горожан и до сельчан!
Уже давненько в душах накопело.
Один котел. Один всеобщий чан.
А дни идут, как мальчики босые,
и только просят, умоляют: верь!
И только слезы на щеках России
не высыхают... Что же нам теперь?
Где счастье?... Пальцем ткни и покажи,
в какой избе, усталое, приткнется?
Звезда взойдет, осилив этажи,
чтобы упасть в объятия колодца.
Ее-то бы скорее зачерпнуть
ведром и каской, или так, рукою,
и окропить страдальческий наш путь,
кого-то тормоза и беспокоя.
Еще последний и не взят редут,
движенья не тверды, не аккуратны.
Но ходики — вы слышите? — идут,
хотя о них не ведают куранты.

* * *

Когда луна легко, в одно касанье,
до реченьки замерзшей снизойдет,
пусть поезд не нарушит расписание —
и нам весну в апреле привезет.

Пусть ласточки продолжают свой полет
над лесом и рекой — над мирозданьем.
Но старость пусть наступит с опозданием,
а неотложка вовремя придет.

* * *

Месяц май — обещание многого,
огонек, растворенный в крови.
Здесь сирени росистое логово
позовет — окунайся, плыви! —
и посмотрит такими глазами,

отрывая от грешной земли,
что поймешь — виноваты мы сами:
не откликнулись, не снизошли.
Месяц май у речной переправы,
у леска, где дождей перепляс!
Он пройдет — и поднимутся травы,
мы пройдем — ну и что после нас?

* * *

Двадцатый век, запутавшись в делах,
не стал — такой нелепый —
с правдой вровень.
Рассержен Бог. И возмущен Аллах.
Любой из нас, по-разному, виновец.

Но век свое сумеет наверстать
и кривду наконец-то обезглавит.
И очень скоро всем нам скажет:
"Встать!",
и "Суд идет!" — уверенно добавит.

* * *

Где когда-то застыл в испуге,
где меня охватила жуть,
там, ничуть не смущаясь, внуки
преспокойно продолжают путь, —

и увидят звезду иную,
за собою ведя народ.
И беду, в которой тону я,
перейдут, улыбаясь, вброд.

* * *

Куда глядеть?
Все сирое и убого,
и далеко до светлого итога.
Но дождь шумит над крышей не со зла,
но луч скользнул. И вот уже с порога

травы — она как прежде босонога —
решилась... И, представь себе, пошла!
Пошла она, как ясельные дети,
по узенькой тропинке, по планете,
мгновениями припадая к ней.
Да вот беда:
в пути, все примечая,
она вздохнула возле иван-чая,
где рядом лес. Где больше стало пней.

Из воспоминаний

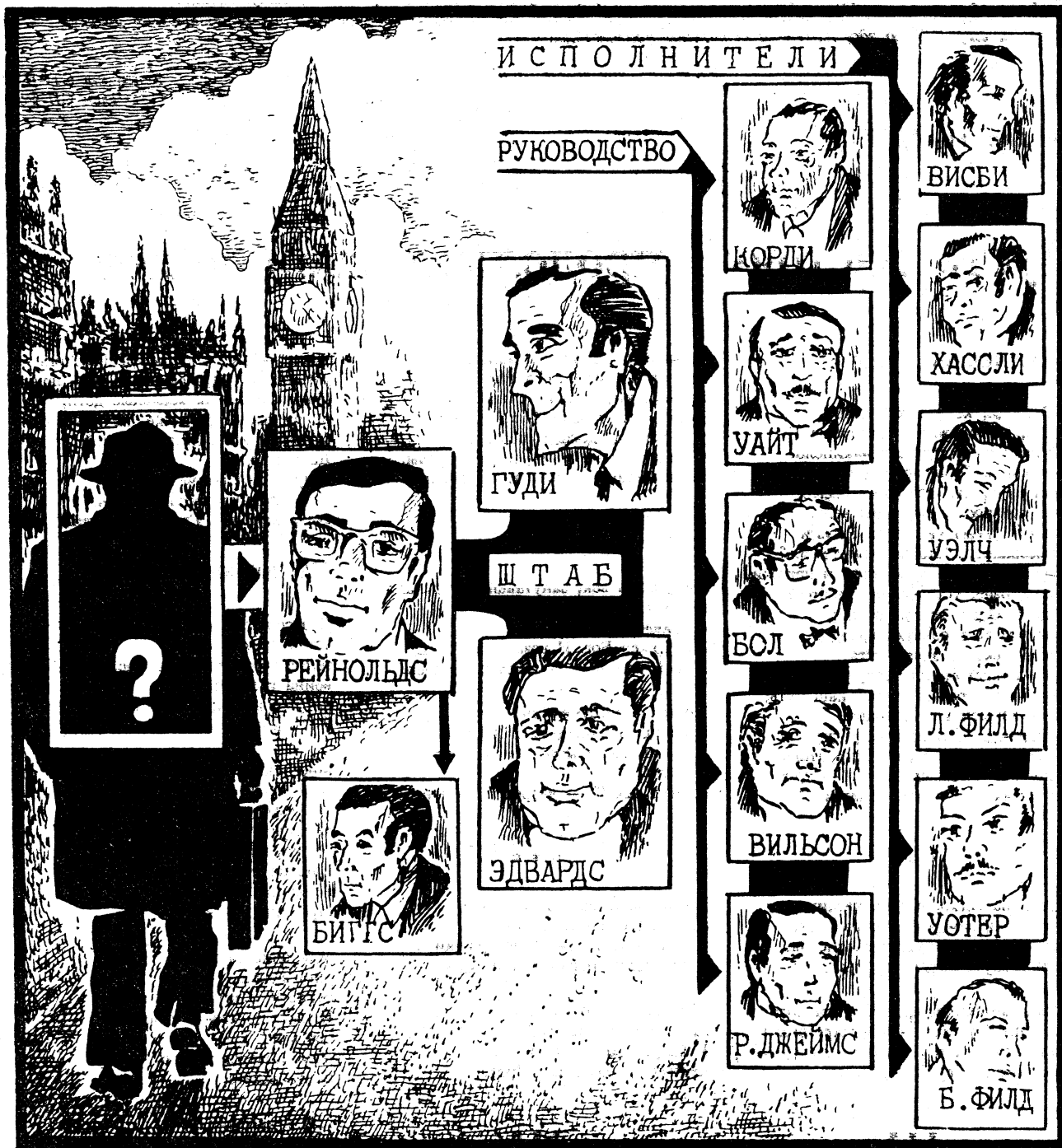
Я в сорок пятом
встал на костыли,
земля тогда казалась мне иною:
война гремела,
но уже вдали; а Сталинград
был где-то за спиною.

Мне так хотелось
рассказать о том,
как дым снарядный в заводях
клубился.
Но карандаш был нем...
Еще на нем
не наконецник —
стреляная гильза.

Мои однополчане
шли в огне, —
суровые и верные присяге.
И, может, кто-то вспомнил
обо мне,
расписываясь твердо
на рейхстаге.

...И в камыши
ударил река,
откликнулась ей сразу
роща птичья,
когда внезапно
первая строка
пробилась сквозь мое
косноязычье.

Ограбление почтового поезда



Известные французские авторы криминальных историй, опираясь на фактический материал на тему "ограбления века" — нападение на почтовый поезд Лондон-Глазго — написали наполовину репортаж, наполовину повесть, интерпретируя по своей воле действительные события, не сходившего в середине шестидесятых годов со страниц газет всего мира.

8 августа 1963 года. Три часа утра. Джек Миллс, машинист дизельного локомотива, тянущего за собой двенадцать вагонов почтового поезда Глазго-Лондон, проводил глазами маленькую станцию Лейтон-Баззэд, что в 68-ми километрах от Инстона. Впереди зажигается оранжевый сигнал, и Джек тормозит. Через мгновение оранжевый огонек сменяется красным. Миллса неожиданная остановка не удивляет: заканчивается пора отпусков, и чеддингтоновская линия всегда перегружена. Поезд останавливается, помощник машиниста Уитби спускается на землю и направляется к телефонной будке, и это тоже требуют правила. Бригадир Том Миллер, находящийся в последнем вагоне, должен при остановке обойти состав — полтора километра туда и обратно.

Таким образом; в 3.03 утра поезд — негосраемый сейф на колесах — лишается сразу двух охранников, хотя остается еще четверо в вагонах, где находятся мешки с деньгами, которым покидать вагон запрещается. Что же касается семидесяти пяти почтовых работников, занятых разборкой почты, то им безразлично, что там делается на дороге.

Грабители могут захватить локомотив (они так и делают), убить Джека Миллса (чего не случилось, так как нападение того не предусматривает), отцепить локомотив и два первых вагона (им никто не мешает) и проехать немного дальше, за мост, рядом с которым идет проселочная дорога. Там и грабителей, и их добычу уже ждут несколько легковых автомобилей и грузовик.

В течение пятнадцати минут 119 запломбированных мешков с двумя миллионами 631 () 784 фунтами было перегружено в машину. Пятнадцати минут хватило, чтобы завладеть богатством, равным бюджету маленького государства. С той минуты существует в Англии Кто-то, кто распоряжается королевскими суммами, кто на равных может бороться с полицией Ее Королевского Величества. Существует Мозг, Гений зла, Морварти, доктор Но.

Действительно, история нападения напоминает триллер высокого класса. Даже сейчас, когда известны подробности грабежа, ареста и побега двух его участников, существуют еще тайны.

Главная из тайн — кто является Мозгом операций? Насколько подавляющему большинству профессиональных преступников явно не хватает оригинальности в действиях, настолько "ограбление века" носит печать необыкновенного ума, хотя в исполнении его замыслов были совершены ошибки. Ошибки привели к тому, что великолепно запланированная акция удалась только наполовину. При подведении итогов всей истории видно, что большую часть нападавших удалось поймать, осудить и засадить в тюрьму на срок от 20 до 30 лет. Полиции стали известны приметы всех участников грабежа и, хотя они могли выехать за границу, взять другие имена, защититься чужими документами, жить в богатстве, но полиции всех стран переданы эти приметы и любая неосторожность может привести к аресту. Какая-нибудь неточность, несчастливое стечение обстоятельств, нежелательная встреча, забытый предмет, случайное дорожное происшествие — и сразу наступает катастрофа.

У них денег полны карманы и под ногами шаткий мостик над пропастью.

Как часто случается, имеется большая разница между тем, кто выстроил план, и теми, кто план выполняет: все плюсы на стороне Мозга; все минусы на стороне исполнителей.

Два года после грабежа регулярно и в последующие годы периодически печать, радио и телевидение информировали общество о расследовании; и так настойчиво информировали, что общество, сначала заинтересованное, потом обеспокоенное начало подозревать; не надули ли его со всем этим: действительно, если Мозг не существует, история теряет тайну.

Со временем полиция раскрывает свои дела, в преступной среде развязываются языки и начинает проясняться правда, пока еще в тумане; но некоторые подробности становятся известными.

Старший инспектор Скотланд-Ярда Джон Гослинг уверен, что Мозг является отставным военным; которому наскучила пенсионная серость его буден и у которого есть чувство юмора.

Журналистка Пит Фордхем, жена адвоката, защищавшего главных обвиняемых, уверяет, что знает личность Мозга, но очень общо говорит о нем. "Дух", как она его называет, всего лишь любитель, богач; жаждущий необыкновенных приключений, замыслил грабеж; обсудил его с приятелями и забыл о нем. Его замыслы, однако, подхватили другие и сами же исполнили.

Давайте подумаем. Почтовый поезд Глазго-Лондон; перевозящий значительные суммы денег между центральными и провинциальными банками, известен всему преступному миру. Деньги везут в трех бронированных вагонах, двери которых открываются только на определенный пароль, и заветное слово меняется регулярно. В дни перевозки большой суммы страховые общества уведомляют об этом службу безопасности, а банки переписывают номера банкнот или применяют специальное устройство, заливающее в случае опасности все банкноты краской. Почтовый поезд нельзя остановить, так как его график специально контролируется.

При большом ограблении неизбежны ранения или даже убийства, а в подобных случаях английский суд безоговорочно суров.

Мозг же сумел так расставить все по своим местам, что "ограбление века" представляло риск не больший, чем нападение на кассира в магазине готового платья. Здесь соединился талант инженера и штабного офицера, стремление молодого спортсмена взять заданную им самим же высоту, желание сразу взять все или ничего. Он не занялся политикой, отрицающей много времени и зачастую возвращающей человека на исходные позиции. Бизнес? — тоже затраты сил и средств, чтобы получить результат в далеком будущем.

Мозгу нужны люди. Он не обладает десятками миллионов, чтобы создать группу. Ему требуется тихий сообщник, взять которого можно только среди преступников. Ему не доверяют: нужны деньги, миллионов восемьдесят, а это означает маленький грабеж, какие встречаются ежедневно. Мозг мыслит на много лет вперед, а богатство, которым можно воспользоваться только через

годы, некоторым кажется сомнительным предприятием. Вложить сто миллионов и ждать годы не сулит эффекта. От проекта отказываются. Проект лежит.

Лежит до 27 сентября 1962 года. В тот день персонал Бритиш Оверсиз Эрлайнс Корпорейшн (ВОАС) напрасно ожидает зарплаты: 60 тысяч фунтов или 150 тысяч долларов пропадают в течение сорока секунд. Два охранника ожидали в автомобиле с бронированным ящиком, где лежали деньги. Ящик всегда переносили на третий этаж через холл внизу до лифта. Охранники, Брайан Хоу и Артур Смит, высокорослые и сильные мужчины, проделывают в конце каждого месяца одну и ту же операцию: вытаскивают ящик, кладут его на тележку и подписывают квитанцию о приеме денег. Затем они везут тележку к лифту. Никто не может без опасения подойти к ним на тротуаре, в холле сразу же раздался бы сигнал тревоги и двери автоматически закрылись бы. Остался лифт.

В 10.02.20 Смит нажимает кнопку вызова лифта и, повернувшись к двери спиной, записывает время прибытия денег. Двери открываются и он падает под сильным ударом дубинки. Четверо нападающих бросаются на охранников и, пока вокруг ящика идет драка, к ним приблизились два джентльмена. Держа на весу повешенные на согнутую руку зонтики, они берут с двух сторон ящик, выносят его на улицу, где ждут два "ягуара" и складывают деньги в багажник одного из них. Нападающие наносят последние удары, выбегают на тротуар и тоже садятся в автомобили. 10.03: деньги исчезли. Остались синяки, шишки и легкое сотрясение головного мозга. Один из грабителей ранен и потом будет арестован. Оба джентльмена — Чарлз Уилсон и Дуглас Гордон Гуди — тоже предстанут перед полицией, но их вскоре освободят из-за отсутствия доказательств. Только потом, когда они окажутся замешанными в ограбление поезда, станет ясно, что операция в аэропорту была прелюдией другого нападения, которое закончится кражей двух с половиной миллионов фунтов.

Итак, Мозг нашел исполнителей. Кого? Главным из них стал несомненно Брюс Рейнольдс. Многие показывают на то, что он был первым из тех, кому Мозг доверил свои планы и что он по собственной инициативе подобрал себе пару — Дугласа Гордона Гуди.

Оба совершенно не были похожи на профессиональных преступников, каких может представить наше наивное воображение.

Рейнольдс — сын профсоюзного деятеля. У него интеллигентное, полное энергии лицо. Все то, что у среднего гражданина связано с гангстерами, взятое несомненно из фильмов — всегда под рукой оружие, визжащие на виражах автомобили и бесчисленные выстрелы — все это может вызвать у Рейнольдса только усмешку. Конечно, где-то это существует, но Лондон — город цивилизованный, и Рейнольдс действует под прикрытием антикварной лавки и, самое удивительное, что он получил признание в своем бизнесе. Ему 22 года, он высокий и стройный, всегда хорошо одет, настоящий "правильный мужчина на правильном месте". С Мозгом несомненно связывает его некое духовное родство — тщательное обдумывание планов отличает обоих.

Дуглас Гордон Гуди, 34 года, рост метр девяносто, тоже любит действовать, но, в отличие от сообщника, не знает и не находит цель. Гуди без особого удовольствия держит три парикмахерских салоны, ведет достаточно беспорядочную жизнь, любит автомобили и длинноногих девушек. Временами попадает на кражах. После последней трехлетней отсидки в 1956 году он решил еще раз пойти на дело, только на очень большое дело, и выйти из игры.

Рейнольдс знает, что на Гуди можно положиться: у того были все черты настоящего солдата-командос, он спокоен, уверен в себе и любит пошутить в минуту опасности, ни о чем не забывает, помнит каждую мелочь, умеет принимать самостоятельные решения и отлично дисциплинирован. Лучшего командира Мозгу не найти.

Следующий участник — Рональд Эдвардс. И не только потому, что с Рейнольдсом связывает его многолетняя дружба, но еще и потому, что Рональд возглавляет Юго-Восточный преступный клан в Лондоне. К тому же не стоит планировать нападение на поезд без разговора с коллегой, который в последнюю минуту может просто подставить ножку. Жизнь Рональда устроена: бывший боксер, он является хозяином клуба, ему 32 года, он здоров, румян и всегда свеж, у него великолепная реакция. И он сразу соглашается, занявшись технической стороной дела, вербует людей, которые обеспечат фальшивые сигналы, отцепят вагоны и смогут, если потребуются, провести локомотив.

Так образуется "штаб".

Осталось подобрать помощников.

Чарлз Фредерик Вильсон был выбран первым. Он прославился своим побегом из тюрьмы в первый же день своего там пребывания. Занимался Чарлз букмекерством и одновременно разводил овец, что для дела было весьма выгодно, так как в соответствующее время мог разделить добычу, передать ее одному, другому, то есть укрыть громадную сумму денег. Добыча всегда представляет большую опасность для гангстеров, пока она не поделена, не разложена по тайным местам, не укрыта в разных тайниках. К тому же Чарлз абсолютно надежен, ему можно доверить любую тайну. Вид его с первого взгляда пробуждает доверие к нему. Он никогда не пользуется жаргоном, не развязан в общении с людьми. Чарлз живет в престижном районе Клэпхэм, женат и пользуется репутацией примерного семьянина. Ему 38 лет.

Почему был приглашен Уильям Джералд Бол? Наверное потому, что работал инженером в Фулхэме, в маленьком предприятии по изготовлению автомобильных запчастей. Зарабатывает он неплохо, но большая семья — у него трое детей — и мечты о богатстве толкают его в руки "штаба", тем более, что он дает ценные указания по технической части проекта. Привлекает его Роджер Джон Корди, его должник, который не может вернуть взятую займы сумму. Корди — 51 год, он продает цветы, неудачно женат, имеет четырех детей и слишком много денег просаживает в азартные игры. Личность сомнительная, но в поле зрения Рейнольдса он попадает благодаря своей страсти к железным дорогам. Роджер любит колею так, как иные любят парус. Жаль только, что

нервы у него не слишком крепкие — когда от него ушла жена, он хотел покончить с собой. теперь, желая получить много денег, Корди надеется на ее возвращение. Как оказалось в будущем, он-то и совершил непоправимую ошибку.

Роналд Артур Биггс вообще ничем особенным не отличается. Ему 34 года, женат, двое детей, работает слесарем в Редхилл, что в графстве Сюррей. Другие участники грабежа тоже довольно средние личности, разве что кроме Роя Джона Джеймса, самого молодого из банды — ему 28 лет. Настоящий большой ребенок, обожающий гоночные автомобили, всегда без денег, без будущего. Конечно, он с радостью принял предложение обогатиться за один день. Понял ли он важность предложения, или был заворожен возможностью гнать грузовик, довер-ху наполненный мешками?

Подручную роль играли Роберт Альфред Уэлч (34 года, женат, директор клуба, робок, выбит из жизни уходом любимой жены за несколько месяцев перед акцией), Джеймс Хассли (31 год, художник, неоднократно стоявший перед судом) Томас Уильям Висби (34 года, букмекер), Джеймс Уайт (44 года, бывший десантник и нынешний слесарь) и Леонард Филд (еще один цветочник). Несомненно, что были еще и другие, но перечисленные выше — главные.

Особенной чертой главных исполнителей было то, что все они, достойные осуждения, все же не заслуживают названия "воров". Ожидание огромной добычи сплотило их, спаяло до такой степени, что многие месяцы до и после акции никто из них и рта не раскрыл, а ведь их окружала семья, они были среди друзей, своих клиентов. Их держала "золотая лихорадка", молчаливое сумасшествие. Все они, от Рейнольдса до Висби, горячо молились только об одном — лишь бы удалось!

В активе у них был план Мозга и 60 тысяч фунтов. Десять месяцев подготовки, организационных работ и доработки плана — совсем не долгий срок для такого дела.

Те, кто видел снимки знаменитого моста, длинную прямую железнодорожную линию от Лейтон-Баззад до Чеддингтона, маленькую пустую проселочную дорогу, скрывающуюся под насыпью, поймет, что место для нападения выбрано идеально. Можно еще добавить, что до Лондона более 670 километров, множество мостиков и пустынных проездов. И то, что поезд проходит здесь в очень выгодное время — в три часа утра.

Мозг понимал: в самое короткое время вся страна будет поднята на ноги, поэтому относительная близость к столице поможет за два-три часа затеряться в мегаполисе. Важна была так же близость семафора — пройти весь состав охраннику из заднего вагона туда и обратно это 30 минут, за которые можно и отцепить вагоны, и выгрузить мешки.

Задание "группы Корди" было разузнать все, что можно о движении поезда на выбранном участке, и денег группа не жалела, разбрасывая их в вокзальных барах. Важно было все: и расписание поездов, дни, часы и минуты, кто ведет поезда, кто охраняет, как охраняют, как распределена охрана, что делает она в каждом конкретном случае, какие деньги перевозят и куда, где

и какая сигнализация, как она действует и многое, многое другое. Группа должна была собирать сведения, и только. Таланта здесь не требовалось. Только смотреть и слушать. Группа несколько раз проехала по трассе днем и ночью, с рыбацким снаряжением бродила по окрестности Лейтон-Баззад, наблюдая за движением на дороге.

"Технический директор" Рональд Эдвардс купил домик в Твиккенхэм, где штаб просматривает снятые группой Корди кино- и фотоматериалы, распределяя роли и места. Бывший парашютист Уайт займется сигналами, Корди будет занят отцеплением вагонов. Оружия ни у кого нет, так как нападение с оружием в руке влечет за собой тяжкие кары.

Весной все было готово. Собрана вся информация и завязаны контакты, благодаря которым за несколько недель до акции выходят один за другим из строя бронированные вагоны и их заменяют обычными, а выломать двери в обычных вагонах можно без труда.

Требуется еще перевалочная база, не слишком удаленная от моста, но и не слишком близкая к нему — на расстоянии нескольких десятков минут, чтобы спрятаться, прежде чем начнется погоня. На базе будет собрано необходимое для перевозки снаряжение, ведь добыча может весить от семи до восьми тонн. На самом деле она весила 11 тонн и занимала десять квадратных метров.

Через Гуди штаб вышел на запутавшегося в долгах адвоката Уитера из Аштэда, и после долгих уговоров адвокат оказал содействие. Покупателем был выставлен Филд, цветочник, а объектом купли-продажи оказалась ферма между Бриль и Окли, в тридцати километрах от моста. Владельца фермы, почтового служащего Риксона, переводят в другое место, а Филд, представившись торговым моряком, которому понравилось в здешней местности, в первый же вечер вручает Риксону 500 фунтов задатка.

Наступил май. Приготовления к акции завершаются.

Гуди свозит на ферму снаряжение, консервы, пиво. Хассли покупает трехтонный грузовик и два "лендровера". Рой Джеймс начинает тренировки: он должен покрыть расстояние от моста до фермы максимум за полчаса, и это не очень легко днем, потому что дорога узка и извилиста, а ночью еще труднее без включенных фар.

Теперь надо ожидать подходящий момент. Рейнольдс знает, что почтовый поезд в разное время перевозит груз разной ценности, а им нужны миллионы. И именно сейчас в действие включаются посторонние люди, свидетели. Дальнейшие события могли бы заинтересовать даже Агату Кристи.

Риксон, покидая ферму, вручил ключи пожилой женщине, мисс Лилли Брукс, которая передала их Филду. Мисс Брукс очарована новым хозяином, выгодно отличающимся от мужчин в округе. Она интересуется им, и за ней начинают Филдом интересоваться другие соседи, они крутятся вокруг фермы, видят посещающих ферму людей и наблюдают за движением автомобилей. Удивительные эти новые провинциалы! И, пока новички выкапывают в саду яму для ящиков, организуют базу, готовят даже приготовления для поджога, чтобы потом уничтожить все следы своего пребывания, соседи сплет-

ничают. И вот, 3-го августа, за четыре дня до акции, на ферме с визитом вежливости появляется некий Джон Алфред Марис, живущий где-то рядом. Он застаёт дома двоих мужчин, один из которых лежит на тахте, а другой валяется на надувном матрасе. Марис удивляется: так не ведут себя уважающие работу фермеры! Ему объясняют, что ферма закуплена для превращения ее в центр отдыха, вот и яма для бассейна готовится. Марис, потрясенный новостями, уходит.

Часть земли Риксон перед продажей обещал уделить какому-то Вайатту, и тот решил 7-го сентября, за день до нападения, начать переговоры о своей доле на ферме. А там кипят работы: перекрашивается грузовик, проверяются двигатели, ведутся зашифрованные переговоры с Глазго (проверено сообщение, что 6-го поезд будет перевозить только сорок мешков, а это не оплатит расходов), проводятся последние приготовления, инструктажи, и вот посреди всего вдруг на пороге вырастает чужой человек! Человек видит затемненные окна, на дворе автомобиля, он задает вопросы, но разговаривает с ним Рейнольдс, разговаривает не слишком вежливо, но отвечает на все вопросы. Сам Рейнольдс здесь не хозяин, хозяина сегодня нет, а он приехал сюда осмотреть дом и подсчитать стоимость ремонта. Хозяин приедет через пару дней, вот тогда и поговорите. Вайатт, удовлетворенный, уходит. И на сей раз пронесло, но нервы у заговорщиков напряжены. Они отдадут себе отчет, что успех операции висит на волоске и зависит от любой непредвиденной мелочи, что счет идет уже на часы: если они не получают 7-го сообщения, что поезд набит деньгами, нужно уносить ноги, так как либо Марис, либо Вайатт, либо кто другой позвонит в полицию и расскажет о своих сомнениях относительно новых владельцев.

Звонка из Глазго все нет. Напряжение растет, и это скажется впоследствии, когда надо будет заметить следы.

Гуди паникует и, чтобы уж совсем не потерять голову, рассказывает анекдоты. И тут — звонок: поезд вышел, до отказа загруженный мешками с громадными ценностями. Надежда на успех, который превзойдет самые смелые ожидания, и, позже, радость при подсчете добычи, заставит группу забыть о мерах предосторожности.

Подняты бокалы за успех операции.

Автомобили едут по проселочной дороге к мосту и никто не подозревает, что мисс Эмма Уоппин, страдающая от бессонницы, видит их в окно. Едут долго, не включая фар. Грузовик перезжает какое-то животное и некоторые видят в том дурной знак. Вот и мост наконец. Автомобили останавливаются и разворачиваются лицом по дороге к ферме.

У каждого свое задание. Идет проверка переговорных устройств и снаряжения. Кто-то занимает боевую позицию у насыпи, Корди и Уайт направляются к семафору. Работы у них много, но и времени достаточно.

Корди закрывает перчаткой зеленую лампочку: одно неправильное движение, оборванный провод и через секунду автоматическая аппаратура, контролирующая электрическую часть сети, может поднять тревогу. Затем он подключает к принесенной с собой оранжевой лампе шесть батареек, которые в свое время подадут ток.

Уайт взбирается по лесенке на сигнальный столб — 5 метров в темноте — и далее, наощупь, чтобы так же закрыть зеленую лампочку и подключить батарейки, но уже к лампочке красного цвета.

Идет время. Люди курят, закрывая огонек ладонями, прячут окурки. Третий час утра. Где-то закричал петух. Светает. Рейнольдс переговаривается со своими людьми: Гуди, Эдвардс, Хассли, Висби и Уэлч укрыты за столбом с красным сигналом, сам Рейнольдс с Биггсом и Уайтом лежат у моста. Корди патрулирует вдоль дороги, перерезав телефонный кабель от будки. Внезапно вдали раздается гудок локомотива. Через несколько секунд поезд, идущий со скоростью 110 километров в час, окажется рядом.

Все оказалось довольно простым делом. Локомотив тормозит, из кабины локомотива спускается помощник машиниста, осматривается в предутренней мгле и направляется к будке телефона. Его хватают и связывают, заткнув рот кляпом. Машинист не может сопротивляться ворвавшимся в кабину людям и падает под ударом завернутой в тряпку железной палки, теряя сознание. Два человека отцепляют вагоны и хватаются за поручни отцепленного вагона. Гуди приводит в сознание машиниста и подталкивает его к управлению, высунувшись потом в окно и следя за дорогой. Локомотив подъезжает к растянутому на земле белому полотну: это мост. Останова.

Теперь надо проникнуть внутрь вагонов и заняться охранниками, которые еще ничего не подозревают. Деревянные двери быстро уступают под ударами восьми топоров.

Сейчас Рейнольдс смотрит на часы: все зависит от скорости шагов охранника-бригадира. Идущего вдоль поезда от заднего вагона. Если он будет идти слишком быстро, придется бежать, не закончив работу.

А работа кипит. Мешки сбрасываются под насыпь и переносятся в грузовик — все 120 мешков денег, собранных в Шотландии и в северной Англии за прошедший уикэнд. Через пятнадцать минут все выгружено. Машиниста при помощи наручников приковывают к его помощнику, укладывают их вдоль рельсов и приказывают молчать полчаса.

Через 25 минут добыча уже на ферме. Люди буквально ходят по бумажной горе, и это кружит голову многим. Кто-то прикуривает от 500-фунтовой бумажки, кто-то поет, не в силах удержать дрожь от страха.

Рейнольдс знает, что сидеть они должны до воскресенья, но и его возбуждает нетерпение. Он решает разъехаться в пятницу, через сорок восемь часов.

Наступает время дележа, хотя никто не может сказать, сколько кому следует получить. Сначала отделяют "авторские" — Мозгу. Выплачивается "премия" тем, кого подключили к операции в последнее время. Из оставшихся больше всех получили Рейнольдс, Эдвардс и Гуди.

Все богаты — поделенная сумма достигает семи миллионов долларов. Они выпивают за удачу, за день рождения Биггса, получающего от каждого шуточный подарок в несколько фунтов. Потом ложатся спать, выставив охрану с биноклями.

Рейнольдс еще раз пробегает в уме все детали проведенной акции: нет, ошибок, как будто, не было. Но он весьма ошибается.

Во-первых, Мозг никогда бы не пригласил к участию людей, дав им равные права.

Во-вторых, не распустил бы группу сразу после нападения, предоставив их самим себе.

С настоящего момента распisanная как по нотам гениальным автором акция превращается в обычную криминальную историю.

Наступил день. Готовится завтрак и уже никто, за исключением Гуди, не соблюдает ничьих приказов и правил. Они не надевают перчаток, хотя отпечатки пальцев некоторых из них имеются в полиции, и думают, что сожженные мешки скроют следы. Они мечтают, да и как не мечтать? Рой Джеймс, подкармливая кошек, думает о гоночном "Купере", забывая вымыть и вытереть тарелку. Он уезжает первым. За ним покидают ферму Рейнольдс, Эдвардс и Гуди, чтобы укрыть свою часть денег. Через несколько часов возвращаются, смотрят, как сжигают мешки, и уезжают снова.

Они не знают, что сейчас делает полиция, но предполагать могут. Бригадир, наверное, при виде исчезнувших вагонов, пробежал вперед и дал у моста сигнал тревоги только на станции Чеддингтон. Следствие, вероятно, начнется только в полдень восьмого и застопорится из-за отсутствия следов.

Но первый след отыщется сразу: Рейнольдс не знает, что один из его людей приказал машинисту тихо лежать тридцать минут, и Джералд Мак-Артур, старший инспектор Скотланд-Ярда, назначенный главой следственной группы, сразу почувствовал важность сказанного: укрытие должно быть где-то в радиусе сорока миль от моста. И полиция начала старательно осматривать все фермы, гаражи и здания.

Особой тревоги, даже если Рейнольдс и знал об этом, не должно было быть, так как в округе таких ферм множество и времени у них может хватить до вторника. И все по одиночке уезжают, оставляя одного, который обязан поджечь ферму.

Поиски ведутся лихорадочно и несколько бестолково: если бы Мак-Артур вызвал вертолет, если бы он начал обход ферм не от центра событий, а от окружности к центру, он несомненно сразу же напал на базу.

Первым, кто позвонил в полицию, был Джон Марис. К нему был направлен сержант Блокман, с кем они и отправились к подозрительным новичкам. В тот самый час в Лондоне Рейнольдс, Вильсон и Уайт решают, кто поедет и поторопит с поджогом фермы, и тут жена Уайта, настроив радио на полицейскую частоту, оглушает их известием: на ферме полиция, найдено снаряжение, мешки и многочисленные отпечатки пальцев. Все разбегаются по укрытиям, кто подготовив его заранее, кто на скорую руку. Каждый теперь думает сам о себе, а полицейская машина разворачивается, и разворачивается успешно. Специалисты высокого класса знают свое дело и через неделю все нападавшие известны. Мак-Артур уверен в их скорой поимке, но что касается похищенных денег, то они, как он думает, для государства потеряны. Слишком много способов укрыть их: доверить

их букмекерам, обменять, даже с потерей для себя, на чеки швейцарских банков, либо попросту спрятать.

Инспектор не мешкает. Обещанные премии за содействие полиции огромны — Марис, например, получил 40 тысяч долларов — и все в округе бросаются на розыски. По стране доморощенные детективы тоже не дремлют и первые, кто увидел на своих руках наручники, были Бол и Корди, инженер и цветочник. Деньги жгли им руки и они купили автомобиль в Оксфорде и еще два в другом городе, заплатив за них наличными. В поисках гаража они набрели на какую-то вдову, которая попросила за гараж семь шиллингов в неделю и получила за три месяца вперед пятифунтовую банкноту, которую Корди вынул из объемного бумажника. Вдова была когда-то замужем за полицейским и кое-что соображала. Она позвонила в полицию. В чемоданах двух мужчин находят 141 тысячу фунтов и Бол даже не оправдывается: да, деньги с поезда. С той минуты инспектор Мак-Артур на коне.

16 августа, через двое суток после ареста Бола и Корди, некий Джон Орн, проезжая через Редландский лес, недалеко от Доргинга, в 30 милях от знаменитого моста, заметил в кустах два мешка и, немного подальше, чемодан. Он открыл чемодан и онемел при виде массы банкнот. Полиция насчитала в чемодане около ста тысяч фунтов, но вместе с деньгами обнаружила гостиничный счет на имя Филда, которого арестовали третьим. Это был Брайан Филд, адвокат.

Следственной группе достаточно было проверить окружение трех арестованных, чтобы взять следующих, пользуясь еще и отпечатками пальцев. За решетку попали Уотер и другой Филд, Леонард, купивший ферму. Следующим стал Рой Джеймс, которого подвела кошачья тарелка. 24 августа он победил в пробном заезде юниоров на гонках в Гудвуде и на следующий день должен был стартовать в большой гонке, но на старт не прибыл: его арестовали в лондонской квартире. В чемоданчике лежит 75 тысяч. Джеймс протестует: это не его деньги, но в кармане пиджака находятся две пятифунтовые банкноты, номера которых известны полиции. Действительно истинная неудача для Роя, потому что переписанных заранее номеров банкнот на этот раз было относительно мало.

Задержали и Гуди. Он знал, что после нападения на ВОАС за ним тянется тень подозрения, но решительно протестует против ареста, думая о личной осторожности на ферме. Увы, химики из Скотланд-Ярда обнаружили на его ботинках мельчайшие следы желтой краски, какой пользовались при перекраске грузовика.

Оставшиеся на свободе впадают в панику. Один бросает сумку со 140 тысячами в телефонной будке, но его находят по оттискам пальцев — это Биггс. Да, в тот день он был на ферме, но ничего о нападении на поезд не знал, а что касается ночи с седьмого на восьмое, то ее он провел в другом месте. От его спокойного тона потом будет звереть судья.

Попадают за решетку Хассли, Висби, Уэлч. Упекают в тюрьму бурно протестующего Вильсона: против него нет никаких доказательств и он замыкается в презри-

тельном молчании, отказываясь отвечать на любые вопросы.

На свободе остаются трое — Рейнольдс, Эдвардс и Джон Уайт. В руки полиции чуть не попадает первый из них. Он купил небольшой домик вдали от мест событий и живет там вместе с женой. В соседний с ним дом вломился вор и полиция стала проверять документы. Рейнольдс мгновенно раздевается, то же делает и его жена и когда на пороге спальни появляется сержант, разыгрывается сцена, достойная комедии: женщина заливается слезами, сквозь рыдания сознается, что замужем и если узнает муж... Дело происходит в Англии, сержант краснеет, не знает, что делать и пятится назад. С того дня пропадает Рейнольдс, пропадает без следа. Эдвардс тоже. Как предполагают, они уехали из Англии.

Приговор, несмотря на то, что оружие при нападении не применялось, был достаточно суров. 30 лет тюрьмы получили Гуди, Джеймс Хассли, Висби, Уэлч, Биггс, Бол и Вильсон; 20 лет — Корди; 3 года Уитер и оба Филда. Общественность по-разному отнеслась к решению судьи, казалось, что им даже сочувствуют. Существовало мнение, что приговором хотели отвлечь внимание англичан к недавней афере министра Профьюмо, когда после уличенного в связи с проститутками министра пало правительство Макмиллана. Общественность была разочарована таким окончанием приключенческой истории и ее ожидание продолжения было оправдано.

Рейнольдс не забыл о своих людях, особенно о Вильсоне, который знал место, где укрыты деньги. Возможно, знал, иначе почему операция "Иерихон" касалась первым именно Вильсона?

Тюрьма Винсон Грин в Бирмингеме относилась к ряду строгих. Вильсон содержался в блоке Б во внутреннем здании и был практически недосыгаем. В августе 1964 года приговору минуло четыре месяца, со дня акции — год. В камере Вильсона освещение горит всю ночь и каждые пятнадцать минут в глазок заглядывает стража. Все предосторожности к опасному преступнику были соблюдены.

Вильсону разрешено читать газеты. И вот в "Дейли Мейл" от 12 августа в разделе мелких объявлений публикуется фраза, которую позже расшифруют как следующую: "Вильсону в Винсон Грин, все готово для побега сегодня в 23.30. Четверо".

Вильсон притворился спящим. Атака на тюрьму началась ровно в обозначенное время и была исключительно быстрой. Четверо мужчин приставили к тюремной стене лестницу и оказались во дворе. Они точно знали время обхода и имели все ключи от дверей. Вильсон передевается в принесенную одежду и все скрываются. Никаких следов, хотя явно нападавшие имели сообщников внутри тюремного персонала — деньги делают свое дело.

Некоторые газеты выдвинули теорию, что Вильсона похитила банда конкурентов, чтобы заставить его выдать деньги, но последующий побег Биггса поставил все на свои места.

Почему Биггс? Может быть, потому, что он был другом Рейнольдса, целиком ему доверявшего до нападения, во время акции и на суде. К тому же — а этому есть

свидетельство — Биггс не сомневался, что Рейнольдс его выручит. Побег Биггса носил характер точно вычисленной операции, подобно нападению на поезд. Собрал ли Рейнольдс "комитет по освобождению Биггса" или обратился за помощью к Мозгу? Скорее, второе.

Тюрьма Уондсворт в южной части Лондона — настоящая крепость. Она окружена стеной в 8 метров, гладкой, как морской риф. С одной стороны возвышается башня с часовым, внутри существует суровый контроль.

8 июня 1965 года на улице появился большой мебельный фургон и три автомобиля. Время прогулки для узников. Фургон останавливается у стены. Он довольно высок — 5 метров от мостовой до его крыши. В крыше открывается люк, из люка показывается платформа с лестницей. По лестнице взбегают человек в маске, оказывается на стене и сбрасывает вниз, во дворик, веревочную лестницу. Заключенные дружно бросаются на стражу и блокируют ее. Биггс и еще трое заключенных взбираются по веревочной лестнице, соскакивают на крышу фургона, а оттуда через люк вскользают внутрь машины, выскакивают из нее и пересаживаются в автомобили. На все ушло три минуты. И здесь точный план, рассчитанный вплоть до секунд, подкупленные люди внутри тюрьмы, подкупленные снаружи.

Теперь надо ожидать, когда окажутся на свободе остальные участники акции, и уже нельзя понять, следует аплодировать преступникам, или опасаться их. И вот здесь скрыто главное, потому что может случиться так, что эти симпатичные преступники овладеют и нашим сознанием.

Примечание: данный материал был опубликован в 1965 году. "Преступление века" не сходило со страниц прессы всего мира не только в середине шестидесятых, но и периодически появлялось в последующие годы. Рейнольдс как будто был обнаружен в Южной Америке, кто-то вышел на свободу. Мы были бы обязаны тем читателям, которые сообщат редакции о продолжении этой истории с ограблением, подобного которому еще не знала история преступлений.

Кто сильнее?

Немного о боксе, шоссоне и кое о чем еще

Воистину любознательное существо — Человек! Он раздвигает границы неведомого, отвоевывает у непознанного новые и новые плацдармы, а закрепившись на них, без промедления начинает очередную штурм. И все же существуют вопросы столь же древние, как и сам человеческий род. Эти вопросы переходят из поколения в поколение, и каждая новая генерация самостоятельно ищет ответы на них...

Одна из таких головоломок: кто сильнее?

Кто сильнее? Или, что почти то же самое, кто кого побьет? — спрашивает малыш у отца, повергая того в глубокую задумчивость.

Действительно, кто? Слон или кит? Тигр или лев? Римский легионер или воин Тевтонского ордена? Вариаций не счесть — как не сосчитать бесконечных детских "почему?"... Обдумывая ответ, отец скорее всего, вспоминает, как в свое время и сам допекал подобными вопросами дедушку этого малыша, и лихорадочно ищет убедительные аргументы в чью-либо пользу.

В наши дни, когда властно заявило о себе всемогущее видео, ставшее относительно доступным и для ищущих ответ на поставленный вопрос, последние все чаще спорят о том, кто сильнее: Сильвестр Сталлоне или Арнольд Шварценеггер, Брюс Ли или... Казалось бы, можно смело поставить на Брюса Ли и его преемников из лагеря поклонников кун-фу, с достойным уважением постоянством повергающих в прах (по крайней мере, на экранах) заносчивых европейских и тайландских боксеров, а также непосредственных своих конкурентов из школ каратэ, дзюдо, айкидо... несть им числа. Не случайно, лишь успело отшуметь то запрещавшееся каратэ, как наши сограждане, познавшие аэробику и Кашпировского, попали под массивный удар кун-фу и его мирного сородича ушу. Достаточно почитать объявления на заборах, зовущие причаститься к таинственным школам восточных единоборств...

Но оторвемся от видео и обратимся к богатому опыту приключенческой и фантастической литературы, чей стаж несоизмерим с юным возрастом видео. На книжных страницах герои по воле авторов постоянно испытывают свою удачу в единоборствах с кем-либо. Так, нелегкой проверке на жизнестойкость был подвергнут своим создателем Артуром Конан Дойлом, бравый наполеоновский полковник Этьен Жерар из Конфланского гусарского полка. Бежав из английского плена, он был вынужден, не имея в своем распоряжении при-

вычного оружия — сабли, голыми руками сражаться с Бастлером из Бристольа, местным чемпионом по боксу в легком весе. Впрочем, голыми руками дрался Бастлер, который, по свидетельству Жерара, "стал в странную позу: одну руку выбросил вперед, другую положил на грудь". Сам же лихой кавалерист руки в ход не пускал — не разбираясь в тонкостях кулачного боя, он кинулся на противника "с воинственным криком и пнул его ногой".

Исход поединка оказался плачевным для гусара, вспоминавшего впоследствии: "В ту же секунду обе мои ноги взлетели вверх, в глазах замелькали вспышки, как в бою под Аустерлицем, и я ударился затылком о камень". К чести француза, англичанин также не избежал неприятностей — у него распухло колено, за что боксер получил нагоняй от своего тренера.

— Откуда я знал, что он начнет лягаться?

— А вы думали, он будет драться по всем правилам английского бокса? Будто вы не знаете, дуралей, что во Франции и понятия не имеют о том, как надо драться".

Сам Жерар не преминул высказать англичанам свое отношение к происшедшему: "Вы бьете меня по голове. Я пинаю вас ногами. Тоже детская игра. А вот если вы дадите мне саблю, а себе возьмете другую, я покажу вам, как мы умеем драться".

Конан Дойл, к сожалению, не уточняет, умел ли Жерар драться ногами или же пинком в колено Бастлера удался ему чисто случайно. А между тем мы вправе подозревать в гусарском полковнике не только талантливого фехтовальщика, но и... Впрочем, дадим слово другому знаменитому писателю — Луи Буссенару. В известной повести "Капитан Сорви-голова" француз, воюя на стороне буров против англичан, демонстрирует нечто большее, чем просто случайные пинки: "Английский офицер, видя свою гибель, бросился было бежать, но Фанфан, мастер шоссона, ловко сшиб его подножкой". Поясним, что шоссон, как свидетельствует Буссенар, — это "распространенный во Франции бой ногами". Возможно, именно потому, что Буссенар был французом (в отличие от его современника англичанина Конан Дойла), Фанфан оказался куда удачливее Жерара: "крепко прижать" капитана Руссела к земле для него не составило труда. Отметим, справедливости ради, что англичанин был перед схваткой ранен в руку (правда, не Фанфаном).

Кстати, полковнику Жерару довелось еще раз попробовать свои силы в поединке с англичанином — он дрался против "Болдока, толстяка, который ужасно кичился своими боксерскими талантами". На сей раз гусару пришлось именно боксировать, отказавшись от надежды на везенье своих ног. Сам Жерар вспоминал по этому поводу:

"— Запомните, Жерар, ногами бить нельзя, — сказал лорд Рафтон мне на ухо. На мне была пара тонких вечерних туфель, и все же при тучности противника несколько удачных пинков могли бы обеспечить мне победу. Но тут существует определенный этикет, так же как и в дуэли на саблях, и я воздержался от пинков".

В этом поединке была зафиксирована ничья. Болдок навязал французу ближний бой и преуспел бы в нем, но Жерар сумел использовать такую слабость противника, как топыренные уши. Он ловко — несмотря на то, что мешали боксерские перчатки — хватал Болдока за уши, изобретая попутно интересный прием — рывок за ухо с броском соперника на пол, а в конце концов английский боксер был попросту укушен в руку. Терпение Болдока лопнуло: "Разведите нас, Рафтон! — взвизгнул он. — Разведите, слышите! Он кусается!"

В далеком прошлом остались герои Конан Дойла и Буссенара. Канул в Лету незавершенный спор между боксом и шоссонем. На арену ворвались малопонятные восточные бойцовские системы.

Полвека назад, причем, и позже молодежь зачитывалась романом Александра Казанцева "Пылающий остров". Не будем пересказывать содержание произведения, выдержавшего много изданий и ставшего в чем-то классическим. Скажем лишь, что по мере развития интриг империалистов Америки и Японии вокруг некоего научного изобретения в тайной лаборатории лицом к лицу сошлись американец Вельт и японец Кадасима, выдававший себя за хилого корейца. Полковник генштаба японской императорской армии легко выбил револьвер из руки "сына американского миллионера", находившегося, кстати, в хорошей спортивной форме, вывернул противнику руку, "потом неожиданно ударил американца ребром ладони по горлу..."

Не знаящие видео любители фантастики 40-х годов в этом месте сдерживали дыхание: что же это за чудесник-японец? Как это он?!

На что Кадасима отвечал читателю:

"— Джиу-джитсу, сэр. Японская борьба. Учитесь!"

Но Вельт не был бы американцем, если бы не попытался взять реванш!

"Вельт принял позу боксера. Предстояла схватка за право жить. Бокс против джиу-джитсу".

Страшные удары Вельта, которыми "можно было нокаутировать быка", не принесли ошеломительного результата. Японец был слишком легок для бокса. Он отлетел к двери, а затем, лежа на полу, ногами захватил ноги Вельта, рывком повернулся и...

"— Все! — сказал, поднимаясь, японец и стал искать упавшие очки".

Так задолго до появления Брюса Ли старый добрый бокс склонил голову перед мастерством Востока.

Заметим, что много лет спустя после появления "Пылающего острова", в сравнительно недавнем прошлом весьма далекие от фантастики деловые люди шоу-бизнеса попытались определить раз и навсегда с ответом на вопрос о том, так ли уж беспомощен бокс перед восточным боевым искусством. Несравненный король бокса — тяжеловес Мохаммед Али — в широко разрекламированном поединке встретился с одним из авторитетов дзюдо. Шоумены остались в разочаровании: пока Али кружил вокруг соперника, готовя серию своих молниеносных ударов, тот, подобно Кадасиме, но по своей воле, лег на спину и упорно разворачивался в сторону боксера, готовя не менее страшные приемы своих знаменитых ног, напоминая этим Жерара, но в более пассивном варианте. Тем дело и кончилось. Короли не рискнули пойти на обмен ударами, чем заслужили справедливую критику со стороны спертивной общечеловечности. Уходом от активности они невыгодно смотрелись и в сравнении с литературными бойцами — Вальтом и Кадасимой...

В этой связи интересно мнение известного японского писателя Саке Комацу — своего рода оценка возможностей древних азиатских школ единоборств в их противостоянии американской воинственности, причем оценка с восточной, японской стороны. Характерно, что и это мнение отнюдь не к эпохе до широкого распространения видео и, соответственно, до всепланетного знакомства с каратэ и кун-фу. Вышедший лет тридцать назад роман "Похитители завтрашнего дня" чем-то средним "Пылающему острову". Там события также носят глобальный характер, и Япония непосредственно противостоит Америке. Давайте вспомним сюжет: герой японского фэякларя, передник театра Кабуки по имени Гозмон "замораживает" все взрывчатые вещества на свете. Порох не загорается, динамит не взрывается, ядерное оружие становится непригодным. Военная мощь США растаяла, как дым. И вот в этих условиях авантюрист Тамура начинает готовить что-то вроде армии, обученной в духе традиционного боевого искусства Японии. Он укрепляет свой замок, куда "хлынули прибывшие со всех концов Японии мастера древнего военного искусства, подхватившие клич Тамуры". Среди них были представители фехтовальных школ Дзига, Яге, Хокусин-итто, стрельки из лука школы Хикага, знатоки ниндзюцу школы Тода и даже такие, как "гоеподин средних лет, отрекшийся от своего ниндзя в пятнадцатом поколении из школы Кога".

Тамура выразил уверенность в том, что "отсутствии современного огнестрельного оружия приведет к пересмотру военной науки", и

предложил преподавателям средневековой тактики и фортификации школы Косюрю "разработать методы ведения боя для отрядов, вооруженных главным образом луками, пиками и ударным оружием".

"...Полагаю, что таким мастерам своего дела, какими являетесь вы, не составит труда справиться с десятком бужов импортного образца.

— Правильно, — сказал полный господин, дипломированный фехтовальщик школы Яге. — Лично я, если огнестрельного оружия не будет, могу в одиночку одолеть десяток подобных молодых с помощью обыкновенного деревянного меча".

Американцы, в свою очередь, идут на такие ухищрения, как бомбардировка замка Тамуры огромными камнями, сбрасываемыми с самолетов, или оснащение боевых кораблей таранными выстрелами. В конце концов американский десант совместно с правительственными войсками Японии сходятся с мастерами древних боевых школ рукопашную. Демонстрируя свое оружие — "палка с толстой цепью, на конце цепи оцетинившийся колющими шарик размером с теннисный мяч" — американец зидательно объясняет: "Эта европейское средневековое оружие. Называется "утренняя звезда". Ничего, обойдемся и без пистолетов. Наши предки оставили нам неплохое наследство".

Поле боя остается за лучше организованной и вооруженной регулярной армией; Тамура делает хакарири. Так неутешительно для мастеров рукопашного боя Японии заканчивается роман японского автора. Что ж, может быть, Комацу видней...

Стайка подростков торопится на просмотр "Ниндзя" или "Тень императора". Листовка на заборе призывает учиться боевому искусству Южного Шаолиня. Вот так — именно Южного. Хотите научиться двигаться в стиле богомола, павиана или пьяницы?

Но кто обучает философичности, способности к самосозерцанию и самосовершенствованию, стремлению к гармонии с природой — всему тому, что столь характерно для восточноазиатских народов и получило свое развитие в системах боевых единоборств, мудрых, как сама История? Что-то не видно таких объявлений. А пока в нашей не очень-то легкой жизни так хочется по утрам видеть над голевой солнцем, а не вскинутые чей-то рукой "утренние звезды" или нунчаки...

Вот неспешно шагают по улице мальчик с отцом. Что там у них — кто сильнее? Кит или елон?.. Оставим их. Отойдём. Не будем мешать.

Д.Костиков

1994-й... 1994-й?!

Краткая хроника событий, "запланированных" фантастами

Нынешняя хроника составлялась в тот момент, когда подписчик еще не получил — в силу неблагоприятно сложившихся обстоятельств — последний прошлогодний номер "Уральского следопыта", подтверждающий нашу приверженность к подобным материалам. Оттого-то и не было, увы, ни единой подсказки от наших читателей — и пришлось нам довольствоваться тем, что сумели разыскать сами. Хроника оказалась в итоге весьма чухлой — лишнее доказательство, что помощь Коллективного Разума, при нынешнем-то положении фантастики, поистине бесценна!

1994. Опубликованы дневники Бенджамина Хаксли — того самого, кто записал рассказ Путешественника по времени, позже переработанный Г.Уэллсом в известную повесть (М. Грешнов. Второе путешествие Путешественника. 1989).

1994, 19 марта. Шестьдесят лет минуло с того дня, как на Марс с дружественным ответным визитом отправилась первая делегация землян (А.Абашели. Женщина в зеркале. Рус. пер. — 1961).

1994. Исполнилось пять лет Эвальду Молчанову, в будущем — космонавту-коммунистатору (В.Голованев. Великан на дороге. 1978).

1994. Из Нью-Орлеана в Таллахасси проложен в объезд новый хайвэй (П.Амнуэль. Взрыв. 1990).

1994, 2 мая. Пятую годовщину со дня всемирной ядерной катастрофы 1989 года отметило заметно проредившее человечество, занятое исключительно проблемами непосредственного выживания (Д.Типтри. Человек, который шел домой. Рус. пер. — 1990).

1994, 12 мая. Пятнадцать лет прошло с тех пор, как в одном из зоопарков в качестве донора для дикого животного экспоната-клопа — добровольно поселился замороженный "обыкновенный вульгарис" 20-х годов Присыпкин (В. Маяковский. Клоп. 1929).

1994, 4 июня. Тридцать пять лет назад провозглашена Единая Республика Человечества и создано всемирное правительство (Г. Уэллс. Освобожденный мир. 1913).

1994. Исполнилось десять лет Лео-Антуану Нежеру, в будущем — генерал-майору, начальнику Отдела кризисных ситуаций Межнародной службы Безопасности (А.Бушков. Великолепные гепарды. 1990).

1994, 14 августа. В ремонтной бригаде

водоконденсационной станции на Виргинских островах появился новый сотрудник — дельфин **Измаил** (Р. Силверберг. Влюбленный Измаил. Рус. пер. — 1991).

1994, 18 сентября. Принят закон об отцовстве, согласно которому отец, живущий отдельно от ребенка, обязан выплачивать алименты до достижения им 10-летнего возраста; и закон этот имеет обратную силу (Р. Штеффен. Дорогому папочке. Рус. пер. — 1988).

1994. Завершив теоретические исследования, доктор Уолтер Льюин перешел к поискам практических возможностей управления постоянной тяготения (П. Амнуэль. Бомба замедленного действия. 1989).

1994, 2 декабря. Десять лет назад Земля принята в Почтовый Союз Галактической конфедерации (Х. Пирс. Почтой — срочно. Рус. пер. — 1981).

1994, 20 декабря. В схватке с невидимыми "паразитами мозга" погиб открывший их присутствие среди человечества доктор Карел Вайсман (К. Уилсон. Паразиты мозга. 1967, рус. пер. — 1991).

1990-е. Из-за усиления межнациональной розни и утраты каких-либо гарантий безопасности завершилась "великая эра туризма" (Б. Шоу. Венок из звезд. Рус. пер. — 1989).

Кроме того, по-прежнему продолжают спать, замерзнув во льдах и снегах, герои книг "33 марта" В. Мелентьева (1957), "Внуки наших внуков" Ю. и С. Сафроновых (1958), "Прыжок в послезавтра" П. Воронина (1970), "Завещание каменного века" Д. Сергеева (1971) и многих других.

Кроме того, по-прежнему находятся в пути туда и обратно многочисленные путешественники во времени...

А ваша оценка?

Отнюдь не надеясь на обильную почту, мы, тем не менее, как и в прежние годы, предлагаем читателям оценить произведения, составившие наш сборник фантастики.

На последней странице последнего выпуска "Аэлиты—94" помещено оглавление всей книги. Произведения, в нее вошедшие, пронумерованы.

Просим вас переписать на открытке (с пометкой: "Аэлита—94") эти номера и каждому произведению (указывать их названия, авторов не обязательно) — воздать должное.

Предлагаем все ту же пятибалльную систему:

- 5 — в восторге; отличное произведение!
- 4 — хорошее, добротное, нужное; правильно сделали, что напечатали;
- 3 — не возражаю против публикации, но... можно было и не печатать;
- 2 — вызывает массу замечаний; недоработанное, сырое произведение; автор и редакция слишком погоропылись с публикацией;
- 1 — категорически против публикации; зря потрачена бумага, занято чужое место!

Открытку (или письмо) с оценкой "Аэлиты—94" просим отослать на адрес редакции не позднее, чем через месяц после получения этого номера.

Книжные новинки

Раздраконивает Вас. Кириллов

Один дракон — книга, не лишенная привлекательности, но только для слабоумных, либо дрянная, но хорошо изданная книга.

Два дракона — книга, которая без труда прочитывается от корки до корки, но после вызывает ощущение впуслуго потраченного времени.

Три дракона — книга хорошая, но по вине издателя, переводчика, редактора, корректора не заслуживающая более высокой оценки.

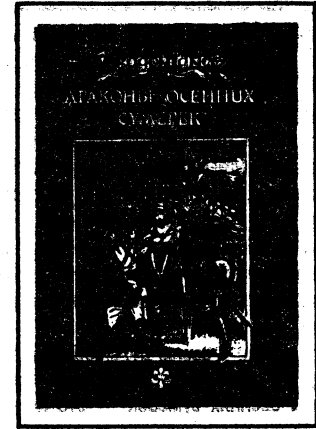
Четыре дракона — хорошая книга, которую стоит прочитать, но, по тем или иным причинам, не следует торопиться с приобретением ее для своей библиотеки.

Пять драконов — отличная книга, которую можно читать и перечитывать.

Шесть драконов — шедевр, способный сыграть роль настольной книги, которую можно не только читать и перечитывать, но и завещать своим детям.

Жаба — откровенная калтура, не вызывающая ничего, кроме отвращения и уверенности в том, что такую книгу вообще не следовало издавать.

Маргарет Уэйс, Трейси Хикман. *Драконы осенних сумерек* (Saga о копые, т. I). СПб: Северо-Запад, 1994. — 512 с.



Казалось, "Северо-Запад" на пороге исчерпания своих возможностей и вряд ли удивит читателей каким-либо новым открытием в мире переводной фантастики.

Но, по-видимому, мощности этого издательского концерна просто неисчерпаемы. Вслед за "Конаном" вылетели в свет первые ростки сразу нескольких сериалов в жанре героической fantasy. И "Dragon Lance", эпопея, первый том которой я берусь для вас "раздраконить", — отнюдь не худшая часть этой поросли.

Удивительно, как мне до сих пор не осточертели истории, напечатанные ошметками великих и малых мифологий! Со всеми этими гномами, эльфами, драконами, кентаврами, гоблинами, с отважными и негибкими героями, с очаровательными девицами, чьи золотые и серебряные волосы, мягкие губы, огромные глаза и точеные фигурки уже, кажется, вязнут в зубах не хуже "Сникерса" и "Марса"...

А ведь читаю однако. И никак не надоест. И гаснет критический запал по мере приближения к счастливой или, по крайней мере, обнадеживающей, развязке.

— Как ты можешь читать всю эту белиберду? — вопрошают меня время от времени хитроумные приятели, источающие деловитость и индустриальную потенцию. — Ведь это читво для тебя уже вроде наркотика...

— Христос воскрес, братцы! — восклицая я в ответ. — Будьте как дети, велит он нам. Или вы и чистую родниковую воду сочтете наркотиком лишь оттого, что человек нуждается в ней? Или вы думаете, что простота хуже воровства не только в житейском, но в самом общем, мировоззренческом, смысле? Нет, други мои, хуже воровства ваши сложности,

ваши фокусы с превращением жизни, единственной и бесценной, во множество бумаг, чьи номинал и курс сосчитаны и известны. Нет более, благодаря усилиям подобных вам, ни песен, ни прибауток, ни сказок в ночь под Рождество... Так читайте хоть эти неказистые саги, плод нашей тоски по истинным чудесам. Вбирайте выраженные в них простодушие, отвагу, тепло и благородство. В них всегда есть что-то новое даже при полном отсутствии литературного изыска и откровенном эпигонстве (которое прежде называлось традицией). Потому что простодушие, отвага, тепло и благородство не стареют и удивляют каждым своим проявлением. Читайте эти книги — и быть может, тогда вы поверите и у вас достанет духу произнести: "Воистину Христос воскрес и повелел нам быть как дети!"

Так отвечаю я своим делоприемным приятелям и, не дрогнув, оглашаю свое решение: "Драконы осенних сумерек" — это не два, не три и не четыре, а целых пять драконов. Что, собственно говоря, ясно уже с первого взгляда, брошенного на обложку.

Эдмонд Гамильтон. *Таинственный мир.* М., 1994. — 464 с., серия "Осирис".



Четыре "романа" Э. Гамильтона о приключениях капитана Фьючера на самом деле не заслуживают столь высокой жанровой принадлежности. Серия "Осирис" разочаровала меня этой книгой, которую я так и не смог прочитать до конца, ибо устал бороться с рвотными позывами. Никакие это не романы, а всего лишь подписи к дешевым комиксам, которые и в соседстве с яркими картинками читать — смертельная скука, а без таковых — невыносимая мука.

"Космическая опера", за версту воняющая розовым мексиканским мылом — вот еще и так можно назвать этот шитый гнилыми белыми нитками "Таинственный мир". Под видом

простодушия здесь выступает беспросветная глупость. Под маской отваги и благородства потеет примитивный бухгалтерский расчет. А взамен тепла подсовываются ослиные остроты и наслех пролитые чернильные согли.

Что тут еще скажешь? По Гамильтону лично разве пройтить... Тоже мне — мастер мировой фантастики! Да он просто мастер мировой халтуры! Мне нечего добавит...

...Кроме жабы, которую я впервые выношу на свет, чтобы повесить на шею капитану Фьючеру, а заодно и писателю, его породившему.

Мэри Стюарт. *Хрустальный грот.* — М.: Змей Горыныч, 1993. — 415 с.



Наконец-то появилась возможность прочитать первую (!?) книгу знаменитой трилогии о Мерлине. По странному произволу переводчиков и издателей сперва нам преподнесли "Полые холмы" и "Последнее волшебство". К слову, почему-то и "Северо-Запад" не воплотил этого упущения и ограничился изданием в большой серии "fantazy" только названных томов — второго и третьего.

"Хрустальный грот" — прекрасная книга. Стилистически ровное, сдержанное и вместе до предела напряженное повествование, выполненное скромными, но очень точными средствами, позволяет безоговорочно признать Мэри Стюарт классиком жанра. Очаровывает также и присущее ей полное отсутствие амбициозности, качество труднодоступное для пишущего на столь величественную тему.

Замечательно и то, что Мэри Стюарт, местами чересчур увлекающаяся идеей простого объяснения чудесных событий, тем не менее не преступает некой заветной грани, оставляя простор воображению, и не пытается поднять завесу над непостижимым, по определению скрытым от нашего рассудка механизмом чуда и волшебства.

Жаль только, что издание, о котором идет

речь, не обошлось без нелепой "нагрузки", которая, кажется, уже стала принципом иных книгоделов. "Крепкий" научно-фантастический боевичок, послуживший на сей раз страничным балластом, подходит истории юного Мерлина, как собаке — пятое колесо. Вот этим колесом издатели серии "Горыныч" и переехали шестого дракона из тех, что я готов был присвоить шедевру М. Стюарт. Так что пять драконов и ... "Змей Горыныч". Кстати, суперобложка тоже оставляет желать лучшего (помнится, точно такую же картинку я видел уже на двух или трех книжках соответствующего жанра).

Я говорю вам: "До свиданья!"

Вы прочитали последнюю подборку "Заочного КЛФ", которую еще успел подготовить Виталий Иванович Бугров, светлая ему память.

Мы продолжаем его дело. Вместе с вами, читатели, любители фантастики. "Заочный КЛФ" ждет ваших писем. Не может быть, чтобы наше движение сошло на нет. Обратное доказывают проведенные в ноябре фестивали фантастики: "Зиланткон" в Казани и "Белое пятно" в Новосибирске — о них мы еще расскажем.

Активизировалась толкиенистская ветвь движения любителей фантастики — это заметно по последней почте журнала, где авторами писем из КЛФ выступают сплошь "хоббитяне", — их и будем печатать в первую очередь.

А что, другие клубы закрылись? Или преждевременно закрыли наш "Заочный КЛФ"? Нет, братцы, собрались мы жить и дальше. Вашими молитвами, то бишь письмами. Особенно надеемся на вашу помощь в составлении "Игротеки". Ждем-с.

Сергей КАЗАНЦЕВ,
зав.отделом фантастики "УС"

Микроб на лысине

1

Заседание Совета подходило к концу, когда неожиданно взорвался напористым потоком слов тщедушный с виду старичок:

— Это... Это не просто непродуманность, а головотяпство, граничащее с преступлением, — закричал он после слов председательствующего. — Так и именно так, и я не намерен ни просить извинения у своих коллег, ни искать более мягкого слова для этих бездумных действий! Я трижды обращался в Совет с предложением провести глобальное исследование системы Луконы по специальной программе. Глобальное! А в итоге Совет имеет сегодня сведения лишь чисто метафизические, которые в состоянии собрать каждый школьник, разумеющий о градуснике! Обнаружена уникальная система во Вселенной, а мы собираемся ее... грабить! Именно грабить, даже не потрудившись хоть что-либо понять в ней!

— А что, собственно, в ней особенного и уникального? — с ироничной ниточкой на тонких губах перебил старика председательствующий — молодой, чем-то сразу не понравившийся Владу. "Высочка из ранних" — неприязненно подумал он, стараясь вспомнить его фамилию, но отвлекаясь не дал разгоряченный старик.

— Во всяком случае — не ваш нашумевший криспам! Как раз в нем-то ничего уникального нет — природа Земли создала нечто подобное уже давно — человеческий мозг! И его клетки обладают почти такой же информативностью. Мы нашли криспам! Тоже мне находка, как говорили встарь — топор за лавкой! Но уж если нашли и доставить сумели, так потрудитесь сделать подобное сами, а не лезьте ковыряться в нутро планеты, как дачник в собственный огород, ничуть не позаботясь о разрешении!

— У кого же это нам разрешение спрашивать? — раздражения в словах председательствующего было больше, чем удивления, и теперь Влад его вспомнил — сын директора Института по внеземным технологиям.

— У меня хотя бы! — Старик задиристо вскинул тощую бородку вверх. — Как члена Совета Космоса, как ученого, как человека, наконец! Я протестую против необдуманного решения о разработке шахт на Луконе! — Старик выпалил все на одном дыхании, глубоко вздохнул и сел, оглядев внимательным взглядом узеньких щелочек-глаз весь Совет. И уже сев, заговорил снова, спокойно, но ничуть не менее убежденно: — Система Луконы уникальна по своему строению, и ее изучение, настоящее изучение, а не школярское дерганье с определением состава атмосферы, может продвинуть всю нашу

науку на целый порядок. Впервые в истории освоения космоса мы говорим не о кольце, не о поясе астероидов, но об оболочке, сферической, настолько плотной, что ни одно известное нам излучение не может выйти наружу, и настолько идеальной по строению формы, что наш разум с ходу посещает мысль о ее искусственном происхождении. Впервые в истории освоения мы имеем дело не с гелиоцентрической, а с планетарной системой, которая, ко всему прочему, отгорожена от внешнего мира плотным каменным коконом со своими тремя солнцами. И вот эту планету, что только по одной ей известным причинам и законом заставляет вращаться вокруг себя три солнца с каким-то невероятным, абсолютно не изученным спектром излучения, мы собираемся использовать в качестве бабушкиного сундука с сухарями. Очень похвально! Чрезвычайно похоже на кухарку, использующую "Книгу о вкусной и здоровой пище" как подставку под горячее! — с саркастической горечью закончил он и быстро вытер выступивший на неширокой лысине пот.

Председательствующий неожиданно объявил перерыв.

Скред потыкал в кнопки, экран погас, плавно зажглось верхнее освещение.

— Вторая часть заседания была короткой. Обсуждения по сути не было, председатель настоял на голосовании. Один против, пять воздержались, остальные — за. Будешь смотреть? — он повернулся к Владу вопросительно.

— Нет, — Влад задумчиво покачал головой. — Кто этот старик?

— Профессор Барт.

— Вот как! — удивился Влад. — А защита Барта...

— Все так, — Скред кивнул. — Это он избрал эту защиту, и ведь только с нею и удалось пробиться к Луконе.

— Сам он там был?

— Нет, не был. Он, кстати, в конце Совета, после голосования, заявил, что знает он о том, что рудники на Луконе будут построены до всестороннего изучения планеты, ни за что бы не стал создавать свою защиту.

— Даже так! — Влад постукивал по столу, смотрел на изгрызенные ногти — дурацкая привычка, никак не избавиться. — Чего же все-таки так спешили с шахтами?

— Почему — спешили? — Скред несогласно пожал плечами. — Это Барту показалось, что спешили. Разработка полезных ископаемых шла всегда в параллель с изучением планеты. Правда, тут случай несколько иного порядка —

загадка планеты была видна, что называется, невооруженным глазом, но на это рукой махнули, — закончил он невесело.

— Выходит, зря махнули? — насторожился Влад.

— Ну, тут ничего еще не ясно, — запротестовал Скред. Добавил раздраженно: — Кокон этот чертов, связь с планетой отсутствует, только транспортники-автоматы... Жди, от рейса к рейсу — три месяца.

— И что?

— Два последних транспорта пришли пустыми.

— Без груза?

— Да нет, груз, криспам этот, они притаранили, а вот отчета о работе бригады да и просто личной корреспонденции — нет. Осталась невооруженной и вся корреспонденция для базы. Короче, отсеки для отряда остались невооруженными. Сами транспортники работают по автоматической программе. Прилетел — загрузился — отчалил, шахты ведь тоже в автомате работают...

— А зачем был отряд?

— Они монтировали девятую шахту.

— Сколько их было? — Влад спросил и тут же поправился: — Сколько их на Луконе, монтажников?

— Обычная рабочая группа, — Скред принялся набирать нужную комбинацию кнопок и, когда на экране, вспыхнувшем в затемненной опять комнате, проявилось неяркое волевое бордатовое лицо лица мужчины лет сорока пяти, заговорил снова: — Это командир, Громов, 48 лет, стаж монтажника двадцать пять лет. Громова, 27 лет, его дочь. — Миловидное, с хитроватым прищуром веселых глаз, лицо. — Ксен, 34 года, и его брат. — Два парня в обнимку на фоне недалеких серовато-голубых скал, улыбки на лицах, влажно блестящие ровные зубы. — Они близнята. Это все четверо перед отправкой. — Трое мужчин и женщина в фирменных комбинезонах. Корабельный трап позади.

— Стартовали с Земли?

— Нет, с обычной околотунной станции. Это они попрощаться пришли со своим судном, — Скред объяснял присутствие трапа и судна.

— Что тебе дать в первую очередь?

— Давай все по порядку, — Влад покрутился в неудобном кресле, выискивая приемлемое положение. — С самого начала.

— Тогда слушай и смотри, — Скред долго перебирал клавиши на пульте и, когда экран запестрел изображениями, стал комментировать быстро и сухо: — Система Луконной открыта пять лет назад Сорок шестой Звездной. Радары крейсера засекли плотное образование на самом краю галактики. При подходе выяснили, что это идеальный шар диаметром в половину нашей Солнечной системы. Поверхность шара состояла из плотного каменного слоя толщиной в пять тысяч километров. Пробриться за слой внутрь экспедиция не смогла — это было

все равно, что таранить бетонную стену. Прожечь дыру противометеоритной защитной тоже не удалось — скорость астероидов и осколков в слое разная, более того, внутренний слой движется навстречу внешнему. Всей эскадрой удалось пробить тоннель лишь на несколько микросекунд — и тогда увидели в эту дырочку солнце. Польшнуло так, что все решили, будто были атакованы.

Вернулись ни с чем. Через год Барт закончил разработку своей защиты, той самой, что ломает не камни, а пространство, в котором они летят. Еще через год одиночный разведчик прошел с этой защитой сквозь каменное вариво без единой царапины.

Внутри этого камешка оказались планета, по размерам схожая с Землей, и три солнышка с каким-то странным, кодированным неизвестно чем спектром излучения. Самым большим шумом было встречено известие о том, что все три звезды вращаются по одной орбите вокруг планеты, а сама она стоит на месте, как вкопанная. Кто ее Луконной назвал — неизвестно.

Жизни на Луконе нет, планета — абсолютно спокойная во всех отношениях: никаких катаклизмов. Состав атмосферы напоминает земной, и первые разведчики уже надышались ее воздухом. Выжили. Это еще одна неприятность в этой планете — только песок и камни на поверхности: по всем известным законам такого состава атмосферы быть не может, а он есть. Смены времен года на Луконе нет, как нет дня и ночи — три солнца освещают ее по строгой очереди. Температура на поверхности практически постоянна.

Разведчики сделали пять пробных бурений и ничего похожего на полезные ископаемые в обычном понимании не нашли. Зато на глубине в десять километров наткнулись на залежи неизвестного материала. Что-то типа кристаллического ячеистого железа.

На Земле этому материалу через некоторое время нашли применение довольно неожиданное. Оказалось, что его структура позволяет хранить информацию, причем безо всякой дополнительной обработки. Этакое оперативное запоминающее устройство в виде камешка. Объем памяти одного кубического сантиметра потрясал воображение. Даже у теоретиков. Информацию можно было многократно перезаписывать, мало того — для ее хранения не требовалась энергия. Материал выдерживал термоядерные температуры, не теряя записанного, и, даже будучи разбитым на части, позволял списать информацию с отдельного кусочка в отдельности и соединить ее в целое.

Для компьютерщиков это был клад. Если учесть еще и его быстродействие, то заказы на криспам стали просто огромны. Криспам — кристаллическая память на молекулярной основе, — так назвали находку на Луконе. Заседание Совета по Космосу, которое ты видел, как раз и было перед постройкой первой шахты. Необычайность системы сдерживала пона-



чалу разработку и добычу этой руды, но зондаж членов Совета велся довольно успешно. Что ни говори, такой материал для земной техники — не просто находка. В итоге только один Барт и остался против.

Через три года, то есть семь лет назад, были созданы транспортники с защитой Барта и начались первые регулярные рейсы на Лукону. Шесть лет все шло гладко, менялись группы монтажников, сумели установить восемь автоматических шахт, построили космопорт, наладили автоматическую добычу. Последнюю по плану девятую шахту намечалось запустить месяц назад, после чего монтажники должны были вернуться обратно. Они не вернулись: транспорт пришел пустым. Продуктов питания им хватит еще на два-три месяца, у них есть своя теплица, опасность извне никакой, на опасных участках монтаж ведут роботы. А Громов не станет нарушать инструкции. Это все.

— Значит, добыча криспама продолжается?

— Да, транспортники вернулись загруженными. Судя по записям с датчиков — работа на восьми шахтах идет нормально. Загрузка происходит автоматически, без участия монтажников.

— А может, они там прозевали прилет транспорта?

— Два раза? Нет, — Скред убежденно покачал головой. — Они обязаны были не просто встретить транспорт, но и передать всю интересующую Центр информацию. Ведь база — это еще и исследовательская лаборатория. А непередача информации — нарушение по рангу "один".

— Ясно, — Влад потянулся, распрямляя затекшие ноги. — Почему у тебя такие неудобные кресла? И... вы хотите послать меня одного? — спросил давно мучавшее его.

— Да, одного. На этом настаивал Барт на Совете и убедил всех,

— Барт? Почему? — удивился Влад.

— Пока я смогу сказать тебе немного: Совет был закрытым. Барт лично изучал картотеку разведчиков и выбрал тебя.

— Значит, когда месяц назад была неплановая проверка школы, это было...

— Это было анкетирование по программе, составленной Бартом.

— Вот оно что, — протянул Влад задумчиво.

— А я-то думаю — что за дурацкие вопросы? Но чем же Барт смог всех убедить?

— Не знаю. Думаю, просто весь Совет испытывал перед Бартом...

— Чувство вины?

— Да нет, пожалуй. Скорее — чувство неловкости.

— Что ж, мне все ясно, — Влад поднялся с кресла с видимым облегчением. — Что еще?

— Нужную документацию получишь в девятнадцатом кабинете. Отлет завтра.

— На чем?

— На твоей "Горгоне". Большая вооружен-

ность тебе ни к чему, а в случае эвакуации забережь всех в транспортный отсек.

— А питание?

— Тебе предстоит пробыть на Луконе не больше двух суток. Жизнеобеспечение только на это время.

Влад присвистнул удивленно:

— Так я же там за двое суток не пойму ничего, если что...

— Понимать ничего не нужно, — перебил его Скред. — Здесь нужна информация. И только.

— Ладно, — пожал плечами Влад и вышел.

Старт прошел гладко. Неделя ушла на разгон, еще неделю Влад провалялся в анабиозе. — "Горгона" шла по темпоральному каналу. Очнулся по графику, когда его разведчик кружил вокруг каменной стены.

Защитные фильтры сработали четко, и все же короткая вспышка в иллюминаторе переднего обзора больно ударила по глазам.

Три оранжевых апельсина зависли вокруг светящегося слабым голубоватым светом макового зернышка. Такой показалась картина этой системы сквозь фильтры.

Бортовой компьютер, уже обрабатывая результаты увиденного, выстрелил строками цифр на голубом экране.

Переменное излучение одной из звезд, самой слабой по светимости, изменилось. В чехарду импульсивных вспышек и всхлипов поля вклинилось непонятное электромагнитное излучение слабой интенсивности, напоминавшее белый шум в рабочей электронной схеме. Однако компьютер сделал неожиданный вывод — этот шум является также кодированным.

Влад пожал плечами. И почему компьютеры стараются всех убедить, что излучения кодированы? Пробовали на Земле смоделировать нечто похожее. Но самообучающуюся систему обмануть не удалось. Самый заумный код, расшифровке условно не подлежащий (150 лет машинного времени) и воспринимаемый на слух, как шелест листьев осины в ветреную погоду, компьютеры мгновенно отличали от обыкновенной передачи шума той же осины.

И с вердиктом компьютеров пришлось согласиться, хотя все воспринимали его с немалой долей иронии: неплохой передатчик — звездочка побольше Солнца! Вот только зачем его экранировать? Были и горячие головы, ухватившиеся за эти коды, как кошка за мышью, и не поверившие в невозможность расшифровки. Спустя год все разговоры о "разумном коде планеты трех солнц" затихли. Мало ли чего в природе не бывает! Ну, а компьютер — так ведь ему не объяснишь. Он что проглотит, то и выплюнет.

Влад сделал анализ этого шума. На расчет ушло полторы минуты, вывод же был неожиданным: интенсивность шума убывает по вполне логичному закону. Анализатор начертил кривую, проставил время, и Влад невольно проговорил вслух.

— А это уже что-то!

Спад интенсивности шел по простенькой кривой, словно затухающее колебание в контуре. Пик мощности излучения приходился приблизительно на то время, когда первый транспортник пришел пустым, то есть без отчетов, с невостребованной корреспонденцией. Влад не торопился связывать данные два события в одно, но антипатия к этому перезрелому апельсину с его пошумливанием уже возникла.

К планете он добрался за шесть часов. Облетел ее несколько раз, ничего подозрительного не усмотрел, задал программу на посадку по работающему на базе радиомаяку, а сам пошел привести себя в порядок. Бог знает, кто его там встретит и как. Женщина ведь там есть...

В ванной комнате он отшатнулся от зеркала, а потом долго сидел и непрестанно курил, так и не приняв душ.

Он видел себя в зеркале раньше, сразу после анабиоза — густая темная щетина, уже ставшая мягкой на ощупь, покрывала щеки и бороду. Отросли усы. Он не стал бриться тогда — дурная примета готовиться заранее к посадке, когда еще лететь да лететь. Он хорошо помнил себя заросшего, помнил ощущение от прикосновения ладони к щетине, знал, был просто уверен в том, что не брился.

А сейчас двухнедельной бороды на лице как не бывало, гладкими были щеки, словно никогда вообще не росли на них волосы. Над верхней губой коротко топорщилась щеточка усов.

С погасшей сигаретой в руке застал Влада четкий голос информатора:

— Посадка произведена согласно расчетам. Температура за бортом плюс тридцать градусов, влажность... давление...

Он долго раздумывал, держа плазменный пистолет, в конце концов повесил тяжелую кобуру на плечо. Распахнул люк, подождал, пока вылезет трап. Огляделся.

Здание станции монтажников находилось метрах в пятиста. Никто не бежал, не шел к застывшей на опорах "Горгоне", хотя Влад знал — на станции должен быть дежурный... Он неторопливо спустился по вздрагивающему трапу, расчетливо прижимая правой рукой бьющую по бедру пластиковую кобуру.

Вокруг было пустынно и тихо. Голубоватосерый купол здания резко оттенялся на оранжево-желтом. Пустыня... Влад шел, легко ступая по мягкому, тихо шуршащему песку, две тени разбежались из-под ног в разные стороны. Тишина начинала давить, мягкий, непонятный шелест песка заставлял обернуться. Влад остановился. Песок, будто живой, заползал в глубокие ямки от его ног, привычной цепочки следов не было. Он присел, копнул рукой. Песок был горячим, жирноватым на ощупь. Быстро разгреб ямку поглубже, и она тут же стала затягиваться, съеживаться, словно рана на теле. Но небольшой след все-таки остался, и

Влад успокоился — песок не живой, он просто необыкновенно текуч, хотя и плотен. Вряд ли он в чем-то может быть виноват.

Тем не менее гнетущее чувство тревоги усиливалось с каждым шагом и переросло в уверенность в чем-то неотвратимом, страшном, когда входная дверь станции не поддавалась нажиму. Влад стучал недолго, скорее в какой-то слепой надежде услышать ответ. Достал пистолет, провел тонким лучом вверх-вниз. Дверь упала.

— Эй, есть кто-нибудь?! — вырвалось у Влада, и он вздрогнул от собственного голоса, прозвучавшего слишком гулко в пустом длинном коридоре.

Он прислушался. Чуть слышный гул бродил где-то в глубине станции, еле уловимой вибрацией отвечали на этот гул стены. Кондиционеры... Да, это они, поэтому и воздух совсем не затхлый.

Первым помещением была столовая. Чисто убранная и пустая. Никого не было и в дежурке. Он потрогал рукой журналы. Здесь, на малоизученных планетах, применяли старый способ ведения записей — спецпластой на несгораемом пластике. Как самый надежный. Смотреть журналы Влад не стал, лишь отметил про себя стоявший в углу контейнер с записями и личными посылками. Его так и не отправили.

Перешел в жилой отсек. В комнате отдыха окна были зашторены, стоял полумрак. Пять кресел (одно для гостя?) стояли в кажущемся беспорядке перед выключенным экраном стереовизора. Будто сидевшие здесь люди только что встали и ушли, досмотрев до конца передачу. Ушли спокойно, даже длинный окуроч в пепельнице откидного столика одного из кресел был тщательно раздвоен.

В первой спальне постель была аккуратно застлана, стояли цветы в вазе на прикроватной тумбовке. Цветы засохли, воды в вазе не было.

Во второй спальне ярко горела у изголовья лампа. Лежала поверх одеяла книга. "Это Ксен. Он любит убивать время на чтение", — вспомнил заученные наизусть характеристики монтажников Влад. А постель была разобрана, даже вмятина на подушке от головы осталась.

Одеяло небрежно брошено, будто человек, читавший книгу, поднялся и вышел ненадолго. И даже не выключил свет.

Третья спальня, дверь напротив, была копией второй, только лампа не горела, ее вообще не было, а на стуле висел небрежно брошенный голубой комбинезон. И такая же разобранная постель.

В четвертой пахло цветами. И еще чем-то таким, отчего сразу становилось ясно — эта комната принадлежит женщине. Постель ждала свою хозяйку, розово светясь от опущенных бордовых штор. На вешалке у дверей — веселенький халатик, тапочки у кровати, цветы, но

в другой, более нежной по форме вазе. Такие же сухие.

Влад осмотрел все подсобные помещения и вернулся в дежурку — смотреть больше было нечего и негде.

Журналы он начал читать с самого начала, в надежде найти хоть маленькую зацепку. Но в сухих строчках донесений ничего нужного не было. Последнюю запись Влад прочел несколько раз:

"1.07.2196. 22.00. Получен аварийный сигнал с шахты номер девять. Причина — отказ блока памяти одного из роботов-проходчиков. Устранение неисправности возложено на монтажника Громова. Дежурный по станции Ксен".

Значит, это случилось ночью с первого на второе. Это была их последняя запись. Что случилось — Влад не знал и еще даже не думал об этом. Он понял лишь, что случилось нечто такое, что подняло всех из постелей, и... все пропало. Нужно идти на шахту номер девять.

Он уже поднялся и направился к выходу, как вдруг перед глазами возникла надушенная спальня Громовой. И тесемочка какая-то, выглядывающая из-под одеяла и лежащая на подушке. Была она или почудилось? Нелепая мысль развернула обратно. Он почти вбежал в спальню и осторожно приблизился к кровати. Бледно-голубенькая тесемочка, свернутая петлей, действительно была, концы ее спрятались под одеялом. Обжег стыд — копается в женской постели, но Влад уже осторожно отбросил одеяло на заднюю спинку кровати. Тесемка оказалась обыкновенным плечиком длинной ночной рубашки. Она лежала как-то странно, но эта странность ускользала от объяснения. Еще не до конца осознавая свои действия, Влад был уже в двух других спальнях, где под откинутыми одеялами нашел мужские плавки. Это было непонятно, нелепо, просто дико. Он вернулся в спальню Громовой и, внутренне краснея, встряхнул ночную рубашку. Из нее выпали трусики. Влад чертыхнулся.

Он закурил, когда вышел со станции. Он ничего не мог понять и тем не менее вынужден был согласиться с самым невероятным: люди исчезли неизвестно куда, исчезли из своих постелей, оставив белье так, словно растворились. Теперь стала ясна и поразившая его форма ночной рубашки Громовой. Просто в ней спала женщина. А потом пропала, пропала во сне, не просыпаясь. Куда? Или это какая-то сверхоригинальная шутка?

Да какое ему дело? Ему нужна информация. Это в Центре — пусть там головы ломают... Теперь — на шахту номер девять. Отыскал ее на карте, вывел катер.

В рубке управления строительством было, как и везде на планете, тихо и пустынно. И непонятно почему — жутко. Зеленые огоньки готовности роботов светились злыми глазками неведомого чудовища. Словно там, за этими аккуратными, строгими панелями системы уп-

равления притаились и ждут, ждут его, Влада, толстые гибкие и склизкие щупальца, ждут, чтобы схватить, впитаться, высосать кровь.

Влад отмахнулся от видения, шагнул к пульту. Нашел нужную кнопку, включил обзор шахты. На строительной площадке глубоко под землей стояла такая же тишина. Она каким-то непостижимым образом ворвалась в рубку вместе с легким потрескиванием и шипением динамиков, и стало еще тише и еще тревожнее. Стояли роботы, выполнившие свои задачи и замершие в готовности. Сколько же они вот так стоят?

Журнал записей лежал на столике рядом. "1.07.22.27. Прибыл на шахту в связи с поступившим аварийным сигналом. Установленная причина — отказ блока памяти робота № 37001. Неуправляемый робот локализован. Вскрыт ЗИП-0041, взят ТЭЗ БП42-78. Громов".

Дальше было чисто. Отметки об устранении неисправности не было. Выходит, не устранил?

Робот № 37001... Отказ блока памяти... Влад некоторое время глядел на белые пластиковые листы журнала, и профессиональная память рисовала на этих квадратах все похожие случаи. Робот вышел из-под контроля... Что он может? На Луне один такой разобрал себя на части. На Юноне... Нет, ничего он не может! Каждый робот "знает" программу всех остальных, и блоки анализаторов тут же выдадут сигнал общей тревоги, если у какого-то робота "зашкалит". Он, этот свихнувшийся робот, будет тут же окружен своими братьями, и те не допустят никаких алогичных действий. А логика роботов — их программа... Кстати, где это он?

Влад вернулся к пульту, задал программу монитору, и тот, мигнув кадрами, остановился на одном из роботов-проходчиков. 37001-й стоял, как и все, замерев на месте там, где закончилась его программа. Дожидался ввода новых данных. Влад ткнул клавишу "Ввод", робот будто встрепенулся. Где-то на уровне груди похожего на средневекового рыцаря двухметрового гиганта вспыхнула бегущая строка: "К приему готов. К приему готов..." Влад включил отбой.

Опять захотелось курить. Зажигалка щелкнула неожиданно громко, и, словно разбуженный этим щелчком, в рубке вдруг властно, громко, надрывно, взрывая и дробя тишину, ввинчиваясь высокими нотами в перепонки ушей, заплакал ребенок.

Влад вскочил. Он был готов к любой неожиданности на этой планете-тихоне, только не к детскому плачу.

Глаза лихорадочно обежали тесную рубку, хотя где-то в подсознании Влад уже понял, что звуки доносятся из динамиков пульта. А на экране ничего не было. В том смысле ничего, что могло бы плакать вот таким захлебывающимся плачем младенца. Только безучастный робот.

Пальцы не слушались, зажигались совсем не

те буквы; и прошла почти вечность; когда команда; наконец, была набрана. Изображение дрогнуло, поплыло в сторону — монитор вел поиск источника звука.

Сморщенный синюшный младенец лежал на спине, подтянув ножки к животику. Глядя на красное, обезображенное плачем личико, Влад почти физически ощутил холод и шероховатость бетона под голым детским тельцем.

Коридор шахты был невероятно длинным, еле тащился лифт, хотя и подпирало к горлу.

Влад никогда не держал на руках детей. Тем более вот таких, будто только-только родившихся. Неуклюже прижав к груди захлебывающийся комочек, он большими прыжками бежал к катеру. Там, в тесной кабине, ребенок затих, видно истратив все силы на крик, лупал невидяще глазами, коротко мельтешил ручонками. Влад вел катер к "Горгоне" и пытался решить одну из самых непростых задач, встречавшихся в его практике — как и чем накормить ребенка. Как этот двухнедельный или и того меньше мальчик оказался в строящейся шахте, его пока не интересовало. Он поймал себя на мысли, что еще ни разу не задал себе этого вопроса. Потом, все потом. Сейчас главное — накормить.

Хорошо, что ребенок стих. Он молчал, когда Влад причалил к кораблю, молчал, когда его уложили в постель космолетчика. Закрыв глаза. Уснул.

А Влад суетливо метался по "Горгоне". Вот чертовщина, ну все, всё на этом корабле предусмотрено, а вот соски простой... В конце концов он сунул в термос две тонкие резиновые перчатки из комплекта химзащиты, налил воды, включил — пусть прокипят. Сам думал, чем бы сделать подходящую дырку в этой нежной на вид резине — не очень-то ее и проколешь.

Дырочку он проделал лучом пистолета. Получилось что надо. А может и нет: откуда Владу знать, какой должна быть дырка в соске? Он старательно обнюхал перчатку со всех сторон. Ничем, кажется, не пахло, да и не должно, комплект был новым.

Молоко у него было, его слабость — концентрат кофе с молоком, и раздумывал он недолго. Все равно — больше нечем. Развел много, чувствовал — ребенок голоден. Перчатка стала похожа на раздувшееся коровье вымя: Ребенок встретил его веселым агуканьем, пускал всюду пузыри и ничем своего голода не показывал.

Владовой соски он брать не стал.

"Сытый, значит. А плакал от холода", — заключение напрашивалось само собой и сбило Влада с толку окончательно.

Если ребенок — вот такусенький — не хочет есть, значит, его кормили... ну, пусть пять-шесть часов назад. Это была предельная точность, с какой Влад мог работать дальше. А это значит...

— Где же твоя мама, малыш?

Малыш не отвечал, но если бы он и заговорил — Влад бы не удивился.

— И есть ты не хочешь? Не вкусно, да? — Он с легким самодовольством оглядел творение своих рук — резиновое вымя. — А дядя тебе такую соску смастерил! И молочко с кофейком...

Жажда говорить вдруг прорвалась из Влада, и он понял, что ему страшно не хочется отходить от ребенка и думать, думать, думать. Что же произошло на этой чертовой Луконе, кто его так разыгрывает, кто этот малыш, где его мать и как она могла вот так бросить свое голенькое дитя на стылом бетоне строящейся шахты?

Ребенок опять уснул. Зевнул раз-другой и тоненько засопел маленьким курносым носиком.

Влад осторожно поправил на нем одеяло. вышел. Положил "вымя" в холодильную камеру; остановился в нерешительности, глядя на вскрытую банку. Привычка тянула сесть за стол и выпить чашку-другую обжигающе горячего напитка, но... не хотелось.

Просто не хотелось ни пить, ни есть.

И закурил Влад, садясь в катер, скорее по привычке.

На строящейся шахте он пробыл с полчаса. Этого времени было достаточно, чтобы осмотреть все уголки, обойти все тоннели и переходы. Никаких следов матери малыша он не нашел. Только в одном из переходов увидел на полу комбинезон. А дальше валялась брошенная и вся остальная одежда — будто бежал человек, срывая все с себя и бросал, не глядя.

Влад вернулся на базу, все осмотрел еще раз. Заглянул в оранжерею. Там было пусто. Даже цветов не было, только ровная площадка чернозема с дырками — следы чего-то, что здесь росло. Значит, исчезли не только люди. Растения вот тоже. А в комнате Громовой стоит букет. Правда сухой...

В дежурке Влад просмотрел на мониторе все восемь работающих шахт. Картина методичной, отлаженной работы механизмов на глубине только усиливала чувство безысходности.

Еще часа четыре Влад кружил на катере над планетой, до рези в глазах вглядываясь в однообразное море песка и камней. Когда в радиусе двадцати километров не осталось и квадратного метра, не увиденного им, он решил возвращаться. Завтра на "Горгоне" он облетит всю планету.

Поднимаясь по трапу, заволновался о ребенке. И еще удивился тому, что совсем не чувствует усталости. Хотя и должен бы. И есть не хотелось по-прежнему.

Малыш на удивление и к радости Влада крепко спал. По бортовому хронометру приближалось время ночи. Кофе с молоком Влад все-таки выпил — привычка взяла верх над чувством сытости. И растянулся на полу, рядом со

своей кроватью, где посвистывал во сне ребенок.

Невесть с чего приснилась средневековая инквизиция. Во сне ему сорвали ногти с рук и ног и лили на кровоточащее мясо горячую смолу.

Впечатление от сна было настолько сильным, что, проснувшись, Влад ощутил неприятный зуд и жжение в пальцах. Поднял к глазам руку и долго не опускал ее, потрясенный увиденным.

Ногтей на пальцах руки не было.

Тоненькая красноватая кожаца, которая даже дыхание его улавливала, оказалась на месте ногтей и на второй руке. Остро ощущаемая шероховатость материи означала одно — ногтей не было и на пальцах ног.

Влад лежал неподвижно несколько минут, тишина тонко звенела в пустой, без единой мысли, голове. Она же, эта звенящая тишина, и оторвала его от беспомощных попыток хоть в чем-то разобраться. В какой-то момент он понял, что не слышит дыхания ребенка.

Рывком вскочил и замер над кроватью.

Малыша не было.

Будто и не лежал он никогда на постели Влада, будто не пищал вчера на полу шахты, будто не ему готовил Влад поесть.

В холодильной камере лежало "коровье вымя". "Все нормально, — решил Влад. — Выходит, я еще не спятил".

Он вернулся в комнату для сна и, посмеиваясь над собой и злясь одновременно, старательно перевернул все, что можно было сдвинуть с места. Казалось невероятным, чтобы ребенок такого возраста сам куда-то заполз, но — вдруг?..

"Вдруг" не подтвердилось. Ребенок исчез так же таинственно, как и появился, исчез во сне, как и все с этой базы, прямо из-под одеяла.

Как все...

Неожиданная мысль забила где-то далеко в сознании, подсказывая самое невероятное и неожиданно самое простое объяснение случившегося, но ускользнула, скрылась за мутой непонимания. Влад не стал напрягать мозг. Пока.

Умылся, — ощущение неудобства на руках было очень сильным. Приготовил кофе. Пил небольшими глотками, не обращая внимания на запах и вкус, просматривал на экране дисплея графику прослеженного компьютером излучения трех солнц Луконы.

Та — появившаяся и пропавшая — мысль возникла снова, едва он начал просматривать график "белого шума" третьей звезды. Теперь, на фоне бугров и впадин графика, эта мысль смотрелась не столь нелепо и дико.

Этой ночью был пик активности излучения "белого шума". Конечно, амплитуда его была куда ниже, чем вот здесь, неделю назад, не сравнить ее и с выбросом первого числа, но все-таки это был пик. Или лучше сказать — не-

большая горушка, которая тем не менее сорвала ногти с пальцев у Влада и украла его найденыша. Влад был в этом уверен.

К станции монтажников он отправился на катере — нетерпение подгоняло. Заскочил в оранжерею, опустил на колени и принялся раскапывать землю в том месте, где что-то недавно росло. Осторожно перебирал в ладонях землю, крошил, растирал комочки. В третьей лунке он нашел маленькое семечко. Отряхнул руки и выбросил его, ставшее ненужным. Вышел и долго стоял, глядя вдоль коридора.

Стенки словно дымились.

Легкая белая пыль неслышно ложилась на пол. Серость неприкрытого бетона начала выступать сквозь молочный туман. Влад провел по этому серому, и пальцы неожиданно не ощутили ожидаемой твердости, оставили неглубокие следы. Серый песок мелко зашелестел по полу.

"Разрушается", — подумалось само собой, и, подстегнутый этой мыслью, Влад сорвался с места.

Катер стоял невдалеке, песок жирно блестел под двумя солнцами, и тишина, пронизанная ярким светом, вдруг оглушила, заставила подумать об увиденном как о какой-то галлюцинации. Желание вернуться назад и посмотреть, так ли это, было настолько сильным, настолько не вязалась эта идиллия бело-голубого света с рассыпающимся в пыль бетоном, что Влад растерянно замер на месте. Что же делать?

В два прыжка оказался около катера и не увидел своего карикатурного отражения на полировке борта. Борт поблек, светился неярко, будто был грязным. К "Горгоне"? Бессмысленно. Если здесь разрушается все и вся, значит, и красавица "Горгона" сейчас медленно распадается, — неумолимо рвутся связи молекул, превращаются в пыль сверхпрочная обшивка и нежный мозг компьютера.

Влад вернулся. Он понял — спасение только здесь, в помещении станции, ему не вырваться с этой планеты. Он уже почти знал, что сейчас произошло и происходит. Шел по белому коридору, невольно втягивая голову. Стены и потолок коридора были уже в глубоких раковинах, разрушение шло неравномерно, и весь коридор производил впечатление изъеденного проказой.

В дежурке тоненько попискивал дисплей, а рисуемая компьютером линия на его экране упрямо лезла вверх по невидимой крутой горе.

"Звезда ЛЗ-45Х129. Изменение интенсивности излучения — 10...13...17..." Изображение мигало, тревожно зажигались новые цифры, а упрямая надпись внизу словно злорадствовала над людьми, не поверившими компьютеру раньше: "Излучение кодировано. Код не расшифровывается!"

"И не надо", — промелькнуло в мозгу. Именно это Влад и ожидал увидеть и теперь был по-дурацки спокоен.

Ужас его положения, положения тех, кто

прилетит потом и не найдет вообще ничего на этой планете, заполнял его мозг понемногу, исподволь, а потом взорвался отчаянным желанием жить, донести до людей понятное им. И мозг съежился от бессилия.

Сколько еще? Три, пять, десять минут? Час? Сколько времени нужно этому солнцу с длинным цифровым именем, чтобы напроочь съесть все на поверхности планеты, раскидать по атомам сталь и бетон, пластик и стекло и оставить на месте станций и шахт кучку праха?..

Шахт... Мысль, тоненько сверкнувшая, вспыхнула злой решимостью, и Влад крутнулся к пульту управления шахтами.

Тот был закрыт. Прочная плита серого цвета укрывала его, и пятачки с цифрами кодового замка посмеивались своей скрытостью. Влад не знал кода, да ему и не полагалось его знать.

Ждать, пока разрушится плита? А что станет за это время с "Горгоной"? Он колебался секунду, потом решительно потянулся к кобуре.

Ядовито-зеленый огонек пламени бежал по краю плиты, жгло глаза от едкого дыма. Откинул, бегло оглядел ряды экранов. Все восемь светились одной и той же успокаивающей строкой: "Шахта №... работает в режиме".

Набрал команду на главном пульте, она вспыхнула, предупредительно повторенная компьютером со знаком вопроса. Влад дал подтверждение. Компьютер запросил повтор еще раз, словно не веря человеку, и Влад вдавливал податливые кнопки с остервенением и злобой на этого сверхумного перестраховщика.

Секунду ничего не менялось, и пот, неожиданно выступивший на лбу, щекотными дорожками скатывался вниз. Пискнул тонко первый дисплей, за ним второй, третий, зажигая новую надпись: "Шахта аварийно отключена".

Облегчения не пришло, продолжался противный писк с экрана отслеживания излучения. Влад смотрел сквозь пелену соленого пота на зеленую тянущуюся кверху линию, как на поднимающуюся для броска ядовитую змею. А он был беззащитен.

Прошла минута. Он всматривался до боли в глазах в экран, словно это была не кривая интенсивности, а кривая его собственной смерти, которая тянулась и тянулась неумолимо к неведомой, но близко угадываемой роковой черте. Прошла целая вечность, и вся она была заполнена надоедливым уже из-за своей ненужности попискиванием дисплея и этой вот кривой, которая вместила в себе и вчера, и сегодня, и завтра и которая никак не хотела останавливаться под взглядом отчаявшегося человека.

И все же она остановилась. Не медленно, не понемногу, а разом, вдруг. Оборвала свой подъем, замерла, словно в раздумье, и прыгнула вниз. Ударилась об ординату, вновь замерла и исчезла. Растворилась.

Влад тяжело опустился на стул.

Он шел по дыряво светившемуся голубым небом коридору станции, потом — по рыхлому ползучему песку, по угрожающе вздрагивающему трапу.

Хотелось одного — очутиться в знакомом до каждой складки обшивки кресле перед пультом управления "Горгоны" и услышать монотонный, но такой родной голос информатора: "Корабль к взлету готов!"

Через полчаса он стартовал.

Пил кофе — горячий, делающий шершавым язык, и ему было грустно. О погибших (а можно ли было так сказать о них?) не думалось, грусть накатывала откуда-то издалека, большая и глубокая, которая обычно вынашивается в сердце не один день и не один месяц, ее не выветривают любые люди и события, она не ходит безвозвратно, потому как она — грусть по очень близкому, по очень желанному, но — невозможному...

Отросли ногти, зудела кожа под непривычной щетиной. Пока "Горгона" наматывала положенные витки вокруг Луны, Влад брился. Смотрел в зеркало, а видел там разноликий, но одинаково чуточку пренебрежительный к людям не их круга Совет по Космосу. Он будет один, а все они — против него. Что ж, посмотрим...

Совет настроженно молчал, готовый ошестиниться в любой момент колючими иголками слов и словечек. Но с каждой новой фразой Влада, с каждым новым просмотренным метром видеопленки эта настроженность сменялась растерянностью, почти детской беспомощностью, отчасти и виноватостью. Влад говорил не зло, но напористо и резко, так, чтобы все понимали — он от своих слов и выводов не отступится.

— Игнорирование мнения доктора Барта привело к потере не только огромных средств, но и четырех человеческих жизней. Люди погибли из-за заурядной жадности быстрее обогатиться. Вашей жадности!

Он сел. Короткое движение прошелестело за столом, вырвался чей-то вздох облегчения.

— Но это невероятно! — раздался растерянный, жалкий голос. — Мозг — целая планета!

— Но это так! — ответил Влад твердо. — Когда система обнаружила, что в ее мозгу кто-то копается, что ей нанесены потери, она попробовала восстановить их, запустив вспять время. Излучение всех трех солнц кодировано, в нем — управление всем. Посмотрите данные о работе шахт за два последних месяца: проходчики-роботы стояли на месте и черпали криспам, а того не убывало. Система лечила себя, а это значит, что криспам — живое вещество, ведь излучение, появившееся первого числа, заставляло течь биологические процессы в живых, именно в живых организмах в обратном направлении. Потом исчезли цветы из оранжереи, а в вазе — срезанные — остались: потому исчезли трое монтажников, четвертый же к мо-

ему прилету превратился в младенца, а потом и вовсе исчез: потому у меня исчезли волосы на лице, пропали ногти, и я не испытывал чувства голода и усталости. Время для всего живого по команде этого излучения потекло в обратную сторону. Когда же это не принесло результата, Система пошла на прямое уничтожение всего чуждого на планете. Другое солнце, другое излучение, и начинается то, чего мы пока что добиваемся только с помощью ядерных бомб. Происходит разрушение межатомных и межмолекулярных связей. Во всех веществах, ранее на планете не существовавших. Я не могу объяснить — как это происходит, почему на мне осталась одежда и сам я не распался на атомы, почему излучение было избирательно. Я думаю — Система отличает живое от мертвого и вовсе не хотела убивать. И именно поэтому прекратилось излучение звезды, когда были остановлены шахты.

— Вы хотите сказать...

— Я хочу сказать, что Система поняла нас.

— И возможен контакт?!

— Нет, не думаю. Мы же не пытаемся найти контакта с муравьями, хотя считаем, что прекрасно их понимаем. Представьте себя на ме-

сте муравья и попытайтесь вступить в контакт с человечеством. Это не просто разный уровень мышления, это разные понятия о самом разуме... И самое последнее — почему все-таки на Лукону отправили именно меня? Я могу это знать?

— Да, можете, молодой человек! — Барт вскинул кверху свою бородку, торжествуя оглядел присутствующих. — Но ведь я не ошибся?

— Об этом судить вам всем, — ответил Влад. — И все же?

— А вы помните вопросы в анкете? — Барт хитро сощурился.

— Не все.

— Ну, а самые... гм-м... скажем так, дурацкие? Про микроба, например?

— Что думает микроб, сидя на лысине профессора? Этот?

— Этот, этот! И что вы ответили? Вы помните?

Влад улыбнулся смеющимся радостно взглядом Барта. Хитрющий старик!

— Помню, конечно! Откуда микробу знать, что это — лысина, да еще и профессорская? Ему некогда думать, он — работает!

Владимир ПОКРОВСКИЙ

Отец

Что-то должно сегодня случиться, — озабоченно думал Д., — совсем не зря такая тоска. Утреннее солнце пронизывало кухню каким-то особенно невыносимым, антисептическим светом. Мальчишка сидел напротив Д. лицом к окну и вяло щурился. Он сегодня не раздражал, а наоборот, был очень тих и как бы обескуражен. Д. приготовил на завтрак его любимые гренки на молоке, пусть радуется, но тот радовался сдержанно.

Худой, белесый, замызганный донельзя, он чинно сидел на высоком табурете и, стесняясь, одну за другой отправлял гренки в обсыпанный блестящими коричневыми крошками рот.

— Вкусно?

— Да, пап. Спасибо, пап.

Да, сэр. Конечно, сэр. Все будет исполнено, сэр. А не пошли бы вы, сэр, к чертовой матери, сэр. О, конечно, прошу прощения, сэр.

— Терпеть не могу твоего "пап" после каждого слова. Пожалуйста, — сказал Д.

— Хорошо, пап. Хорошо. Я нечаянно, — ответил мальчишка, разглядывая клеенку.

— Еще хочешь?

— Нет, спасибо, а то в самолете стошнит.

— Смотри.

Нет правда, хороший мальчишка, подумал Д. Материн рот, материны глаза, а говорят — моя копия.

— Меня в самолете всего разок и стошнило.

Это когда я маленький был. Но мало ли что? — рассудительным тоном продолжал сын. — А так у меня, знаешь, какой вестибулярный аппарат?

— Ты должен понимать, — сказал вдруг Д., глядя на него в упор большими недобрыми глазами, — ты всегда должен понимать, что у тебя есть я. Просто у меня работа такая, что я тебя любить не должен. Что мне расслабляться нельзя. Ты помни, что я тебя не прогоняю, а для твоего же блага.

— И для блага всех, — тихо сказал мальчишка.

— Точно.

Непонятно было, ирония это или нет, но Д. решил, что лучше принять всерьез.

— Пап! — сказал вдруг мальчишка и в первый раз поднял глаза. — Пап, а когда импатов не станет, ты меня будешь любить?

— Конечно!

— А как?

— Ну как? Целовать буду. Обнимать. Ласковые слова говорить. Любить — просто.

— Как мама?

— Как мама.

Мама у них не было. Мама у них погибла от импатов. Уже и лица он ее помнил. Только осанку и волосы. Сволочи. Паразиты. Какие волосы были!

— Пап! — осмелел мальчишка. — А почему ты спереди лысый, а сзади нормальный?

— Потому что спереди усы у меня. А сзади усов нет. Для равновесия. Ты допивай. Скоро ехать.

— Я уже пять раз летал на самолете. А из ребят больше чем два раза никто не летал.

— Да. Тебе повезло. Все конфеты не ешь. В дорогу возьми. Кислые.

— А скоро ты импатов перебеешь? Пап?

— Не знаю. Не могу обещать.

Как здорово, подумал мальчишка, что он со мной так говорит сегодня, он никогда так со мной не говорил.

— Скоро, наверное, — сказал он вслух.

Проклятое солнце, говорил себе Д. Дерево перед окном, что ли, посадить? Я тоже думал, что скоро вырасту и в один прекрасный момент все это кончится. Думал, вдруг наступит первое января и вдруг объявят: всему плохому конец, пожалуйста, поцелуйтесь все! И все тут же поцелуются, и всем станет просто ужас как хорошо.

— Я тоже, когда вырасту, импатов бить стану.

— Нет уж, — сказал Д. — И не думай даже. Хватит с них и меня.

Есть люди, которые не любят скафов, а другие — так просто боятся, думал мальчишка. И в интернате, и здесь. Я никогда его не спрошу об этом. Я вообще-то понимаю, в чем дело, только все равно спросить хочется. Но я не спрошу.

— Нас многие не любят и правильно делают, — сказал отец, и мальчишка вздрогнул. — Ничего в нашей работе хорошего нет. Многих она калечит.

— В месяц два гроба, — тоном знатока пробормотал сын. — Ты говорил вечером.

— Я не про то. Человек, который убивает других, пусть даже для того, чтобы другие жили... хуже этого не придумаешь. Но так надо. Кто-то когда-то напортачил, полез туда, в чем не смыслит, и появились импаты. А нам платить.

— Его тоже убили, да?

— Он застрелился.

— Пап, это так говорят просто, а на самом деле убили. Мне говорили, точно.

— Он застрелился. Он хотел, чтобы лучше всем было, вот в чем штука, чтобы все сверхлюдьми стали. Он знал, что заразно, но не знал, что смертельно, вот и ошибся. А мы их бьем, и сами калечимся, и никто нам помочь не может, потому что сделать тут ничего нельзя.

— Пап, а это больно, когда импатов?

— Не знаю. Как заразится он, ему даже наоборот хорошо. А потом, думаю, совсем плохо. Злобится. А когда судорога, то, наверное, ужаснее ничего не придумаешь.

— А жалко их убивать?

— Жалко. Только потом. А когда убиваешь, не жалко.

— А почему их не лечат?

— Их вылечить нельзя. Их даже в клетку запереть нельзя. Так умирают страшно!

Загудел телефон. Отец снял трубку, и сразу глаза его стали острыми, а спина напряглась.

— Да!.. Где?.. Хорошо... Я около дома ждать буду.

Что-то случилось, и он сейчас уедет, подумал мальчишка, и уже не рассказать ему все то, что я нашептал под нос за последнюю ночь лежа на продавленной раскладушке... что канникулы действительно кончились, что сейчас папа вызовет тетю К., будет по дороге на всех кричать, и жалеть его будет, а шлем у нее набок собьется, и вуалетка тоже собьется, а я, в конце концов, уже большой мальчик, и нечего за мной присматривать, хорошо бы у окна место, а конфет должно хватить.

Я часто думал, с чего все началось, и пожалуй, лучше совсем не думать об этом. Пожалуй, лучше считать, что все началось тогда, когда я стал скафом. Лучше забыть, что та борьба, которой я отдаю сейчас все свои силы и от которой устал до смерти, началась, может быть, еще в детстве, еще до того, как я стал заглядываться на девочек, а уж когда я стал на них заглядываться, борьба эта приобрела ужасающий размах. Лучше бы вообще не бороться. Работать, и все.

Но я не могу.

Я хороший человек, мне говорили, и есть люди, честно! — которым кажется, будто я чуть ли не новый мир им открыл. Души не чают во мне. Вот что меня удивляет. Потому что на самом деле — я мерзейшая личность. Могу повторить — меня это ужас как удивляет. Мне говорят, что я мужественный, отчаянно храбрый, что реакция у меня мгновенная, но ведь я-то знаю, что постоянно трушу, что, когда приходится что-то решать, я теряюсь, впадаю в панику и выбираю самое глупое, самое невыгодное решение. Из-за этого и жена меня бросила. Так что можно сказать, из-за этого она и погибла. Если бы не ушла, все было бы по-другому. Ушла и оставила меня одного, смертью своей погнала к скафам, чуть ли не своими руками подставила меня. Дура. Чертова дура. Ирония судьбы, да?

Когда я работаю, борьбе нет места во мне. Кто-то побеждает, и я не хочу знать, кто. Борьба мешала бы мне работать. Наверное, поэтому она безнравственна. Все, чем я занимаюсь, безнравственно. А если я хочу при этом человеком остаться, то что здесь плохого, скажите? А между тем мое дело — святое, тут уж никаких сомнений.

Самое интересное, я не знаю толком, против чего мне бороться. Еще хуже я понимаю, ради чего. Я чувствую, мне не доверяют. Я даже не про М. говорю. Хотя он пугает меня. Я не знаю, что он от меня хочет. Уже сейчас я многое считаю безнравственным из того, что, если подумать, вполне естественно и нормаль-

но. Но я не могу не бороться. Мерзкий чертик волочит меня по жизни, лезет всюду, а я должен избавиться от него, я молочу кулаками по его гнусному рылу, я прячу его, зарываю, я поступаю наоборот, и только иногда, когда это никому не грозит, особенно мне, даю себе волю. И все думают тогда, что я дурачусь.

Я вижу, во что превращаются люди, стоит им хотя бы год продержаться в скафах, я вижу, как растет в них злоба. И во мне она тоже растет, только вот не знаю, как у них на счет мерзкого чертика. Они об этом не говорят. А я не спрашиваю.

Мне мальчишку моего любить нельзя. Самое странное, что он отлично понимает причины, а я — смутно. Я сомневаюсь. Все, казалось бы, ясно: ни о ком не думать, никаких близких не иметь, ведь всякое может случиться и помешать в работе. И это мне на руку. Я ведь и в самом деле равнодушен к нему. Он меня раздражает. Он мне мешает. И если бы наверху узнали о том, что мальчишка проводит каникулы у меня, мне бы еще меньше стали доверять. Так что он мешает мне дважды — и в борьбе и в работе.

Машина спецслужбы, совершенно заурядная с виду легковушка, медленно катилась по улице. Четыре человека, сидящие в ней, напряженно вглядывались в прохожих. На коленях у каждого лежало по большому армейскому автомату. Шлем и вуалетки, не нужные здесь, в хорошо экранированной машине, висели на дверцах и тихонько позвякивали. Вот все, что нарушало тишину.

Наконец, Д. не выдержал и, злобно прищурясь, ругнулся.

— Стрелять мало за такие вещи. Работы теперь минимум на две недели. Это еще если без эпидемии обойдется.

— Да-а, — неопределенно протянул С., молодой парень с рябым невыразительным лицом и тусклыми глазами. — Зевнули, как последние пиджаки.

Толстый мятый старик в замысловатом сверхнадежном шлемвуале заглянул в машину и, вытаращив глаза, остановился. Затем он поднял кулаки и беззвучно закричал что-то вслед с яростным выражением лица. Д. взял вещалку и послал его к черту. Прохожие стали оглядываться.

— Легче, легче, — сказал водитель.

— Четыре недели! — проворчал Д. — Четыре недели торчал в квартире. Он же слабак, он же трус! Его же, как барана, в старое Метро гнать! Как вышло-то?

— Я точно не знаю, — вежливо ответил сзиди суперчерезинтеллигент Х. — Но мне говорили, что он двоился.

— Двоился, — хмыкнул Д. — Подумаешь! Они почти все дwoятся.

— Мне говорили, что у него исключительная способность к двоеению. Там был такой... м-м-м-м, впрочем, имени я не помню... Откуда-то

из мраморного района. Все считали его очень надежным. Но когда импат перед ним раздвоился и стал его умирающим братом...

— Вся надежность сразу испарилась, и он зевнул импата, как последний пиджак, — докончил С.

— Причем, самое любопытное, что брата у него не было.

— Как это "не было"? — нехотя спросил Д., понимая, что Х. ждет именно этого вопроса.

— Он умер пятнадцать лет назад еще в нежном возрасте.

— Сворачиваю, — со значением произнес водитель. Он, как всегда, был невозмутим. Его огромное тело прочно и неподвижно покоилось на сиденье, только руки слегка покачивали руль, да взгляд с четкостью маятника перебегал с тротуара на тротуар. Обычно он первым обнаруживал импата, если тот каким-то чудом оказывался на улице. Но такое случалось редко.

— Там в двух кварталах отсюда столовая, — сказал С. ни к кому не обращаясь, но с легким заискиванием в голосе.

— Ладно, — после паузы сказал Д.

— Ну, в самом деле, не полезет же он на улицу!

— М-да. Маловероятно, конечно.

— Только предупредить надо, — Д. потянулся к тумблеру связи, но динамик вдруг ожил сам:

— Внимание всем! Внимание всем! Внимание всем! Группам оцепления немедленно окружить район Северного аэропорта! Первой, второй, одиннадцатой и пятнадцатой группам захвата приступить к прочесыванию Северного аэропорта. Объект заражения — индекс Семнадцать бис. Индекс Семнадцать бис. Руководителем назначается старший второй группы захвата. Всем доложить об исполнении, второй группе захвата связаться со штабом команды. Повторяю...

— Пообедали, — сказал водитель. — Вот жизнь!

На секунду вся его невозмутимость пропала, появился громадный ребенок, готовый вот-вот заплакать от огорчения.

Когда Д. щелкнул тумблером связи, машина уже на полной скорости мчалась в сторону аэропорта.

— Два ээ вызывает штаб команды, — сказал он. И тут до него дошло, что мальчишка именно сейчас должен сидеть в порту, и пришлось закусить губу, чтобы не вскрикнуть. Он успел вспомнить, что — по правилам — надо отказаться от операции, успел понять, что невозможно, успел почувствовать, что он и сам не хочет отказаться, уж там неважно, по каким соображениям, и успел сказать мальчишке:

— Ради тебя я не должен любить тебя в эту минуту.

— И ради других, — откровенно издеваясь, добавил мальчишка.

— Только ради тебя. Плевать на других.

Не надо думать о том, что еще не случилось, надо забыть обо всем и помнить только работу, наше святое общее дело.

Все не так плохо, ребята. К тому времени, если, конечно, рейс не задержан, мальчишка мог улететь.

Х. — подлец. Если назначение меня старшим не случайно, если М. знает, что мой сын сейчас там, куда я еду, то только от него.

Они ничего обо мне не знают, не подозревают даже, только поэтому меня из скафов не гонят. А может, на самом деле все не так. Может, я уникам, а? Может, таких, как я, и нет вовсе, потому что не нужны никому такие? Пробрался и стою.

С этими самолетами никогда ничего не знаешь заранее. Теперь, когда машина неслась по Северному шоссе, водитель стал еще неподвижнее. Расширенные глаза его жадно поглощали дорогу и уже больше ни на что себя не расходовали. Д. подумал, что на такой скорости не худо проявиться эффекту Доплера. Он и обрадовался, и огорчился своей способности шутить в такой момент и поэтому еще раз повторил свое обвинение.

— Я, кроме вас, никому не говорил, что у меня есть сын и что он улетает сегодня.

Никто не ответил.

Откуда-то из недр машины доносилось высокое зуденье, и это зуденье пронимало до самых костей. Молчать было невыносимо, и поэтому С. сказал:

— Слабак. Ничего себе слабак. Мало того, что из города вырвался, так еще и в аэропорт попасть умудрился. Я такого и не помню даже.

— Лично я, — вежливо отозвался Х., — думал даже прежде, что это вообще невозможно.

— Если он, скотина, заразит моего мальчишку! — сказал Д.

— Мне это не нравится, — заявил С., — копают под тебя, командир. Я даже догадываюсь, кто.

— Тут и догадываться нечего, — сказал Д.

— А ты не будь пиджаком. Чтоб в голове никаких родственников, понял? Не мог же тот парень брата-то не иметь! От него не зависело. А забудь он брата, все бы и хорошо.

И вдруг Д. прорвало. Он резко, на сто семьдесят градусов, повернулся к С., впился в него бешеными глазами, закричал:

— А ты меня не учи, как зверем-то быть, я и сам знаю! Ты лучше скажи, как человеком остаться на этой проклятой работе! И как с ума не сойти! А морали можешь новичкам читать.

— У него рецепт один, — тонко усмехнулся суперчерезинтеллигент. — Главное — не быть пиджаком.

— Ты бы тоже, между прочим, помолчал. Хотя бы сегодня, — тут же перекинулся на него Д. — Думаешь, не догадываюсь, кто меня продал?

— Вы имеете в виду...

— Да, да! Кто про сына сказал. Ведь кроме

тебя никому. Ну, признайся. Облегчи свою душу, а?

Х. густо покраснел и заморгал сощуренными глазами. Он был на редкость фотогеничен: и все, что он ни делал, было на редкость фотогенично. Сейчас он фотогенично сглотнул и выдавил из себя:

— Я. Простить себе не могу.

Д. моментально успокоился.

— Зачем?

— Сам не знаю. Слишком интересная новость, чтобы держать ее при себе. Элементарно проболтался. Можете меня выгнать.

— А я так и сделаю, — зло кинул Д. и отвернулся.

— Подъезжаем, — сказал водитель.

Они надели шлемы, скрыли под вуалетками лица и стали похожи на воинов какого-то тайного ордена.

Не зря, не зря я тоскую весь сегодняшний день, думал Д., пробираясь в диспетчерскую. Что-то сегодня случится. Нельзя в таком настроении захват проводить.

Датчики импато-излучения упорно молчали.

Нижний этаж здания аэропорта был заполнен пассажирами в противоимпатной экипировке. Толпы воинов тайного ордена. Пассажиры с заметной нервозностью расступались перед скафами, а те, с автоматами наизготовку, шли, набычившись, ни на кого не обращая внимания. Никто не обругал их, не огрызнулся на них, и это было хорошо, потому что в таком состоянии скафы опасны почти как импаты.

Все идет к одному, вернее, все уже пришло к этому одному — к тому, что мальчишка погибнет раньше меня. Я это заранее чувствовал. Будто все подстроено. Нет уже никаких сомнений, и если вдруг все кончится для него хорошо, мне будет даже обидно немного, честное слово. Я уже поверил в самое худшее. Я буду гоняться за ним с автоматом в руках, я, именно я, а он в дьявола превратится и будет рычать от невыносимой ярости, будет уничтожать всех, до кого дотянется. Я пушу ему пулю в лоб, я ему отомщу за своего мальчишку, мальчишке своему отомщу. Хоть бы все кончилось поскорее.

Я покажу им, что такое настоящий скаф, они хотели этого, так пусть смотрят. что мне с его каникул? Только морока одна. Я скажу себе: стоп, хватит, я смогу, ничего тут сложного нет. Он мне и не снится почти никогда. Теперь весь вопрос в том, чтобы он мучился меньше.

О, Господи, только бы, только бы он не заразился! Ведь бывали же случаи! Ну, сделай что-нибудь, Господи!

Импата нигде не было. Однако в мужском туалете первого этажа, в первой от окна кабинке был найден труп одного из пассажиров. С трупа была снята вся одежда, а рядом валя-

лась изорванная форма скафа с лычками группы оцепления.

Худой охранник с шафранной кожей стоял позади Д. и тоскливо оправдывался. Его никто не слушал.

— Я говорю... это, говорю, куда... а он: "Противоимпатная служба". Противоимпатная, говорит, служба. И ушел. Я и подумать не мог. А потом смотрю — датчик аж зашкалило. Я тревогу. Я и знать не знал и думать не думал, что такое получится.

— Ну, хоть теперь-то не прощляпьте, — говорил тем временем Д. в микрофон. — Чтобы каждый сантиметр, но чтобы его сюда. Не может быть ему такого везения. Нам и так теперь вон сколько работы.

Стучит телетайп, на экранах медленно передвигаются ярко-зеленые крестики, телевизоры на стене показывают толпу в аэропорту с разных точек обзора, какие-то люди бесшумно и деловито проносятся мимо, другие горбятся над телефонами, принимают к экранам — и все оборачиваются на него, обжигают напряженными взглядами. Презрение и неутоленная злоба чудятся Д. в этих быстрых взглядах-ударах.

Подбежал краснолицый человек в аккуратном синем костюме.

— От начальника аэропорта. Дайте фотографию импата. У нас почему-то нет. Найти не могут. Спасибо, — и убегает.

Умолкнувший было охранник забубнил с новой энергией.

— Эй, — говорит ему Д. — Бэги за этим синим, да передай, чтобы тут же, без промедления, гнали на телевизор. И чтобы покрупней показали. Понял?

— Ага? — охранник срывается с места.

Ничего нового охранник не скажет, но хоть уйдет отсюда. Надоел. Как трудно сосредоточиться, как трудно смятение скрыть. Не могло, не могло так случиться, а случилось. Все как нарочно: два самолета вылетели в промежутке между тревогой и отменой полетов, на одном из них — сын. Где-то здесь наверняка бродит соседка, и злится ужасно, и может быть, завтра ждут ее пуля или Старое Метро, где врачи, за всю свою жизнь не спасшие ни одного человека, будут притворяться, что лечат ее. Все может быть... А мальчишка летит, и если только...

— Да! Да! Ну, что? — говорит он ожившему коммутатору.

— Нигде нет, — хрипит С. — Как бы не улетел.

В диспетчерскую входят какие-то люди, среди них М. Надо же, собственной персоной пожаловал. М. напоминает паука. Очень пихонистого паука. На коротеньких тонких ножках — круглый животик. Подвижный, обтянутый, молявый животик. Глаза у М. свойские, напористые, брови чуть нахмурены, злы. И всегда он ждет нападения.

— Привет, — говорит М. — Ну, как?

— Ищем.

М. ждет более подробного ответа, начальство все же, но в этот момент коммутатор оживает снова.

— Тут женщина одна, — говорит кто-то. — Триста пятый провожала. Семнадцатый, вроде, туда садился. Нервный такой, говорит, мужчина.

— Какой, говоришь, рейс? — после паузы спрашивает Д.

— Триста пятый. Мне очень жаль, командир. Триста пятый. Точно.

— Так.

Он замирает. Он уже почти ничего не может. Рок. Фатум. М. пытливо глядит ему в глаза, их даже спрятать нельзя, не может скаф чувствам своим поддаваться. На нем — жизни многих людей. М. нечего не говорит, вся власть у Д., никто, даже несуществующий господь бог, не может вмешаться в его приказы. М. ждет. Взгляд одновременно и грозен и слаб. Слаб, потому что фальшив. Импат в одном самолете с мальчиком. И никакие силы не могут его спасти. В самолетах не принято носить вуалетки и шлемы. Не было еще прецедента.

В штаб команды, где все честно, как бульдозеры, исполняли свой долг, вдруг пробрался этот паук, его ни на чем не поймал, и если подумать, то может быть, он действительно ни при чем, а просто так складываются обстоятельства. Замечено, однако, что всякий, кто пойдет против М., горько затем раскаивается. Анекдот! Он сидит себе у окна, смотрит на облака, сосет конфетки свои кислые и ни о чем не подозревает. А где-нибудь, в двух рядах от него...

— Что вы собираетесь предпринять? — деловитой скороговоркой осведомляется М., и Д. кажется, что именно М. какими-то своими немислимыми интригами загнал импата в один с мальчиком самолет, Д. делает каменное лицо.

— Надо предупредить, чтобы их ждали на всех аэродромах маршрута.

Кто-то с готовностью бросается к телефону. Вон как, думает Д.

Дальше все тянется очень медленно, и Д. каждую секунду думает: скорей бы все кончилось. Он говорит, надо бы связаться с триста пятым, но, оказывается, это не так просто, приходится ждать. Тогда он вызывает медслужбу, чтобы узнать, сколько обнаружено зараженных. Зараженных мало, всего четверо. Но надо еще проверять и проверять.

Дверь открывается, и входит скаф с дамой средних лет, в прошлом шикарной. Скаф откидывает вуалетку и говорит:

— Вот она. Та, что семнадцатого видела.

Дама вертит в руках микроскопическую сумочку. Она утвердительно кивает головой. На ней изящный шлемвуаль. Вуалетка плотная, коричневого цвета, сквозь нее ничего не видно, только белки глаз.

— Вы можете снять свой шлем, — говорит ей Д. Он терпеть не может разговаривать с

женщинами в шлемвуалях. Дама мнется и отвечает — боюсь.

— Здесь вы можете не бояться. Здесь находятся только те, кто прошел проверку.

Он смотрит на скафа и спрашивает взглядом, прошла ли проверку сама дама. Тот кивает:

— Первым делом.

— Триста пятый, — негромко говорит один из диспетчеров. Все поворачиваются к нему. — Триста пятый, подтвердите связь.

— Но вы уверены, что я не заболелю? — спрашивает дама.

— Конечно, — расшаркивается М., сама любезность. — Гарантия сто процентов.

— Триста пятый, слышу вас хорошо. Пять, девять, девять.

— Нельзя ли сделать, чтобы и мы слышали? — спрашивает Д.

Диспетчер оборачивается и кивает. В следующую секунду зал наполняется смутным ревом и шипением. Потом чей-то голос отчетливо говорит:

— Идем по курсу. Только что прошли С. А в чем дело?

— Все в порядке, — отвечает диспетчер, но голос выдает его.

— А кто на связи? Я что-то не узнаю.

— Я, Л.

— Привет, Л. Не узнал тебя. Слушай, что там за паника началась, когда мы взлетали?

Диспетчер оборачивается и смотрит на Д. Тот закрывает глаза и отрицательно мотает головой.

— Все в порядке, — говорит диспетчер. — Просто недоразумение.

— Ну ладно. Значит, все хорошо?

— Хорошо. Все хорошо. Следующая связь в тринадцать сорок.

— Прекрасно. Отбой.

— Отбой, — повторяет диспетчер и отодвигает микрофон. На лбу у него выступил пот.

Д. морщится.

— Все-таки поспешили. Как бы он не подозревал чего-нибудь. Только бы обошлось.

— Это вы с тем самолетом говорили? — спрашивает дама.

"Господи! — говорит себе Д. — Хватит уже с меня. Спаси парнишку, сволочь ты такая, господи ты мой любимый. Я все отдам. Душу свою бессмертную отдам. Господи, прошу!"

Он всем корпусом поворачивается к даме.

— Послушайте, вы уверены, что видели именно его?

Он показывает ей фотографию.

— Он, — говорит дама, приподняв вуалетку. — Он еще так нервничал. Все назад оборачивался. А что теперь будет с Котей?

— Уведите ее, — говорит Д. — Мешает.

— Нет, вы мне скажите! — кричит дама, но скаф бесцеремонно ее уводит, и Д. кричит вслед: "Я не знаю, что с ними будет!"

— Полный самолет импатов, — говорит М. — Давно такого не случилось.

Я уверен, думает Д., что он не надел вуалетку. Кто станет надевать ее в самолете?

Диспетчер, тот, что проводил связь с триста пятым, вдруг напрягается и бросает всем предостерегающий взгляд.

— Слушаю вас, триста пятый!

Он трогает на панели перед собой какую-то кнопку и снова по залу разносятся шипение и рев.

— Ну! — кричит Д. и встает со стула.

— Триста пятый, слушаю вас!

— Что там еще? — говорит М.

— Дали вызов и молчат, — виновато отвечает диспетчер. — Смотрите? — Он указывает на экран. — Они меняют курс!

— Что же теперь, всю страну на ноги поднимать из-за одного импата? — стонет Д.

— Не из-за одного, — перправляет М. — В том-то и дело, что не из-за одного. Они там все...

— Ну, так уж и все, — Д. трогает диспетчера за плечо. — Вызывай еще раз.

— Триста пятый! Триста пятый! Подтвердите связь.

Шипение. Рев. Все сгрудились вокруг них, смотрят на экран с ползущим крестиком. Д. хватается микрофон.

— Триста пятый, послушайте, это очень важно. Любой ценой заставьте пассажиров надеть шлемы.

Голос. Искаженный, резкий, трещащий, неразборчивые слова. Чистая, незамутненная смыслом ярость.

— Это он, — говорит кто-то.

Потом — крик. Еще. Слабые стоны. Потом опять голос, уже другой, прежний, голос пилота, словно пилот спотыкается, словно ему воздуха не хватает.

— Он ворвался сюда... заставил свернуть... Я ничего не мог сделать... С ума сойти, какая силища! А теперь почему-то он упал... И корчится... корчится... Это так надо, да? Я его застрелю сейчас!!!

— Да, стреляйте! Стреляйте немедленно! И садитесь как можно скорей! — надрывается Д.

— Это судорога, вы не понимаете, что ли? — злобно спрашивает М. — Куда это вы их сажать будете? Первый день скафом?

— Хоть кого-нибудь, да спасем, — упрямо говорит Д. — может, в хвосте кто-нибудь не зарылся.

— Давайте обсудим... Я все понимаю. Я знаю — вам сложно. — М. ярится, но пытается говорить мягче. Все смотрят на них, слушают их перепалку и словно кричат Д.: "Ну, выбери!" Д. прячет глаза.

— Я его убил, — жалобно говорит летчик. — Ох, и страшный же тип!

Ну? Ну? Ну?

— Если вам трудно, — говорит М., — давай-те, я. По-человечески понятно ведь.

— Вы слышите? — не унимается летчик. — Я его пристрелил.

— Слышим, — отзывается Д. — Как в салоне?

— Только не вздумайте их сажать! — шипит М. Д. поворачивается и молча смотрит ему в глаза.

— В салоне? Паника в салоне. Но это пустяки. Сейчас всех рассадим. Слушайте!

— Да? — и в сторону, диспетчеру, склонившемуся над ним. — Ближайший аэродром. Где?

— У меня шлем металлизированный, — говорит летчик. — Я не мог заразиться. Сейчас самое главное — посадку бы поскорее.

М. неподвижен, злобен, внимателен.

— Держите курс на Т.Р., — отвечает Д. по подсказке диспетчера. — Все будет нормально. Вы маяк Т.Р. знаете?

— Знаю, знаю, вот. Есть.

— Что вы делаете? — шепотом кричит М. — Ни в коем случае не...

Д. отмахивается.

— Не мешайте, пожалуйста. Свяжитесь кто-нибудь с зенитчиками.

Он уступает микрофон диспетчеру, встает со стула, замер над пультом.

— Они все в шлемвуалях, — глупо хихикает пилот. — Теперь-то они все их нацепили. Вот умора!

Д. передергивается и снова выхватывает микрофон из рук диспетчера.

— Послушайте, как вас там! У вас в салоне должен быть ребенок лет девяти.

— Да их тут на целый детский сад наберется, — снова хихикает летчик. — Они тут такое устраивают. Наши девочки с ног сбились. Вы уж нас посадите, пожалуйста.

— Конечно, конечно, — бормочет Д.

Яростные, строгие глаза М., непонимающие, испуганные — диспетчера. Замедленные движения, покорность. Запах нагретой аппаратуры, шипение.

— Есть зенитчики, — говорит С. и протягивает телефонную трубку. Сам говорить не хочет. Еще бы! Д. бросается к ней.

— Их там двести пятьдесят человек, — словно оправдывается М. — И все они импаты.

Д. горячо врет в телефон, а там его слушают изумленно, отвыкли зенитчики от неучебных тревог. Д. уверяет их, что просто необходимо сбить самолет, потерявший управление, долго ли до беды. Беспилотный, конечно, ну, что вы! И трясет нетерпеливо рукой в сторону застывшего диспетчера: координаты, координаты! М. кривится и ворчит, не то все, зачем, просто приказ, пусть-ка они попробуют скафам не подчиниться. И, действительно, зенитчики не верят Д., не верят ни единому его слову, но трубку не вешают, видно, чувствуют — что-то неладно.

И тогда Д., багровый, как собственный шлемвуаль, глупо как-то подмигивает, поджимает по-бабьи губы и называет себя. Так бы давно, отвечают ему. Он еще раз говорит свое имя, звание, сообщает индексы, шифр, а по-

том долго ждет, поводя сумасшедшими глазами.

Самолет никак не может выйти на пеленг — пилот волнуется. Диспетчер помогает ему и все оглядывается на Д., а пилот уже чуть не криком кричит.

— Первый признак, — говорит М. и два раза кивает, словно сам с собой соглашается. Ему тоже не по себе.

— Слушайте! — кричит вдруг пилот. — Там сзади бог знает что творится. Это так надо? Да?

— Успокойтесь, не дергайте управление. Оставьте ручки. Что вы, ребенок, в самом-то деле!

— Учтите, я сейчас пойду на вынужденную, они мне весь самолет самолет разнесут.

Диспетчер оглядывается на Д., тот смотрит на него в упор, но не видит. Тогда М. говорит.

— Не надо. Отговорите.

Диспетчер трясущимися руками берется за микрофон.

— Ну? Что? — кричит пилот сквозь беспокойный шорох. — Вы поняли? Я снижаюсь. Вы слышите меня?

— Я не могу, — чуть не плачет диспетчер. — Я не могу, не могу!

М. выхватывает у него микрофон, собирает-ся что-то сказать, но тут азартно вскрикивает Д.

— Да! Да! Понял! Ну конечно, это приказ, а вы что думали, дружеское пожелание? Да, сию же минуту и действуйте. Да скорее же, вы, скорей, ч-черт!

Вид его жуток.

В зал врывается хриплый монолог взбудораженного пилота, который, в общем-то, достаточно умен, чтобы все понять, только поверить никак не может.

— Пуск, — тихо говорит Д. и кладет трубку.

Все стоят, замерли.

— Вы меня доведите сами, а то тут и с самолетом что-то неладное. Вы слышите? Л.! Ты чего молчишь, Л.? Ты меня слышишь?

— Я не молчу, — отвечает Л., и хотя он далеко от микрофона, пилот услышал его.

— Л.! Почему не отвечаешь? (На экране появляется еще один крестик. Он стремительно приближается к первому.) Мне ведь главное — сесть, ты понимаешь, только сесть, а больше...

Крестики исчезают.

Д. говорит: "Пошли", — и медленно идет к выходу. Путь ему преграждает Х., суперчере-зинтеллигент и подлец. Вуалетку он подял и смотрит на Д. совершенно дикими глазами.

— Не могу понять, — говорит он. — Подвиг вы совершили или преступление.

И все — все кончилось.

Х. сказал мне, что это или подвиг, или преступление. А я лихо так усмехнулся и ответил ему, что на моем месте так поступил бы каждый.

Он — дурак. Здорово я отбрил этого дурака. Пустышка.

Я все думал, как буду чувствовать себя, когда все кончится. А я никак себя не чувствую, вот ведь какая штука. сосет немного в груди, но почти незаметно. Странные взгляды вокруг, не знаешь, как и вести себя. Все очень быстро мелькает. Теперь все будет очень быстро мелькать, до самой смерти. Он меня освободил, этот мальчишка, мне теперь ничего не страшно, теперь я на коне, на очень быстром коне. Нет, я ничего не чувствую, честно.

Все нормально, ребята. Теперь остались я, моя работа и моя борьба. Насчет борьбы я, правда, не знаю, она бессмысленная, а работа... О, работа — святое дело! Спасение, тэк сэзэть, человечества. Уничтожение, тэк сэзэть, плевел. Плевать я хотел на плевелы. Или плевела.

Исчез позади аэропорт, машина мчится по пустому шоссе (ну, да, как же, все перекрыто), проносятся мимо указатели, деревья, серая трава, серый асфальт... Весело... Почему-то я один в этой машине, не хочу даже думать, почему. Со мной все нормально, ребята, честно! Я хороший мужик, и вы все мужики что надо. А, мужики?

Очень быстро гоню я машину, я за собой талантов таких раньше не замечал. И не страшно, мужики, честное слово? М., а? Какую он физиономию скорчил, скотина! Вот погоди, подкопаюсь я под тебя.

Я один, я абсолютно один, в машине, а петь не хочется. Почему мне никогда не хочется петь?

Вот город. Как быстро я мчусь, какое, наверное, наслаждение я испытываю от быстрой езды! Вж-ж-жик! — поворот, вж-ж-жик! — еще один, взиииии — это я тормознул, чуть не своротил бок одному наглецу. Я скаф, со мной не шути! Врезать надо было ему, врезать, чтоб на всю жизнь запомнил!

Мой дом. Я знаю, в нем нет никого. И не было никогда. Уж извините, такая моя работа. Что хочу, то и творю. Вот сейчас — сожгу я свой дом, а мне ничего не будет. А что?

Словно бы тень мелькнула в окне. Галлюцинации. Словно бы тень моего мальчишки, которого я сегодня убил, прикончил, пришлепнул, пристукнул... Бабахнуло рядом — и все рассыпалось, полетело вниз, никто и опомниться не успел. Потому что главное тут — внезапность. Все для него мгновенно было. Ну, несколько секунд, в худшем случае. Раскрыл глазенки, хочется крикнуть, а не может. Летит.

Стоп, ребята, стоп, стоп, стоп. А то я и в самом деле испорчу себе настроение. У меня все нормально, ведь так? Так, что ли? Так, что ли, я вас спрашиваю?

И вот я выхожу из машины, отворяю калитку, по цементной дорожке иду к двери, поднимаю руки к опознавателю — хитрая такая штука, вместо ключа. Новинка. Ни у кого нет, а у меня есть. Вдруг дверь распаивается сама собой, и на меня с воплем кидается мой мальчишка.

Но у меня мгновенная реакция: прежде чем выстрелить, я успел сообразить, в чем дело, что малыш мой — не сбежавший чудом импат. У меня действительно очень хорошая реакция. Это я молодец.

Мальчишка еще хохочет, прыгает, тузит меня кулачком в живот, но уже без особой уверенности. Мрачный папа пришел.

— Это что такое? — спрашиваю я. — Почему не улетел?

— Не хочу я с тетей К. Ну ее! Я лучше на другом самолете поеду.

— Интересно.

Он меня раздражает, он мешает моей работе, и лично мне он мешает тоже. И я несколько его не люблю, теперь-то, надеюсь, понятно?

— Она в автобусе заругалась с каким-то дядей, а я — в дверь и сюда. А?

— Интересно.

Я, как попугай, талдычу свое "интересно", и ничего более интересного мне в голову не приходит. Паренек совсем скис под грозным взглядом своего сволочи-папаша, который только что убил его и опять мечтает избавиться. Но вдруг откуда-то он набирает последних силенок и кричит:

— Я не хочу в интернат! Я никуда не хочу уезжать! Не гони меня, что я тебе сделал, папка! Пож-жа-а-алуйста!

И плачет. И тузит меня уже всерьез.

Вот тут я не выдерживаю. Тут на меня находит. Я говорю ему:

— Сынок!

Я говорю ему:

— Ну, что ты, сынок!

Я говорю ему:

— Ну, что ты, сынок, милый!

И смеюсь, и, кажется, плачу, вот ведь какая штука.

Я хватаю его в охапку, прижимаю к себе, я поверить не могу, что он жив, я подбрасываю его, он взвизгивает, а я хохочу.

И тогда он хохочет тоже. Я словно с ума сошел, словно в импаты записался, подбрасывать в воздух — это единственная ласка, которую я запомнил еще с тех времен.

— Ну, что ты, что ты... Ну, куда ж я тебя...

Он смеется, я так люблю, когда он смеется, он подлетает и подлетает, а потом пугается. Наверное, от того, что я не успею его подхватить. Я прижимаю его к себе.

— Маленький, милый, ну, что ты?

Я целую его, я обнимаю его, я говорю ему ласковые слова (откуда что берется?), я люблю его, я всегда его любил, моего сынишку, как же его не любить такого?

Я радуюсь, ох, как же я рад, ребята, и нет во мне сейчас ни самонадеянного мерзкого чертика. Все, ребята, у меня хорошо. Да я просто счастлив, что он здесь, со мной, я счастлив невероятно! Я люблю своего сына, мой сын любит меня, я счастлив, и больше мне ничего не надо!

Как хорошо, когда все хорошо!

Черно-белое

Я стоял в двух шагах от камина и смотрел в огонь. Его свет выхватывал из всего сумрачного пространства огромного зала только мою фигуру в длинной серо-зеленой накидке и неровный круг выложенного мозаикой пола. Из окон по левую руку от меня (если пересечь зал и подойти к ним) можно было увидеть опускающееся в косматых облаках большое кроваво-красное солнце. К багровому горизонту растекалась черная пустыня, утыканная сухими покореженными деревьями. Прямо над замком собрались тяжелые тучи, изредка из них срывались белые молнии.

Над замком шел дождь.

Я спрятал руки в складках накидки, наброшенной поверх темно-зеленого камзола. К сожалению, здесь у меня не мерзнут даже пальцы.

Высокие окна справа озарились мгновенной вспышкой плоского белого света, отбросившей влево длинную тень от моей фигуры. Сухие раскаты грома заглушили монотонный шелест дождя и потрескивание пламени в камине, удивительно гармонизировавшее друг с другом. Но гром утих, и вновь мир наполнил торпливый топот ливня — до следующей молнии, которая снова вонзится в землю на востоке.

Наверное, моему настроению больше подошел бы дождь с эпицентром точно над замком, чтобы он полностью закрыл мои владения, но мне не хотелось затенять великопленный закат нудной мокрой пеленой. Была и еще одна причина: возможно, этот человек, что пробирается сейчас сквозь заросли, идет с вестью от нее. В этом случае мне хотелось, чтобы его приход был обставлен как-то поэстичней.

Странно — мне показалось, я не могу сказать наверняка, что это за человек, или хотя бы — с какими намерениями он идет сюда. То, что он не крестьянин и не случайный путник, ясно сразу. Он упорно пробирается к замку, несмотря ни на проливной дождь, ни на колючие деревья. Его цель — мой замок, а значит — ему нужен я.

Интересно, зачем.

Раньше, до того, как я израсходовал все кольца, кроме последнего, любопытствующие путешественники спускались иногда с изумрудных холмов страны, в центре которой лежит мое королевство мертвых деревьев, и заходили ко мне. Они бродили по залам из серых гранитных блоков и удивлялись скромности моего жилища, ожидая увидеть золотые стены, фонтаны вина и россыпи драгоценных камней. Они бывали весьма разочарованы и озадаче-

ны, когда я показывал железные кольца в бархатном футляре и объявлял, что это моя главная драгоценность.

Но вот уже пять лет, как деревья выросли в предпоследней раз, заняв предпоследнее пространство, и все эти пять лет меня не навещал никто. Не скажу, чтобы это меня сильно печалило, потому что нужен мне только один человек.

Эти пять лет я ждал вестей.

От нее.

Немало дождей пролил я за эти пять лет на мою мертвую землю, зная заранее, что все равно ни одна травинка не взойдет на этой земле...

Внизу загремело. Я вздрогнул. Помедлив секунду, я распахнул перед путником, мокнувшим на пороге, двери — сначала наружные, чтобы он смог спрятаться от дождя в холле, вслед за ними — вторые, чтобы он увидел свет огня в камине и сам нашел дорогу сюда.

Я повернулся в пол-оборота. В тот момент, когда он показался в дверном проеме, полыхнула молния, осветив его фигуру. Он был одет так же, как и я, только что плащ его был ровного серого цвета, без оттенка зеленого.

Путник что-то сказал, я не расслышал за громом. Он снял шляпу и отряхнул ее. Пока он проделывал это, с него натекала приличная лужа.

— Ну и погодка, — сказал он, отряхнувшись и направляясь ко мне. — И часто здесь такие ливни?

— Частенько, — произнес я, глядя на него.

— Но уж по растительности я бы не сказал. И куда только вода девается?

— А разве ты не знаком с местными поверьями?

— В самых общих чертах. Я не думаю, что можно безоговорочно доверять людской молве. Хотя, безусловно, всегда в основе народных легенд лежит какой-то реальный факт. Ты позволишь мне просушить у огня плащ и шляпу?

— Конечно. К сожалению, я не держу прислуги и поэтому могу предложить только свою помощь.

Я подумал о вешалке, оставшейся в первой зале, и она тут же появилась рядом с камином.

— О, благодарю. А что, здесь все предметы сами двигаются? Я имею в виду — двери, вешалки...

— Предметы перемещают я.

— Это, вероятно, сложное искусство?

— Это магия, — пожал я плечами и перевел взгляд на огонь. Сначала на ближнем подсвеч-

нике, а затем на всех остальных, укрепленных на стенах зала, по очереди зажглись свечи.

— Честно говоря, я не очень-то верил в рассказы о том, что здесь живет древний мрачный колдун, — сказал путник, подойдя к камину, присев и протянув руки к огню. — И, честно говоря, ты не очень-то похож на мрачного колдуна.

— И все-таки я и есть тот самый колдун.

Я представился.

— Да, крестьяне примерно так называли имя того колдуна. Тебя то есть.

— Мое имя известно далеко за пределами окрестных земель...

— Странно, ни разу не слышал. Собственно, я поэтому и пришел. Я много путешествую, даже очень много, и собираю занятные истории со всего света. Я был удивлен, когда обнаружил, что местные жители совершенно уверены, будто в этой черной пустыне находится чуть ли не центр мира, будто живет здесь самый великий волшебник, какого только можно вообразить. Разумеется, я тут же отправился выяснять подробности.

— Тебе известны легенды о битве в Черной пропасти? Или о битве песчаного смерча и грозовой тучи?

— Хрестоматийная сказка про белого и черного магов? Что-то вроде того, что черный маг угнетал жителей, используя древние силы земли, но белый в конце концов его выгнал?

— Да. Эту историю излагают по-разному, твой вариант ничуть не хуже других. Так вот: белый маг, победивший черного, — это я.

— С ума сойти, — произнес путник. — И как давно это было?

— Четыре с лишним столетия назад.

— Однако, ты неплохо сохранился!

— Мне достался замок и достались силы побежденного врага. Здесь я не старею. Я полагаю, ты голоден?

— Вообще-то выпить чего-нибудь согревающего и перекусить я бы не отказался.

В зале появился деревянный стол. На ней в глиняном блюде устроился запеченный с яблоками поросенок, рядом лежал серебряный столовый прибор, стоял кувшин с красным вином и два кубка из того же благородного металла. У стола появился резной табурет.

Гость втянул носом воздух.

— О, какой запах! У меня просто слюнки текут, — тут он увидел единственный прибор. — А разве ты не присоединишься к трапезе?

Я подошел к столу и налил себе вина.

— Видишь ли, — произнес я, глядя в кубок, — в моем замке, в окружении подвластных мне магических сил, мне нет нужды насыщаться грубой пищей. — Я отхлебнул вина. — Покуда я нахожусь в замке, я практически не ем.

— Ну, не знаю, плюс ли это, — сказал путник, подсев к столу и вплотную занявшись поросенком.

— Это цена вечной жизни.

— Скорее, вечного существования?

— Возможно. Иногда я выхожу из замка, чтобы утрясти кое-какие дела во внешнем мире, тогда я и ем, и старею. И живу, если угодно.

— Наверное, это довольно утомительно — пробираться каждый раз сквозь заросли колючек. Или у тебя есть ручной дракон?

— Раньше я использовал для выхода из замка колыца. Достались от прежнего владельца.

— Знаешь, магия мне нравится с каждой минутой все больше, — сообщил путник с набитым ртом. — Надеюсь, пища из моего желудка никуда потом не денется?

— Только естественным путем, — заверил я.

Ну неужели он ничего не знает о ней, думал я, наблюдая, как незнакомец орудует ножом и вилок. Неужели он ничего не скажет про нее, неужели у него нет ни единого слова от нее? Если он пришел с вестью, то почему он тянет время? Неужели он не имеет никакого отношения... Впрочем, я ждал пять лет, подожду еще немного — вскоре все должно выясниться.

Склонность к логическим построениям всегда была особенностью моего склада ума. Жаль только, что самая изощренная логика ни в малейшей мере не способна уменьшить тоску.

— Замечательно, — сказал путник и отхлебнул из кубка. — Просто превосходно. Может быть, ты расскажешь мне свою историю? Я подозреваю, что это будет достаточно интересная легенда, чтобы занять место в моей коллекции.

Я встал и подошел к камину. Огонь весело плясал на поленьях, подпрыгивая, извиваясь, как рыжий клоун из бродячего шапито.

Эта цепь ассоциаций освоена мною давно и даже слишком уж хорошо. Пляшущий огонь, рыжий клоун, бродячий шапито, воздушный танец на тугой струне каната... Ее танец. Иногда я проклиная память. Ах, как просто было бы ждать, не помня ничего, не насилуя себя ежеминутным воссозданием образов минувшего! Увы, бесплотных образов.

Люди говорят: разлука — лучшее испытание любви. Вздор. Разлука может свести с ума.

Я хорошо изучил свойства времени. Я знаю, например, что время лечит отнюдь не все болезни. Я познал главное оружие разлуки — ожидание. Я знаю о трех ожиданиях: о белом, которое налетает неожиданно, охватывает, кружит в светлом вальсе — и ты счастлив, что любишь, счастлив, что ждешь: я знаю о черном ожидании — когда на мир напозаает тень, плохие предчувствия сжимают грудь и ты не знаешь, что тебе делать, когда ты становишься раздражителен и резок (счастье для местных жителей, что магия моего замка не распространяется за пределы мертвой земли). И я в совершенстве овладел искусством серого ожидания. Такого, как сейчас.

— Хорошо, — сказал я, не поворачиваясь. — Но это долгий и утомительный рассказ.

Он был мал, ему было холодно и страшно. Ледяной ветер пронизывал его ветхую одеж-

ду, проникая в самые укромные места, выхватывая кусочки драгоценного тепла и уносил их прочь вместе с пылью и мусором, не оставляя ему взамен ничего. Он устал идти. Свернув с дороги, он прислонился к дощатой стене одного из пустых домов и сел на землю. Можно было зайти внутрь, укрыться от ветра, но он научился бояться зданий, покинутых людьми. Потому что теперь они принадлежали не людям. Теперь он принадлежали Ужасу.

Закутавшись поплотнее в свои лохмотья и поджав ноги в огромных сапогах, он еще некоторое время смотрел, как серый ветер тащит куда-то разный хлам. Потом закрыл глаза.

Он не помнил своей матери. Он всегда жил с отцом. В их доме всегда было тепло... И всегда была горячая вкусная похлебка... С черным хлебом... Он всегда ел вместе с отцом. И в комнате было жарко и уютно.

А потом ураган принес Ужас. В одну ночь его деревня превратилась в кладбище. Он остался один. Он оставил отца, сжимавшего в руке огромный тесак, лежать в серой пыли двора. Из уголка обветренных губ в черную лужу под затылком тонкой струйкой стекала кровь.

Он долго прятался в старой дырявой бочке в нескольких шагах от трупа отца. Ужас почему-то не заметил его. Почему-то он оказался единственным из всей деревни, кого не тронул Ужас.

Уловив нечеловечески обострившимися чувствами слабое движение, он встрепенулся всем телом, разом выйдя из забытья, и тут же задрожал под леденящим дыханием ветра. Он увидел... Он долго не мог понять, что же это такое, и он не знал, что ему делать, поэтому он просто смотрел широко раскрытыми глазами.

В мутных струях ветра вместе с песком, жухлыми листьями и другим мусором плыли темные нечеткие силуэты в балахонах до пят, с надвинутыми на лица капюшонами. Они двигались по дороге небольшими группами по трое-четверо, разного роста: большие, поменьше, совсем маленькие. И вдруг — голоса! Говорливый поток хлынул на него, закружил голову. Мужские, женские, детские, смех, плач. Отдельные слова разобрать было невозможно, звуки сливались в причудливый щебет.

Его внимание привлекли две фигуры, не двигающиеся, как остальные, но стоящие на месте. Они держались за руки — взрослый мужчина и маленькая девочка. Однако что-то их разделяло. Шальной порыв ветра сорвал с головы человека капюшон, разметав по плечам светлые волосы. И мальчик увидел... Он не ошибся — ветер сдувал со скуластого лица взрослого человека слезы. Слезы живого человека.

Он неожиданно понял, что разделяло эту пару — непреодолимый барьер жизни и смерти. Он почувствовал боль светловолосого человека, пытающегося увидеть хоть одну черточку

родного лица в непроницаемой тьме балахончика.

Отец прощался с дочерью.

Ветер выхватил из рук человека темный лоскутик и серым мотыльком понес в мутный сумрак ночи.

Я повернулся к гостю, и неожиданно мне показалось, что в его глазах сверкнуло желтое пламя. Да нет, не может быть... Наверное, отблески огня камина.

— Он стал мне вторым отцом, — сказал я, внимательно вглядываясь в глаза собеседника. Ничего особенного — чистые серые зрачки с густым, как тушь, ободком, слегка выпуклые белки с сетью трещинок-сосудов. Умные, внимательные глаза путешественника. — Он не был профессиональным магом, его способности проявились так же, как и мои — случайно.

— Я так понял, — сказал гость, поставив бокал на стол, — что этот Ужас послужил своеобразным катализатором ваших способностей?

— Скорее, он явился ситом, оставившем в живых только нас, способных бороться с ним. По-моему, он поступил чрезвычайно глупо. Нам с отцом хватило двух месяцев, чтобы понять его и разделаться с ним.

Они сидели на холодной земле между двух плачущих пятиэтажных домов с выбитыми стеклами и наглухо заколоченными дверьми парадных. Над костром висел котелок и исходил паром. Мальчик смотрел на огонь. Отбрасывая неверные тени, языки пламени лизали мятый закопченный котелок, будто сами хотели съесть скудный ужин людей. Дым тянулся вверх, к угрюмо ползущим по ночному небу каменным тучам.

Мужчина снял с огня похлебку и пристроил котелок в камнях, чтобы не опрокидывался. Длинные светлые волосы сползли на высокий лоб, он привычным жестом откинул их назад.

Они принялись за еду. Мальчик время от времени смотрел, как двигаются желваки на поросших короткой щетиной щеках мужчины, и ему было очень спокойно, несмотря на то, что Ужас был совсем рядом, всего в нескольких десятках шагов, в одной из горящих построек.

Человек закончил есть, вытащил из-за спины ржавый обрезок толстой проволоки, согнул пополам. Мальчик следил за движениями его рук. Проволока была крепкой, и пальцы человека белели в суставах. Изогнув ее буквой "Б", не достал из потрепанного рюкзака моток прочного шнура и, сложив вдвое, связал концы морским узлом. Несколькими рывками проверил прочность, продел сквозь проволочный крюк и соорудил петлю.

Человек поднялся. Глядя на него, встали мальчик.

— Сейчас ты возьмешь это, — голос мужчины звучал необычно глухо, — я подсажу тебя на дерево до первой развилки. Ты должен

взобраться как можно выше, зацепить этот крюк за толстую ветку, которая может выдержать тебя, и обязательно этой петлей. Все должно быть прочно.

— А вдруг он залезет ко мне?

— Он не умеет лазать по деревьям.

Сильные руки подхватили мальчика и, крепко держа, аккуратно подняли вверх, к развилке ветвей огромного тополя. Стараясь не смотреть вниз, мальчик стал неторопливо подниматься в крону дерева. Человек следил с земли за каждым движением мальчика, и лишь когда крюк был зацеплен, а петля затянута вокруг пояса, он молча повернулся и пошел к пылающему дому.

Подойдя к пышущим жаром дверям подъезда, человек положил ладони на тлеющие доски. Через секунду двери сорвало с петель, и они с грохотом упали внутрь. Перед человеком встала стена сплошного огня — и он шагнул в нее.

У мальчика екнуло сердце. Он весь сжался и, затаив дыхание, следил за окнами, полыхавшими адским огнем. Он давно заметил, что эти два дома горели как-то странно: огонь не выплескивался наружу из разбитых окон, он хлопотал внутри, не выходя за пределы кирпичной коробки стен и не поднимаясь над крышей. Казалось, так он мог гореть вечно. Недаром Ужас избрал себе убежищем одну из этих построек.

За огненными шторами в окнах не было видно никакого движения... Дверь второго парадного с сухим треском разлетелась в щепки, подняв тучи искр. Мальчик вздрогнул и сильнее вцепился в ветку. До сих пор бесплотный, Ужас обрел конкретные черты: сутулая мешковатая фигура бежала прочь от пятиэтажки. Почему-то свет пожара не мог осветить ее — мальчик видел лишь огненный ореол вокруг темно-серого силуэта. Следом за этой фигурой бежал человек, его длинные светлые волосы развевались. Мальчик не дыша следил за этой молчаливой гонкой.

Сейчас тень с огненным ореолом бежала вдоль второго горящего дома. Человек следовал за нею в каких-нибудь трех шагах, но не мог догнать. Вдруг человек упал. Сердце мальчика ушло вниз, он закусил губу... Но человек поднялся — и бросился вперед, и схватил серые ноги. Ужас неестественно резко замер и, осыпаясь холодными искрами, медленно опустился на землю. За какое-то мгновение человек оказался сверху... В его руках сверкнул топор. Широкая серая спина принимала сильные удары с глухим звуком.

Наконец человек поднялся, топор выпал из его руки, голова опустилась на грудь. Серый труп стал просто серым трупом, огненный ореол исчез — и он лежал, не шевелясь..

Человек дрожал всем телом. Он поднял лицо к небу...

— Вскоре огонь в пятиэтажке погас. Теперь я вижу, что это был не слишком сильный и

совсем не умный противник, скорее, это было хаотическое, если можно так выразиться — сумасшедшее зло, но тогда для нас это была очень большая победа. Все-таки — первая схватка с персонифицированной силой Тьмы.

— Я не пойму одной детали. Описанный тобой Ужас явно потусторонней природы, и вдруг вы убиваете его самым заурядным топором.

— Во-первых, топор был заговоренным. Во-вторых, задача отца в том и заключалась, чтобы вынудить противника принять телесную, уязвимую форму. Но это детали, как мне кажется, не такие уж и существенные.

— Ну хорошо, продолжай.

Меня несколько покорило тон гостя, я вернулся и вновь стал смотреть в камин.

— Потом мой названный отец отвел меня к настоящему волшебнику. Потом была учеба, а после... Я, с моим прошлым, не мог стать обычным сельским магом — специалистом по сглазам и наговорам. Я стал странствующим магом.

— Ты много путешествовал?

— Да. Я никогда не задавался такой целью, но при желании можно составить сборник легенд разных народов, где в качестве главного героя выступаю я. Думаю, это будет толстая книга.

— И достаточно неровная.

— Конечно. Маг живет недолго — около двухсот-двухсот пятидесяти лет, и я спешил сделать как можно больше, не пренебрегая даже мелкими делами. В итоге я так надоел Тьме, что она сама вызвала меня на бой.

— Сама Тьма?

— Я немножко не так выразился. Я хочу сказать, что до того я искал встречи с ее слугами, но в Черной пропасти я был вызван. Вообще, Зло или Тьма не есть нечто организованное. Скорее, это символический образ сил, применяющих насилие в большей мере, чем это необходимо.

— Расплывчатое определение.

— И к тому же банальное? Неважно. Главное — в итоге я захватил один из центров могущества Тьмы. И с тех пор удерживаю.

— Ты имеешь в виду этот замок?

— Да, замок и прилегающую к нему землю.

— Но почему же она мертва, если ею владеет белый маг?

— Все не так просто. В этом месте пересекаются линии могущества, и долгое время они использовались во зло. Здесь прочно обосновалась Тьма. К тому же природные свойства этого места способствуют именно разрушительному применению заключенных в нем сил. Мне приходится проводить здесь почти все свое время, чтобы не допустить скатывания обратно.

— Ты упоминал какие-то кольца...

— Наследство черного мага. Проклятое наследство. Когда я победил его, замок представлял собой черные обугленные стены, вы-

сящиеся посреди пепелища в тридцать километров шириной. Последнее, что успел сделать поверженный враг — наложить проклятье на эту землю на девяносто девять колец, позволяющих перенестись во внешний мир. Я не могу преодолеть полосу черной земли иначе, кроме как с помощью кольца, а его можно использовать только один раз. И после каждого перемещения в пустыне вырастали черные деревья. Я так и не разобрался, зачем они нужны — то ли это побочный эффект, так как никакого магического значения деревья не имеют, то ли чисто психологический трюк, напоминание.

— Мне кажется, у тебя должно остаться не так уж много колец, если судить по плотности зарослей.

Я пожал плечами:

— Одно.

Путник хмыкнул:

— Значит, только в один конец?

— Да.

— Из этого следует, что ты оказался в темнице?

— Очевидно.

— Имея при себе ключ от дверей?!

— Да.

— Поучительная история. Ты не жалеешь о том, как использовал девяносто восемь колец?

Мне снова почудилось, что в его глазах блеснул желтый свет.

— Я обычный человек, — сказал я. — Обычный человек, у которого обнаружили кое-какие магические способности и который должен был прожить свои двести лет и спокойно умереть. Я же сторожу этот замок больше четырех веков. Я не мог не использовать кольца, чтобы выходить наружу. К тому же всякий раз я проводил время во внешнем мире с пользой для мира. Всякий раз мир становился чище. Описание моих выходов заняло бы добрую половину книги.

— Неужели только альтруистические цели побуждали тебя воспользоваться кольцом?

— Я белый маг, и я могу контролировать свои желания. Конечно, иногда потребность в человеческом обществе становится почти нестерпимой, в таких случаях я стараюсь совместить приятное с полезным... Думаю, тот факт, что четыре столетия Зло не могло воспользоваться этим источником силы, оправдывает любой мой поступок.

Я не испытывал ни малейшего желания рассказывать ему о том, что последние два кольца потратил без всякой выгоды для мира, банальнейшим образом влюбившись. Я понял, что он пришел не от нее, и это понимание сулило мне много свободного времени, которое я проведу в замке. Если только не сбегу к ней... Без особых надежд на ответную любовь и с десятком

лет жизни впереди. Больше мне во внешнем мире не протянуть.

Гость поднялся. Я отметил про себя, что сидя он кажется гораздо меньше ростом. И еще мне показалось, будто на его лице промелькнула какая-то странная улыбка. Что-то много мне сегодня мерещится.

Он подошел к окну.

— Дождь кончился, — сообщил он. — Надо заметить, я выбрал не самое подходящее время для визита — полнолуние.

— Отчего же, — возразил я, — достаточно романтично: гроза, черный лес, одинокий замок, луна...

— Белый маг, — подхватил путник, отходя от окна.

— Черный подошел бы больше?

— Может быть. Я приношу свои извинения, но я должен уйти. Благодарю за гостеприимство, за великолепный ужин и интереснейшую беседу, но мне необходимо попасть еще куда-куда.

— Жаль, — произнес я. — Твое присутствие скрасило бы иное одиночество.

— К сожалению, мне нужно спешить, — он снял плащ. — Прекрасно, все уже высохло.

— Рад был помочь.

Путник надел плащ, нахлобучил шляпу и направился к двери.

— Пожалуй, я не стану тебя провожать, — сказал я.

— Не стоит беспокоиться, — он взялся за дверную ручку и обернулся. Его глаза светились ярко-желтым. — Да, я забыл сказать: она ждет тебя.

Я непроизвольно сделал шаг вперед, в то же мгновение на него откуда-то упала тень. Тень стала плотной, словно поглотив его фигуру, и по контуру ее заплескали синие огоньки. Он сместился в сторону и неожиданно исчез. Дверь так и осталась неоткрытой.

Успокоив сердце, я первым делом привел в порядок замок. Работы было много. Когда он ушел, я попытался его достать. Мне это не удалось, и я несколько утратил контроль над собой. У меня есть оправдание — с его стороны это была уж слишком нахальная демонстрация. Я не знаю, зачем это ему понадобилось.

Ныне я уверен только в двух вещах — что он в самом деле пришел от нее и что он — зло.

Ах да, есть еще одна вещь, в которой я уверен. Но это касается лично меня.

Тропинка на глазах затягивалась черными побегами. Я швырнул кольцо в колющую темную чашу и повернулся к ней спиной. Вдохнув всей грудью терпкий степной воздух, взгляделся в горизонт. Он тянулся неровной нитью, застывшей за зеленью холмов, далеко-далеко, в синей дымке. Я выдохнул и шагнул с сухой земли на траву.

Пропади все пропадом.

Гостеньки из мирозданица

Триста лет все громче аюкали в никуда, терпеливо вслушиваясь в шелесты и щорохи мироздания. И доаукались. Смыслочерпалка на Ганимеде уловила и расшифровала долгожданный ответ, оказавшийся на удивление кратким. Всего из четырех слов: "Не уплачено за место". И целый год не утихали на Земле споры, — что бы эти слова значили. Не утихали до того самого дня, когда станции Небесного Дозора засекали вторгшийся в Систему звездолет. Он явно направлялся к Земле, но за орбитой Юпитера пришельцам пришлось притормозить: дальше чуть не до самой Луны тянулась Свалка — пространство, так густо нашпигованное земными отходами и отбросами, что без опытного лощмана навигация там была практически невозможна. Даже юркие мусоровозы, непрерывно пополняя эту межпланетную клоаку, с трудом пробирались меж сциллами и харибдами летящих во мраке глыб и обломков, начиненных всеми видами химической и радиоактивной пакости. И с борта легшего в дрейф звездолета доходчиво объяснили, что те четыре слова надо понимать в самом прямом смысле. Или земляне без промедления заплатят за место, или — фух-фух.

За все дни переговоров Засыпкин ни разу не приблизился к своему партнеру. Да и кому придет в голову приближаться, когда страшно вато было и глядеть на это созданице ростом в добрый пяток Засыпкиных. Но сейчас великан уже так давно не подавал признаков жизни, что Засыпкин решился. Задрал голову и не отрывая взгляда от застывшего великаньего лица, он осторожно подобрался к правой ноге и коснулся inferнально черной штанины. Пальцы прошли сквозь ткань и ногу, ощутив лишь легкое покалывание.

— Не надо, — раздался голос за спиной.

Засыпкин отдернул руку и обернулся. Со стены на него смотрело строгое женское лицо. Засыпкин сразу заметил, что главмадам в очередной раз сменила кожу на щеках и вместе с прической обновила уши, придав им самую модную на данный момент конфигурацию. В общем, выглядела она, как куколка, но Засыпкин, разумеется, знал подлинный возраст этой дамы, второе трехлетие возглавляющей Совет Мозговитых. Недаром заглазно вся Земля называла ее Бабулей.

— Не надо, — повторила она, жестом приказывая Засыпкину отойти.

— Хотел убедить... — отшагнув от великаньей ноги, пробормотал Засыпкин. — Молчит же третий час. Видимо, у них что-то с излучателем.

— Пока что вы остаетесь Послом и извольте

вести себя подобающе, — отчеканила Бабуля и исчезла.

Поглядывая на недвижимого великана, Засыпкин сделал пару кругов по залу и от нечего делать стал вспоминать.

...Когда он вошел в Мун-холл — самый большой на Луне кратерный зал, где с глазу на глаз должны были проходить переговоры, — звездный посланец уже ждал его.

— Ну и помойку развели! — без предисловий начал великан, даже не спросив у Засыпкина посольского сертификата, который наготове лежал в кармане, подписанный лично Бабулей. — Такая плюгавенькая планетка и столько загадила!

Отвечать на это было необязательно, и Засыпкин молча разглядывал высящегося перед ним инозвездца, оказавшегося довольно-таки человекоподобным, если не считать смотровой щели вместо глаз и заостренного, как рог, подбородка, придававшего лицу что-то мефистофелевское. Это впечатление усиливалось одеждой цвета вечной ночи.

— Штрафануть бы за эту свалку, — продолжал грохотать гигант. — Да уж ладно, с вас и так кругленько причитается.

— За что же? — подал голос Засыпкин, дивясь, как шустро освоили пришельцы земную речь, с курсом которой их ознакомили перед самым началом переговоров.

— Как за что, — за место. А иначе... — Рот небесного посланца распахнулся, и из него возник голубоватый шарик со знакомыми очертаниями материков. Он поплыл к потолку, и следом из великаньего рта появился малютка-звездолет, как еж, ошетилившийся иглами пускателей. Вспышка — и на месте шарика повисло облачко пыли. Засыпкина подбросило, но милостиво опустило на пол. — Наглядно? — поинтересовался великан.

— А вы, собственно, кто? — приходя в себя, спросил Засыпкин.

— Мы — вытрясанты. Ллетаем и вытрясаем. По всему Подъярису... — начал было объяснять звездный гость, но, видать, раздумал. Поблескивавшие в смотровой щели зрачки сошлись почти вплотную и вновь отплыли в стороны. — Ладно, ближе к делу. В переводе на ваши меры с вас причитается полмиллиарда объемов.

— Объемов чего?

— Думательного состава, чего же еще. — И, видя, что землянин все еще не усек, вытрясant постукал себя пальцем по лбу. — Вот этого самого. Средний объем вашего думосостава умножьте на полмиллиарда голлов.

— Вы что же, хотите, чтобы мы...

— Хотим поллучить, что полложено, — перебил голос из-под потолка. — Вот и решайте, что ллучше — уплатить за место, или — фух-фух.

— Но по какому праву?!

— А ваши открыватели и всякие там пллателли разве не заставлялли туземцев пллатить за место — илли как это у вас там называлось?

— Да когда ж это было! Люди еще только открывали мир...

— Вот и мы вас открылли, — усмехнулся великан, — К следующему разу извольте — деталльный график доставки голлов на орбиту Юпитера. Гллавное — полльная свежесть. Остальное — не ваша забота. Думсостав извлечем сами. — С этими словами звездный посланец растаял в воздухе.

Не прошло и минуты, как на стене возник лик Бабули.

— Ну что, насколько я понимаю, мне можно возвращаться? — обратился к ней Засыпкин.

— Зачем же? — удивилась главмадам.

— Разве вы не слышали...

— Слышала.

— Ну и что же будем делать?

— Вести переговоры. Для чего вас и послали.

— Переговоры — о чем?! Они же...

— Вот и торгуйтесь. Обсуждайте детали, придумывайте всякие сложности и помехи. И как можно дольше.

Засыпкин подождал, надеясь получить более внятные инструкции. Но их не последовало. Сказав, что очень занята, Бабуля попрощалась и была такова, а Засыпкин остался выполнять возложенные на него не совсем ясные обязанности.

— Ну и глупцы же, — покачал головой великан, открывая следующую встречу. — Поняли теперь, что — бесполезно?

— Вы о чем?

Недоумение землянина было таким неподдельным, что звездный детина недоверчиво хмыкнул.

— Неужелли вам не сказали о тех кораблях? — Он раздумчиво потер свой рогатый подбородок и открыл рот, откуда вылетел уже знакомый Засыпкину малютка-звездолет. А появившиеся затем три совсем крохотных кораблика стали с разных сторон к нему подкрадываться. Кончилось это, как и в первый раз: оставив позади три пылевых облачка, грозный малютка с достоинством вернулся в свою гавань. — Уяснили? И так — с ллюбым, кто посмеет приблизиться, — заверил великан. — В пылы!.. Ну, где график?

— Просим скидку, — сказал Засыпкин. — Полмиллиарда голов нам никак не наскрести. Самое большое — миллионов триста.

— Исключено, — отрезал инозвездец. — Тогда нам самим сделлают фух-фух.

— Вам? Кто же?!

— Держатель.

— Держатель — чего?

Великан глянул на Засыпкина с некоторым сомнением, видимо, решая, стоит ли удовлетворять любопытство этой инфузории. Но, помолчав, снизошел:

— В каждом звездном Подъярусе — свой Держатель. А у него свои слушанты и вытрясанты. И как только слушанты засекают очередных ллопухов, которым приспичилло аукать...

— Обижаеть, гражданин начальник, — вставил Засыпкин полюбившуюся ему фразу из учебника истории.

— Кто поумней, аукать не станет, — продолжал великан. — А ллопухам — тем невтерпеж... А зааукали — значит имеется думсостав. Ну, и ллетим вытрясать.

— Если лопухи, зачем же вам наши извилины? — задал логический вопрос Засыпкин.

— Длля самого-самого... — вытрясант многозначительно поднял палец толщиной в молодую сосенку. — Много-много думсостава — мало-мало Желле.

— Едите, что ли? — попытался уточнить Засыпкин. — Или колетесь? Или еще как?

— Желле Бессмертия, — букрнул великан, всем своим видом давая понять, что не собирается ничего растолковывать всяким недоумкам.

— Допустим, — не унимался Засыпкин. — Но неужто не можете синтезировать? Чем мотаться по небесным закоулкам...

— Исключено. Годен только натуралльный думсостав. Которым соображалли.

— Ладно, вернемся к вашему Держателю, — сказал Засыпкин. — Неужели ему триста миллионов мало? На Желе не хватит?

— А за место — чем?

— За какое место?

— Еслли Держатель не опплатит место, ему сделлают фух-фух.

— Кто же? — изумился Засыпкин.

— Охватитель.

— И кого же он охватывает?

— И вас в том числе.

— Мы-то при чем? Обитаем у собственного солнышка.

— "Собственного", — передразнил великан. — Ваше солнце и еще с тысячу таких же входит в наш Средний Подъярус. А есть еще Верхний и Нижний. И все вместе составляют Ярус. Дошло? — Зрачки недовольно пробежались по смотровой щели, лицо выразило откровенную скуку, видимо, оттого, что приходится разжевывать столь прописную истину. — И каждый Держатель пллатит за место Охватителлю Яруса. А тому тоже надо дать наверх...

— Наверх?!

— Три Яруса составляют Сферу, — все более скучая, объяснил посланец небес. — И если кто-то из Охватителей не опплатит место...

— Тоже мозгами?

— Валлюта, — подтвердил великан. И, понизив голос, добавил: — Говорят, Воссиятели

Сфер тоже должны наверх... Куда — великая тайна.

— Ничего себе мирозданице, — проговорил Засыпкин. — А как же насчет Бога?

— Кто такой? — не понял детина. Но, выслушав объяснения, догадался: — А, Разбрасыватель Семян... Никаких следов. Похоже устыдился результатов и — слинял куда-то в другие пространства... Но довольно болтать. — Он нетерпеливо переступил с ножищи на ножищу. — Даем последний срок. Или голловы — или фух-фух.

И больше Засыпкин не спорил и не торговался. На следующей встрече он сообщил партнеру, что на Земле уже началась Жеребьевка Спасения, которая должна выявить требуемые полмиллиарда кандидатов. И остается лишь обсудить технические детали обезглавливания и, главное, транспортировки готовой продукции через просторы Свалки. Но тут как раз возникло немало сложностей, и о них-то и шла речь на дальнейших переговорах.

И в начале каждой встречи великан уведомлял Засыпкина о кораблях, которые в очередной раз коварно пытались подкрасться к дрейфующему звездолету и, естественно, были уничтожены. Он уже даже и не возмущался, только снова и снова поражался глупости землян, еще продолжавших на что-то надеяться. И предупреждал, что любая попытка сплутовать с думсоставом кончится для Земли самым плачевным образом.

Но постепенно Засыпкин стал замечать в своем партнере какую-то вялость. Порой небесный посол замолкал в середине фразы, словно погружаясь в дрему. Раз от раза эти паузы становились все длинней. И вот сегодня великана, похоже, заклинило окончательно — даже смотровая щель затянулась пленкой...

Засыпкин сделал еще один круг по кратерному залу и наконец-то заметил долгожданное: идолище стало истаявать. Первым растворился рогатый подбородок, за ним шея, и голова какие-то секунды еще висела над уже полупрозрачным торсом.

— Вот теперь вам можно возвращаться, — молвила нарисовавшаяся на стене Бабуля. На сей раз она была в форме адмирала МФ — мусоровозного флота, которым по совместительству командовала.

— Но как же удалось? — Засыпкин, разумеется, был не так прост и о многом с самого начала догадывался, но хотел услышать подробности лично от главмадам. — Каким образом?

— Он же вам все рассказывал, — соизволила улыбнуться Бабуля, показав свои новехонькие, видать, только что выращенные зубки. — Мы выводили к Юпитеру беспилотники-мусоровозы с отходами проникающей токсичности, — а они их расстреливали. И в конце концов концентрация ОПТ стала такой, что наши гостеньки потеряли способность управлять своим тарантасом. И теперь умоляют нас отбуксиро-

вать их к Плутону. Но сперва пусть заплатят за место... — Бабуля помолчала и выдала главную новость: — Так вот, дорогой посол, учитывая все происшедшее, Совет Мозговитых только что принял историческое решение — расширить Свалку до окраин Солнечной системы. Лишь тогда мы сможем чувствовать себя в полной безопасности.

И невидимый хор за спиной Бабули грянул Гимн мусорофлотцев на древний мотив "Стеньки Разина": "Ой ты Свалка, мать родная, Безопасности оплот..."

Вылазка во мрак

Кто они были, эти двое на пустынной трамвайной остановке под накапывающим ночным дождем? Припозднившаяся парочка? Но девушка в джинсах и простенькой серой куртке была, наверно, лет на семь старше державшего зонтик спутника, — ему никто бы не дал больше шестнадцати. Брат и сестра? Но она была светловолоса и белолица, с голубыми глазами северянки и твердо очерченными, не знавшими косметики губами, а он брюнет — сросшиеся черные брови, густой пушок над губой, смуглый мальчишеский румянец.

Может быть, учительница и ученик? Но некому было гадать об этом в ночном безлюдье, под одиноким фонарем, чей свет время от времени мерк, — высокий тополь, клонясь под ветром, занавешивал его своими уже начавшими желтеть мокрыми прядями.

В этот поздний час здесь и раньше бывало пустынно. А теперь, когда тянувшиеся вдоль трамвайной линии ряды деревянных домишек с огородами и палисадниками были большей частью снесены и кое-где на месте их зияли котлованы с замершими над ними экскаваторами, — эта городская окраина гляделась в ночи темным покинутым пустырем. В километре к западу, там, куда уходили рельсы, светились редкими уже огоньками окон башни нового микрорайона, а тут простерлась целина сырой осенней ночи.

Было уже без двадцати двенадцать, когда из-за изгиба железнодорожной насыпи выплыли размазанные дождем огни последнего трамвая. Он шел, не сбавляя скорости: водитель по опыту знал, что здесь сейчас никто не войдет и не выйдет. Он заметил этих двоих в последний момент и затормозил, проехав дальше, чем положено.

Двери раскрылись. В первом вагоне людей было не больше десятка, во втором и того меньше. Но девушка с подростком, не сговариваясь, вошли во второй. И трамвай тут же тронулся.

Прежде, чем сесть, они огляделись. На заднем сидении скудно освещенного вагона подремывали два широких парня в одинаковых черных вязаных шапочках и кожаных куртках. Один из них смерил вошедших быстрым взгля-

дом и снова прикрыл глаза. Ближе к передней площадке сидела пара — бравого вида майор и сдобная блондинка; он что-то нашептывал ей в розовое ушко, а она игриво посмеивалась. Лица женщины, сидевшей впереди них, не было видно, — только красиво уложенные рыжеватые волосы, эффектные серьги в ушах, — два тонких золотых ободка, — и спинка синего плаща. Довершал картину замурзанный пьяница, валявшийся на полу рядом с сиденьем, с которого, видать, и сполз. Он спал глубоким сном, наверно, давно проехав свою остановку.

Девушка и подросток сели в середине вагона, — через два сиденья от офицера и его спутницы.

"Куда мы?" — спросили его глаза.

"Увидишь", — тоже без слов ответила она.

Трамвай, не останавливаясь, проехал еще одну пустынную остановку и повернул к висящим во тьме жиденьким огонькам двенадцатиэтажек. Последние еще не погасшие окна на сливающихся с мраком фасадах словно торпиды приподнявшихся: дайте скорей, нам тоже пора спать. И, будто откликаясь на этот молчаливый призыв, трамвай, въехав в улицу, побежал быстрее.

Майор с толстухой поднялись, и сидевшая впереди женщина обеспокоенно оглянулась. Похоже, она раздумывала, не перейти ли в первый вагон, но, увидев, что вторая пара выходить не собирается, видимо, несколько успокоилась.

И зря. Не успел трамвай отъехать от остановки, где вышли майор и его сдобная подруга, как парни в черной коже вскочили на ноги. Первый, тот, что повыше, с широченными, будто у манекена, плечами, прошагал к женщине, а второй, коренастый, брезгливо тронув носком ботинка храпевшего на полу пьяницу, остановился перед девушкой и подростком.

— Бабки! — блеснув золотыми фиксами во рту, приказал он.

Оба развели руками, показывая, что у них ничего нет, и в глазах парня мелькнуло разочарование: ни сумки, ни колючка... И однако он не поверил — сунул руку в карман девушки. Пальцы подростка напряглись, сжимая зонтик, но она молча приказала: "Замри". И он починился: не шевельнулся даже когда фиксаый, ничего не найдя и в другом кармане, злобно скривившись, проехался растопыренной пятерней по лицу девушки — от лба до подбородка. И двинулся к женщине, к которой уже подсел его напарник.

— Ну чо, цыпа, пригласишь ночевать? — Плечистый, казалось, был настроен миролюбиво. — В обиде не останешься!

Фиксатый присел позади женщины, словно бы собираясь принять участие в разговоре. И вдруг, — она не успела даже пикнуть, — правая рука парня сдавила ей горло, а левая рванула золотую серьгу. И в тот же миг сидевший рядом с женщиной выхватил у нее сумку и вцепился в пальцы, сдирая кольца.

"Иди", — разрешили глаза девушки.

Два прыжка по раскачивающемуся на ходу вагону, — и вот он рядом с ними. И увидел... Нет, больше всего его потрясла не запрокинутая голова женщины с разодранным ухом, не ее хрипящий, судорожно хватающий воздух накрашенный рот, — больше всего врезалось лицо плечистого парня, сдирающего туго подающийся перстень, — сосредоточенное, с деловито наморщенным лбом, — будто мастер, разбирающий какой-то мудреный, заковыранный механизм...

— Стой! — он схватил парня за руку.

— Глохни, салага! — кулак фиксаго метнулся к лицу подростка и бессильно повис; наткнувшись на невидимую преграду.

— Уделаю, падло!.. — плечистый вскочил; выдернув из кармана финку — и обалдело смолк, видя, как она вываливается из разжавшихся пальцев.

— А, ты гипнозом... — пришедший в себя фиксаый бросился на подростка, норовя сбить с ног. Но тот отскочил, выставив перед собой зонтик. Зеленоватая вспышка — и парней отшвырнуло на переднюю площадку. Они еще не успели подняться с пола, когда трамвай остановился. Двери открылись, зонтик в руках подростка выстрелил новой вспышкой, — и яростно матерящихся парней выбросило в исполосованную дождем темноту.

Все это продолжалось не больше десятка секунд, и за это время женщина не издала ни звука. Она пришла в себя, когда трамвай снова тронулся, — и закричала диким обезумевшим криком.

— Успокойся, их уже нет, — склонившаяся над ней девушка гладила растрепавшиеся волосы, пухлые щеки, по которым текли мутные от теней и помады слезы. — И след простыл...

Но все было тщетно: женщина продолжала голосить, в отчаянии заламывая руки.

— Заклейте, — подросток протянул ей лоскуток пластыря. — Каплет.

И, как ни странно, этот практический совет подействовал лучше всех уговоров. Рыдания смолкли, женщина взяла пластырь, и морщась от боли, на ощупь заклеила сочащуюся кровью мочку. Потрогала второе ухо с уцелевшей серьгой и только тогда спросила:

— Вас — тоже?

— Нечего, — девушка показала пальцы, на которых не было даже маникюра.

— А меня... Бандитые проклятое... — Женщина всхлипнула, глядя на свое обручальное кольцо, единственное, которое не успели содрать. — Сумка — ладно, денег кот наплакал... А золотой перстень с печаткой, — ему сейчас цены нет! И второе — с бриллиантом... таких уж мне никогда не займешь...

— Зачем носите? — вырвалось у подростка. — Золото проклято.

— Чего это ты? — в глазах женщины было удивление.

"Бесполезно, — девушка еле заметно качну-

ла головой. — Мерило успеха. Гордость. Тем перстнем она им всем: я-то вот что сумела!..”

Но ему хотелось выговориться.

— Завтрашний мир — без золота. Ничто. Просто металл. Правнукам ваши перстни — смех.

— А ты откуда знаешь? — подозрительно глянула на него женщина. — Мал еще... И говоришь как-то странно. Нерусский, что ли?

“Оставь... — девушка тронула его за локоть. — Впустую”.

Но, понимая, что она права, он упрямо повторил:

— Золото проклято. — И, помолчав, добавил: — Выбросить — очиститься.

— Да, у самих-то ничего нет, вот вы и... — начала было женщина, но благоразумно оборвала себя и стала просить: — Ой, проводите меня, а! Я тут рядом, на Кедровой. Два шага...

— Без золота — что бояться? Только снять, — он указал на ободок уцелевшей серьги.

“Тут еще и раздевают, — напомнила девушка. — И насилуют”.

На следующей остановке они вышли в дождливую темень. До дома, где жила женщина, и правда оказалось недалеко. И всю дорогу она охала и кляла грабителей. А прощаясь, попросила их дать свои адреса, — может, потом вызовут, как свидетелей.

— Мы нездешние, — ответила девушка.

И, повернувшись, они ушли.

— Нам пора, — сказала она, когда завернули за угол.

— Уже? — удивился он. — Но ты же обещала показать моего пра-пра...

— Это он и был, — девушка подняла воротник куртки и взяла из его рук зонтик. — Тот, что сдирал кольца. Твой юный прапрадед.

Евгений ГАРКУШЕВ

Биологический возраст

Все началось с того, что мы с мамой гуляли по пустому песчаному пляжу и встретили там некто. Я плохо помню его, потому что был еще слишком мал. Событие это серьезно повлияло на нашу жизнь, и мама не раз потом рассказывала мне о нем. Она запомнила все лучше.

Мама загорала на берегу, а я бегал вдоль моря и бросал в воду камни. Какое-то существо показало из воды и стало наблюдать за нами. Мы сразу поняли, что оно наблюдало, хотя ярко выраженных глаз у него не было. Мама испугалась и хотела уйти, а я подошел к нему близко, оно заинтересовало меня. Мама тоже пришлось подойти, она хотела забрать меня. Я в это время разговаривал с тем, кто качивался на волнах. Не помню точно, о чем мы говорили. Похоже было, что я ему понравился. В конце разговора существо заявило: “Скажи мне, чего бы ты хотел. Я могу сделать для тебя почти все”. Тогда я был уже достаточно умен, чтобы предоставить ответ на этот вопрос маме. Она как бы представляла мои интересы. Мне было твердо известно, что меня она не обидит, а я могу прогадать, если буду выбирать сам. Так не раз случалось, при выборе меню, например.

Возможно, у мамы была какая-то неуверенность в будущем, или она уже тогда задумывалась о тщете всего сущего. Но ее выбор не порадовал меня тогда и немного удивляет сейчас. Впрочем, хорошо рассуждать с высоты моих лет, а ей тогда было всего двадцать восемь. В любом случае, я не собираюсь осуждать свою маму, даже если какие-то ее поступки были опрометчивыми. Старалась-то она для всех.

Когда мы приехали с моря, я научился чи-

тать. Процесс не показался мне сначала очень приятным, но папа постарался, чтобы я мог слагать буквы в слова, независимо от того, нравится мне это или нет. К тринадцати годам я изучил программу средней школы, прочел горы книжек, и художественных, и познавательных. В школу меня отдавать не стали, учился я дома, и, надо сказать, это было не так плохо. Все мое время уходило, в основном, на чтение, потому что с друзьями я не играл. Их у меня не было и быть не могло.

В семнадцать я пытался заочно поступить в какой-нибудь вуз, но там было необходимо личное присутствие хотя бы на экзаменах, а я не мог сдавать их лично. К тому же, мой почерк оставлял и сейчас еще оставляет желать лучшего. Почему на него обращают так много внимания?

В восемнадцать я догадался использовать для работы пишущую машинку, и скоро родители купили мне электрическую. После этого мои дела пошли в гору. Теперь я мог быстро и качественно записывать свои мысли и делиться ими с людьми, которым они были интересны. К сожалению, тот период времени омрачался частыми переездами с места на место. Тогда я еще не любил переезжать. Потом мне это даже понравилось.

Я изучил несколько языков, стал специализироваться в области мифологии. Это было мне ближе и приятнее, чем все остальное. Мне нравится шокировать бабушек, которые ко мне пристают, отменным знанием предмета. Впрочем, я интересуюсь и точными науками.

Наверное, вам интересно, почему бабушки пристают к человеку, которого в некоторых письмах из-за рубежа называют “доктор”, с

попытками рассказать сказку про репку? И почему я не мог поступить в университет на очное отделение? Ведь я почти совсем здоров, не считая некоторой предрасположенности к простудам.

Я еще не рассказал, что мама попросила у того, кто встретился нам на берегу моря. То существо спросило, что бы я хотел иметь. Но не вещь, а какое-нибудь умение или свойство. Не болеть, например. Оно не объясняло специально, но мы сразу поняли. Я был всем доволен на том участке жизненного пути. Мама об этом знала. Ей тоже было хорошо. Поэтому, когда я предложил ей попросить у того существа что-нибудь вместо меня, она сказала:

— Пусть мы останемся такими, какие есть сейчас. Он, я и наш папа.

Я твердо уверен, существо сразу поняло, что от него хотят. Но, наверно, глядело дальше нас, поэтому удивилось и уточнило:

— Вы хотите вечно сохранять этот биологический возраст?

— Да, — просто сказала мама.

Она не придала значения дополнительному вопросу. А отношение было очень существенным. После этого существо нырнуло, а мы так и не узнали, врало оно нам или нет. Это выяснилось года через три. Мама и папа серьезно измениться, конечно, не могли. А вот я должен был вырасти! Но оставался все тем же пятнадцатилетним ребенком. Через десять лет все подруги завидовали тому, как молодо выглядит мама, а меня лучше было не показывать знакомым. Нормальный, здоровый ребенок, но пяти лет на вид. А мне ведь было пятнадцать. И знал я не меньше, чем сверстники, а даже больше, потому что в их играх участия не принимал, а все больше читал книги. Пятнадцатилетние не будут играть с малышом, каким бы умным он ни был. Вернее, гораздо хуже, когда он умнее. Возиться в песочнице мне, естественно, не хотелось.

В институт без огромной программы исследований (меня, разумеется) я поступить не мог. Да и что после его окончания делать? Нам не хотелось стать объектом бесчисленных опытов. Чтобы люди ничего не заметили, приходилось переезжать с места на место и нигде не задерживаться долго.

Почерк мой никак не хотел становиться взрослым, сколько я ни практиковал. Поэтому электрическая пишущая машинка, где детским пальцам не нужно было слишком напрягаться, была кстати.

За те годы, что я живу на свете, я успел узнать очень многое. Даже больше, чем мама с папой. Им надо работать, а мой досуг не ограничен. Мифология, как я уже говорил, моя слабость или сильная сторона, как посмотреть. Приятно спросить у кого-нибудь, рассказывающего про то, как волк проглотил солнце, был ли это Фенрир, и действительно ли при тех событиях погиб Один? Некоторые люди принимают это за бессмысленный детский лепет, и я

торжествую в душе, знакомые же с предметом решают, что меня воспитывают слишком нестандартно. Если же при обсуждении какого-то математического вопроса (сколько бы ты хотел конфет ежедневно?) я начинаю оперировать понятием дельта-функции Дирака, взрослые приходят в смятение. Они думают, что об этом мне рассказывал папа, и считают его ненормальным. А конфеты я очень люблю, и натуральными числами это не выразить.

Когда меня застают за чтением того же Дирака или Паули, не стоит даже в целях конспирации прятать книгу. Все считают, что я просто листаю страницы. Ребенок не может заниматься теоретической физикой. Все в этом уверены, и я не собираюсь никого переубедить. Тем более, что я, в общем-то, не ребенок.

Иногда я развлекаюсь тем, что пишу рассказы и статьи. С редакциями можно общаться письменно, поэтому туда может обратиться каждый. Таким образом, на конфеты я зарабатываю сам. В рецензиях на мои исследования (в основном теоретические, ведь лаборатории у меня нет) некоторые обращаются ко мне как к "доктору". Степени этой у меня нет, но я не жалею. Мне нельзя ею похвастаться. Я ведь не собираюсь посещать приемы. Это выглядело бы несолидно. Общественное сознание еще не готово. Когда-нибудь потом, может быть. А сейчас мне еще есть чем заняться.

Конечно, я мог бы читать кое-какие курсы в университетах. Но непреодолимым препятствием этому служит мой биологический возраст. Именно биологический. В мыслях я давно стар.

И все-таки больше всего на свете я люблю маму, папу и (это, конечно, несопоставимые вещи) пирожные. Что поделать, других удовольствий, кроме как поесть да почитать, у меня нет. В книгах я не понимаю кое-каких мест. Вернее, понимаю, но только умом. В основном это касается отношений между мужчиной и женщиной. Гормональный баланс не позволяет мне прочувствовать то, о чем там пишут.

Иногда я жалею о том, что не могу вскочить на коня и с тяжелым мечом скакать по дикой степи, защищая добро и карая зло. Впрочем, если вдуматься, поступить так не могу не только я (просто из-за того, что не подниму меч), но и сильные взрослые люди. Прошло славное время, и никто не вернет его, разве что мы сами. Хотя, может быть, то существо могло бы? И мама попросила не то, то надо?

Кто знает... Мне не так плохо читать интересные книги и есть вкусные пирожные. Главное — у меня все впереди. Возможно, я еще встречу то существо и смогу попросить его о том, чего хочу. Или сам научусь делать то, что мне нужно. Не надеяться на чудо, а своими знаниями и навыками прокладывать себе путь в этом мире.

Моему биологическому возрасту свойственны оптимизм, хорошая память и видение гран-

Олег КОСТЕНКО

Ловцы бульдозеров

Вечером, когда все племя сидело у костра, старый Иргве опять разболтался, принявшись, уже в который раз, рассказывать, как приручил в юности дикий бульдозер. Эту историю все племя знало наизусть: он рассказывал ее не реже, чем раз в месяц. Если б старик вдруг запнулся, чего с ним никогда, впрочем, не бывало, мы все могли бы продолжить с любого места.

Но мне все равно нравилось его слушать, да и другим тоже. Старик, рассказывая, здорово подражал то бульдозеру, то своим друзьям. А когда он издал боевой рев бульдозера, маленькая Урсула даже заплакала от испуга.

Под конец Иргве так увлекся, что вскочил с места, изображая, как он ворвался в кабину и, конечно, едва не угодил в костер. К счастью, Уна успела его вовремя перехватить.

А потом Патрик-вождь сказал:

— Пора собираться на охоту.

Мы всегда ночью охотимся. Когда солнца нет, машины ленивей. Дед мой, покойник, говорил, будто без солнца у них батареи разряжаются. Не знаю. Не знаю, что такое "батареи".

Дед, он вообще много чего понимал, у него в палатке даже бумажные книги были. После его смерти их на топливо пустить хотели, но я не дал, как-никак о деде единственная память. Так и лежат у меня. Читать-то меня покойный, слава Богу, выучил, да только в книгах этих все уж больно не понятно.

Ну ладно, собрались мы, значит, я свой плащ нацепил, а под него металлическую кольчугу. На кольчугу мою многие зарятся. Я на свалке автомобиль нашел, совсем новый, ну и содрал с него шкуру. Плащ тоже оттуда, отдрал обшивку с сидений, мать из нее и сшила, даже еще немножко осталось.

Ночь выдалась темная, если кто чужой, то обязательно за что-нибудь да зацепится. Всюду металлолом валяется; племя специально здесь поселилось, чтоб ночью никто незамеченный не подошел — обязательно шум поднимет.

Ну, мы-то свои места знаем, так что шли уверенно. Трассу тележки мы уже давно выследили. Как пришли, разделились — четверо по одну сторону, трое по другую, а поперек самой дороги цепь протянули.

И вот слышим — едет. Сразу чувствуется, что ход хороший: почти новенькая. Ну, мы затаились, ждем. Перед цепью она понятно, притормозила, тут мы и выскочили с разных сто-

рон. Здесь что главное? Главное — сразу на нее вскочить, пока не рванула, ну, а как вскочишь — рви стоп-кран, и все — добыча твоя.

Однако в этот раз тележка попалась больно резвая, мы едва выскочили, как она рванула, да прямо на нас! Я раньше слышал, будто они бывают бешеные, что-то в них там замыкает, и они вместо того, чтоб уходить от препятствия, едут к нему. Вот и у нее тоже замкнуло, она к нам и покатила, да как!

Я едва увернуться успел, а она уже к Ларину мчится. А Ларин никогда особой резвостью не отличался. Ну, — думаю, — все, конец. Вдруг... Что такое? Из кустов луч сверкнул, и прямо в тележку, в переднюю ось, ну, тележка и рухнула набок.

Мы стоим, как болваны, ничего не соображаем, а из кустов двое выходят. Одежда блестящая, я и не знал, что такая бывает. У одного в руках лазерный пистолет. Я сразу понял — пистолет это, хотя никогда их не видел, в детовых книгах рисунок был.

Все, понятно, застыли: черт его знает, что им в голову взбредет. Против пистолета мы, все семеро, ничто. Уже потом дошло: не хотят они нам зла причинять. Иначе зачем, скажите, им Ларина спасать? А они стоят спокойно, пистолет спрятали и руки с открытыми ладонями вперед протягивают — всем понятный знак мира.

Потом один из пришельцев, он был повыше, засмеялся:

— Что ж, так и будем молчать? — говорит. — Давайте знакомиться. Меня зовут Дмитрий, а его, — на спутника указывает, — Жан. Мы пришли как друзья.

Мы подошли, тоже назвали.

— Будем рады принять вас в деревне, — говорит Патрик-вождь.

Те и не отказывались. Они ж сразу видно, издалека, все равно здесь ночевать придется.

Домашние, правда, перепугались, как гостей увидели. Женщины, чего с них взять. Но мы им быстро все разъяснили, как-никак Ларин этим двоим жизнью обязан.

Накормили мы их и давай спрашивать: кто такие? Откуда? Как это среди людей водится. Упрашивать не пришлось, Дмитрий с Жаном сами разговорились. И наплели такое, что сам старый Иргве стал поглядывать на них с завистью.

Говорили, будто раньше, очень давно, все машины подчинялись человеку, и был тогда золотой век. Но люди хотели жить все лучше

и лучше и создавали все больше и больше машин. Постепенно машин стало так много, что для пищи не осталось места. Впрочем, они кажутся, говорили не "пища", а "природа", если я не путаю.

Тогда начался голод и великий мор, погибло очень много людей, в том числе почти все из тех, кто управлял машинами. Постепенно машины разладились, программы их нарушились. Они взбунтовались против власти человека, образовали подобие биоцинозов, свою элект-

ронную экологию. Про биоцинозы я, правда, опять не понял. Но остались места, где люди сохранили древние знания и хотят вновь возродить власть предков над машинами.

Многие наши смеялись, а я... нет, Вспомнились мне тут дедовы книги. Раньше-то я в них ни черта не понимал, но сейчас, после этих рассказов, подумал: во многих книгах золотой век этот самый похоже описан. Может, эти двое ничего и не выдумывали? Может, все это правда?

Виктор МЯСНИКОВ

Загарай

Над речкой текучей, над песком горячим, на яр-круче, на трех дубах, на четырех столбах лежит гнездо птицы Загарай. Все так, как бабка Яга сказывала. Утер Ванька пот со лба, поправил на плече дубинку, смолен-кряж, и — в гору. Ишь, потешались — Ванька, де, дурак. А вот вам! Сила есть — ума не надоть! Видел он в пути: валяются белые косточки разных умников, ржавеют булатные кладенцы, ржут одичалые сивки-бурки, а ему хоть бы хны. Навернул промеж рогов дубинкой, так и уложил Тура троеглазого. А медведя рыжего как отходил! Небось ни одного ребра целого. Яга это, хромая, туда же: к Ивану задом, к лесу передом. Как он кряжем по куричьей лапе хрястнул, так и заскакала на другой. Смехота! Избушка скачет, кудахчет, а внутри нее бабка Яга летает, костяной ногой брякает, медным лбом стучает.

Под гнездом смрадище, напакощено. Кости валяются, комья шерсти непереваренной, помета целые горы наворочены. Ну да Ваньке не привыкать — на скотном дворе вырос. На дубинку избоченился, огляделся, стал припоминать, что еще Яга сказывала. Значит, раз в три года выкармливает птица Загарай птенца. А змей ползучий норовит этого птенчика заглотать, пока мамаша летает да пищу добывает. Ежели этого змея ползучего вовремя пришибить, а птенца спасти, то птица Загарай любое желание выполнит. Снесет, стало быть, Ваньку в Подземное царство и научит, как кощеёвы богатства добыть. "Только вовремя! — кричала вслед старая. — Слышь, Ванька, вовремя!"

Но не было вокруг ни змея, ни даже крысы. Вдруг послышалась наверху возня, писк. Упал сверху птенец. Здоровущий, ростом с дворнягу. Весь в синей коже складчатой, лапы вращопырку, на голых крыльях едва перья прорезались. Глазенки щелками смотрят, еще не раскрылись, как следует. Съехал птенец гузом с кучи, забарахтался. Голова большая с клювом широченным на тонкой шее не держится.

— Эх, ты, цапленок! — пожалел его Ванька. Отряхнул, сколь мог, взвалил на плечо и на

дуб полез. Долго ли, коротко ли, добрался до гнезда. А там еще пятеро таких же синих бодаются. Глаз открыть не успели, а так и норовят единоутробных братьев прочь вытолкать. Кто грудью костлявой лезет, кто крылом тычет. А один задом пихается, да так ловко, что у Ваньки на глазах еще одного цыпленка наружу выронил. Посадил Ванька спасенного птенца в середину гнезда и скорее вниз. Взмок весь, но втащил и этого. Глядь, а в гнезде всего двое осталось. Где еще три? Чертыхнулся, да вниз полез. Одного в суму запихал, двух лапами связал, через плечо перекинул. Быстро вскарабкался, уже все сучки на память знал. Сел в гнездо и давай всех в кучу сгонять, чтоб больше не выпадывали.

Вдруг потемнело вокруг. Налетела птица Загарай, крыльями свет затмевая, вихрь нагоняя. Закачало дубы, заскрипело гнездо, перекрестился Ванька. Села птица Загарай на край гнезда, посмотрела сверху черным глазом искося да и говорит:

— Я тут за море лечу, добычу ищу, а ужин в гнезде валяется, на солнышке разогревается.

Запищали, загомонили птенцы, широченные пасти разинули. Да малы еще, не могут мамаше объяснить, что Ванька их спас. Пришлось самому за себя слово замолвить.

— Ты что, такая-сякая! Я твоих, понимаешь, детишков по дубам тягаю, в гнездо сажаю, с сырой земли подбираю. А ты, неблагодарная, съест меня норовишь!

Призадумалась птица. А потом и спрашивает: — Кто же ты будешь, из каких краев? Как зовешься-прозывается?

— Я Рязанской земли богатырь. Звать Иван, а прозывается... — Тут засмутился Ванька, зачесал в затылке. — В общем, Дураком прозываюсь. Но это временно, пока царем не сделался.

— Что ж, благодарствуем тебе, Иван-дурак, да сам рассуди: нешто мне такую прорву одной прокормить? Так что не обессудь, коли сам такой дурак выискался.

Только и успел Ванька пожалеть, что не вов-

ремя дубинку внизу оставил. Разорвалá его птица Загарай и давай птенцов кормить. Тут они и толкаться перестали.

Приволокся змей ползучий под дубы, долго шарился в смердячих кучах, раздвоенным языком елозил, да так и уполз не солоно хлебамши.

А недалече на зеленом взгорке, на солнечном причелке, в травяной заплотке зрил исподтишка в дальноглядную трубу Михайло-царевич.

— Вот, блин, кака фортуна, — только и вымолвил.

Потом задвинул трубу в футляр сафьянный и раскрыл книжицу латинскую. "Зверолюбивый

Брэмс" называется. Наслюнив палец, отсчитал нужное место, перечел наново.

"Раз в три года сей Загаранус высиживает птенцов числом от четырех до осьми. Оные птенцы вельми прожорливы и корму требуют великое множество. Посему самый сильный детеныш, всех протчих от гнезда изринув, весь корм поедает, быстро произрастает и матерет. И до той поры, пока птенцов сохраняется более одного, всякое приближение к гнезду вельми опасно".

Михайло-царевич облизнул карандашик и против читанного места на полях приписал: "Сие истинная правда".

Альберт ЗЕЛИЧЕНОК и Елена БУРМИСТРОВА

Пленник

Я не знаю, сколько мне лет. Порой я кажусь себе бесконечно старым, старше пирамид, камней Стоунхенджа, петроглифов, динозавров и даже гор и морей. Но чаще у меня возникает ощущение, что мне не более десяти, от силы — пятнадцати лет. Во всяком случае, моя память не позволяет проникнуть в прошлое далее. А между тем во сне я вижу картины совсем иных времен, и они до того реальны, что я не могу считать их лишь порождением больного мозга. Хотя я, конечно, в самом деле болен и вполне осознаю это. Большую часть времени я провожу в полубреду, грежу наяву, и странные существа проплывают передо мной, сплетаясь в удивительных сочетаниях, порой омерзительных, порой прекрасных.

Виной тому миазмы, исходящие от промозглых стен моего обиталища. Дело в том, что я живу в заброшенном склепе. Я не помню, как оказался в нем, и не знаю, сколько еще мне здесь находится. По-видимому, всю жизнь. Я привык к виду пожелтевших черепов, фаланг и берцовых костей, к неизменному запаху тления, шуршанию могильных червей, треску иссохших ребер под моей голой ступней. Я не боюсь скромных призраков, изредка посещающих места успокоения своей брэнной плоти. Меня не раздражают пронзительные крики нетопырей, живущих в самом темном углу моей кельи, в том углу, где в прогнившем гробу лежат кости моего отца. Да, у меня был отец, я смутно помню его. Вчера или месяц назад... или год назад (время — такая странная субстанция, невозможно понять, когда что было, да и движется ли оно?) я видел его во сне вместе с моим прапрадедом Йедадахом. Они несли куда-то ребенка лет пяти, он плакал и брыкался. Кажется, этот мальчик теперь лежит в гробу отца... не знаю. Я не заглядываю туда, да и младенец наверняка давно мертв. К тому же это далеко не первый младенец, похищен-

ный отцом. Бедный отец, я знаю его историю из его собственноручных записок, да и черный кот Балор, часто навещающий меня, кое-что рассказывал о нем. Несчастный не выдержал добровольно принятого обета безбрачия. Увы, я не могу поблагодарить его за мое рождение. Во всяком случае, я не повторю его ошибок.

Наверху, на самой вершине шатрообразного потолка склепа, прорезано единственное окно, заделанное толстым стеклом, сквозь которое внутрь проникает скудный свет. Прямо под окном стоит просторный мраморный стол, заваленный книгами — моим единственным богатством. Видимо, они достались мне от отца. Я ощущаю неописуемое блаженство, когда касаюсь изъеденных временем кожаных переплетов, золоченых застежек, ветхих страниц. Библия восемнадцатого века. Иллюстрированные гравюрами "Странствия пилигримов" того же времени в изданиях знаменитого составителя альманахов Исаяи Томаса. Редчайшие записки Пигафетты, повествующие на латыни (довольно посредственной) о странствиях по Конго некоего моряка Лопеса и изданные во Франкфурте в 1598 году; гравюры в этой книге отличаются подробностью и удивительной для средних веков натуралистичностью, особенно в наиболее омерзительных деталях. "Некромикон" сумасшедшего араба Аль-Хазреда. Невразумительные "Размышления об осьминогомоллом боге Ктулху" Льва Бен-Купера. Заглатневевший огромный том "Magnalia Christi Americana". И многое, многое другое.

Мне не требуется их читать. За прошедшие годы (десятилетия?) я столько раз проштудировал каждый фолиант, что теперь достаточно закрыть глаза и положить ладонь на раскрытую страницу, как она возникает перед моим внутренним взором и я вижу все, до последней точки, пятнышка, завитушки, оставленной виртуозом-переписчиком. А потом я снимаю руку

с книги, и грезы увлекают меня в иные времена, чуждые пространства, незнакомые края. Мой склеп — келья, однако не тюрьма, я в любой момент могу выйти отсюда, но к чему? Что особенного я могу увидеть там, снаружи, когда книги и фантазия способны унести меня куда дальше, чем любой корабль или повозка. Множество дорог открыто передо мной, но меня манит одна — в мир темный, подземный, страшный. С каждым днем я продвигаюсь по ней все дальше и дальше и когда-нибудь не вернусь назад, но я не боюсь смерти. И встает над равниной черная башня с заключенным в ней кошмарным узником, и склоняются над древними папирусами некроманты, и из заброшенных лабиринтов выползает липкий ужас, и льется кровь в старинных особняках, и совершаются фантастические злодеяния в благопристойных домиках обывателей. Вурдалаки и упыри подстерегают в ночи одиноких путников. И мой отец переворачивает череп колдуна и в смертной тоске приносит свою напрасную клятву.

А когда жилы в мозгу уже готовы лопнуть от порожденных им фантазмагорий, я хватаю перо и пишу, пишу, пишу, выплескивая на бумагу то, что терзает, жжет, опьяняет душу. Время от времени приходит некто, кого я называю Издателем, сам не зная почему. Он стар, сгорблен, он похож на скрюченное и сморщенное

подобие меня самого. Издатель — единственное материальное существо, которое навещает меня. Он забирает мои записи. Я не знаю, что он делает с ними. Он никогда не дает мне денег — да и зачем они мне? — но он приносит чистую бумагу, чернила, свежие перья, еду, изредка одежду, а это все, что мне нужно. Если у меня иссякает бумага, я мучаюсь неимоверно, но потом Издатель доставляет новую, и я вновь пишу. Бывает, что воображение отказывает мне, я впадаю в отчаяние и боюсь, что Ад отрекся от меня и лишил своих жестоких даров. Тогда я подхожу к завешенному тряпьем зеркалу, которое стоит у стены справа от прикованного цепями скелета, и всматриваюсь в его гладкую полированную поверхность. Мое зрение невероятно обострилось в вечном полумраке склепа, и мне удастся увидеть свое отражение и — глаза, в глубине которых клочечет безумие и еще нечто — страшнее. Боль, ужас, тоска, омерзение наполняют все мое существо, и фантазия возвращается, дабы причудливыми видениями смыть с памяти ту единственную реальную картину, которая доступна мне, мою тайну и мой позор. Образы вновь роятся вокруг, и я спешу к столу, лихорадочно хватаю чистый лист, окунаю перо в чернильницу и прежде, чем начать очередной рассказ, крупно вывожу в правом верхнем углу свое имя: "Говард Ф. Лавкрафт".

Аэлита — 94

Фантастика "Уральского следопыта"

СОДЕРЖАНИЕ

1. Геннадий ПРАШКЕВИЧ. Приговоренный. Повесть	1
2. Александр ГРОМОВ. Нарботка на отказ. Повесть	39
3. Сергей ДРУГАЛЬ. Закон равновесия. Рассказ	109
4. Конрад ЛИНЦ. Свет и кровь Галагара. Главы из романа	119
5. Говард ЛАВКРАФТ. Таинственный высокий дом в тумане. Рассказ	138
6. Валентин МОИСЕЕВ. Спасатель. Повесть	143
7. Иван АНДРОЩУК. В лабиринтах Инфора. Повесть	183
8. Дмитрий БАЮШЕВ. Чистый разум. Повесть	215
9. Василий ЩЕПЕТНЕВ. Кормить зверей воспрещается. Повесть	235
10. Валерий ГАПЕЕВ. Микроб на лысине. Рассказ	264
11. Владимир ПОКРОВСКИЙ. Отец. Рассказ	272
12. Александр АНДРИЕНКО, Роман ЕРИМЕЕНКО. Черно-белое. Рассказ	280
13. Михаил НЕМЧЕНКО. Гостиеньки из мироздания. Вылазка в мрак. Рассказы	285
14. Евгений ГАРКУШЕВ. Биологический возраст. Рассказ	289
15. Олег КОСТЕНКО. Ловцы бульдозеров. Рассказ	291
16. Виктор МЯСНИКОВ. Загарай. Рассказ	292
17. Альберт и Елена ЗЕЛИЧЕНОК. Пленник. Рассказ	293

Алексей КУЗИН

Нас не разъяли и не обрekli...

Наставление к хождению над бездной

В. К.

Не знаю, кто сумел ее забыть,
Иль он — запас в расчете строгом,
Труба длиною в пять минут ходьбы,
Почти в лесу, за кольцевой дорогой.

Там новострой, и пешеходный бум,
Там летом — сапоги, зимою — лыжи.
И только мы взобрались на трубу
И шли, как все, но в стороне и выше.

И думаешь, чуть вбок, чуть высоко,
Паря руками над трубой железной,
Мы просто так прошли шестьсот шагов?...
На самом деле... мы прошли над бездной.

Теперь ты знаешь, бездна в стороне,
За кольцевой, над лесом, над веками.
Шагай себе смелей, и только не...,
Не отступайся и пари руками.

Два зеркала

След лодки режет зеркало пруда.
Опережая звук, ползет полоска,
Осталось меньше трети, и тогда
Качнется небо, разлетятся сосны,
Все пополам: и глубь, и высь, и берег —
Пройдет не звон через полмира — скрежет.
Но человек — осталась четверть — режет
За взмахом взмах, беспечный человек.
Осталось три-четыре взмаха,.... ну...
Он ужаснется.
Я не ужаснусь.
Не потому, что водный шрам недолог, —
Во мне мой мир давным-давно расколот.

Все так же шло, как лодка, не скорее,
Все позади, я жив, и я один.
И что, я обделен? О да, я бренюсь
В одной из полукруглых половин

* * *

Как отражается мираж от облаков,
Так отразится свет от антинеба,
И мы увидим хронику веков
На полотне распаханного снега.

Уже летели суетно и зло
Косые взгляды в освещенный сектор,

И гуманист-механик НЛО
Рванул руля и погасил прожектор.
Остановилось время.
...Время шло.

* * *

В. К.

Совсем недолго — и для новых глин
Меня сомнут. Светло от этой чести.
А ты ищи вперед годов на двести
Отраду на поверхности земли.

Благословенно место, где мы шли
Сто лет назад, когда мы были вместе.

День, лето, лес... Такую акварель
Храню с тех пор, и не скажу о месте,
Где ты хотела посмотреть, как ель
Пускает ветки... Мы смотрели вместе,
Совсем недолго... После новых глин
Я не явлюсь, но буду где-то близко.
Нас не разъяли и не обрekli...
Тайком сходи к зеленым обелискам.

Благословенно место, где мы шли.

Обольщение

Ты укроешь себя паутиной одной
Или в платье от мочек до пят,
Я готов обратиться в столб соляной,
Засмотревшийся на тебя.

Я не знаю, наденешь свой мини-наряд
Или встретишь лучами щек,
Обреченно сетчаткою глаз горя,
Я хотел бы смотреть еще.

Не высокий, не близкий и не святой...
Неужели позволишь мне
Или малый шаг, или краткий вздох
Или миг — не обнять сильней...

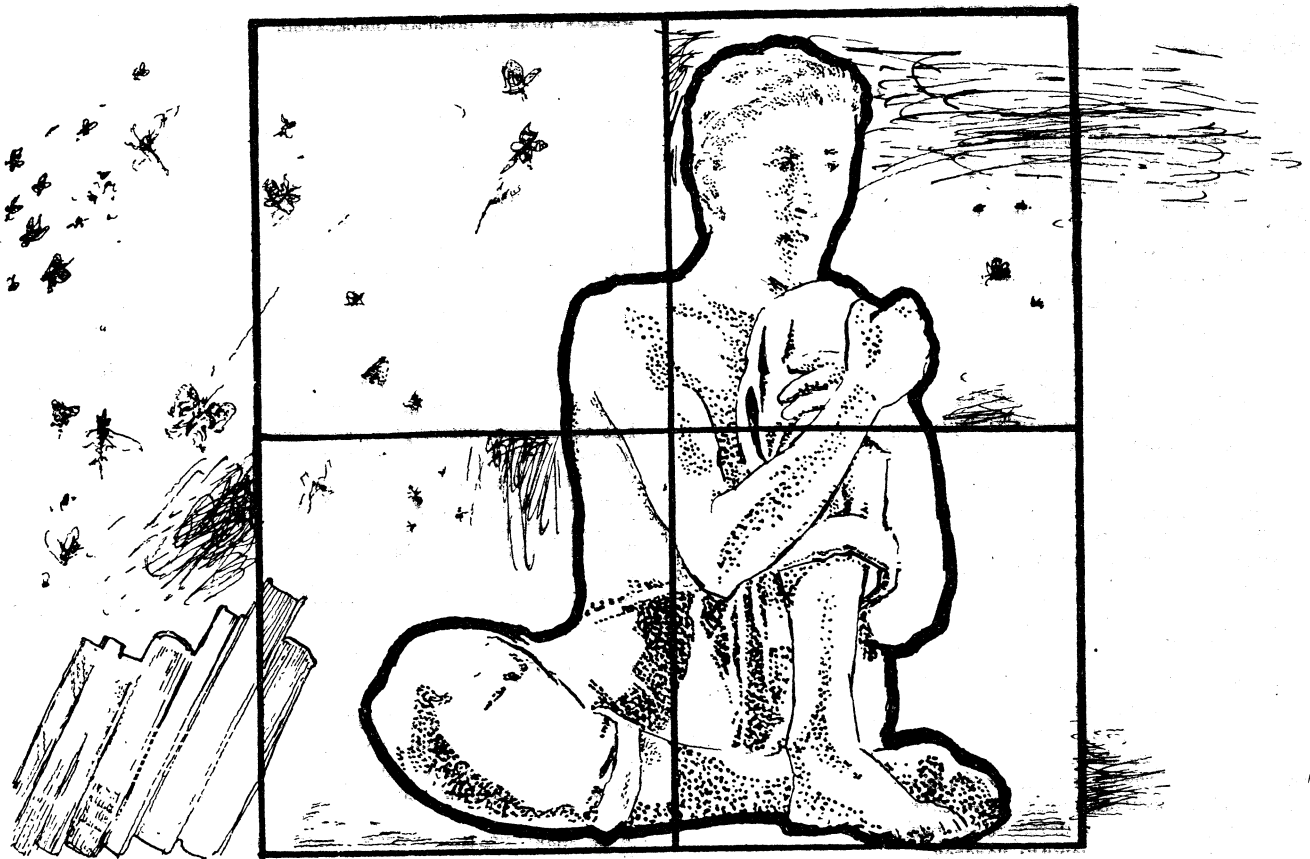
Если ты на полмига обнимешь сама
И отменишь дозоры глаз,...
И проводишь меня, и тебя туман
Охладит от всеночных ласк.

Елена МАТВЕЕВА

ВЕДЬМИНЫ КРУГИ

Повесть

Рисунки В. ГАНЗИНА



16

Весна приходит незаметно, на цыпочках. И многие ее сразу не примечают. Зато те, у кого чувства обострены ожиданием, сразу чувствуют: свет прозрачный, воздух дрожащий, солнце весеннее — невинное и бестыдное. И запах. Снегом пахнет, а зимой снег запаха не имеет. Февраль на улице. Превращения весенние еще впереди.

Небо без единого облачка, пронзительное. Такое ярко-голубое, что кажется зернистым. И ветки тополя желтеют на этом голубом. Их почки, раздвоенные копытца, полны смолы и силы, готовы взорваться.

Окончание. Начало в № 10, 1994.

Хорошо я жил до весны. Как сказала бы моя бывшая соученица Маркова: на душе у отличника был покой, и потерять свое благополучие он ничуть не боялся. Вот же втемяшилась в башку Маркова! Я ни разу не был в родной школе, хотя специально поехал, чтобы посмотреть на нее с улицы. Я по Лешке скучал. Вернее, грустил. Осталась легкая грусть, которая с приближением весны и прибавлением солнечного света становилась все легче, легче, грозя перейти в невесомость. Я не подстерегал его, честное слово. Я встретил его у нашего старого дома. Вроде он обрадовался, мы даже засмутились и не знали, о чем говорить. Лешка уверил меня, что налегает на учебу и намерен кончить школу без троек.

Сказал, что ему приятно меня видеть. Наверно, я оставил в его душе такую же легкую печаль, как он в моей. Я записал ему свой новый адрес, с тем и расстались. Видно, и в самом деле, дружбе конец.

Я теперь думал о Москве, об университете, но тут встал вопрос: куда деть Динку? Мама была категорически не согласна оставить ее дома, если я буду жить в Москве. С собой взять? Мне популярно объяснили, что в общежитие с собаками не пускают, а снимать комнату в Москве очень дорого. И как увозить Динку из дома, если она ходит на кладбище, как на работу. Думать обо всем этом было противно и не хотелось. Как-нибудь все устроится. А может, Марьяна Динку возьмет?

17

Утром я услышал, как капель вызывает по подоконнику. Солнце бьет в окно. Вот теперь-то любой заметит: весна!

Веточки березы унизаны капельками воды. Дрожат, переливаются капельки. Дерево, как драгоценная люстра с хрустальными подвесками.

Мы с Марьяной едем во Дворец культуры, чтобы посмотреть выставку мод. Но выставка, на которую стремилась Марьяна, закрылась, и я не расстроился. Мы стали бродить по залам. Дворец культуры — в бывшем барском особняке: кругом лепнина, большие окна, а между ними зеркала.

Сквозь серые, еще невымытые стекла солнце сочит свет на зеленоватый паркетный пол. Женщина в вишневом бархатном платье поет арию. Мы пришли сюда на голос, да так и застыли в дверях. А она, допев, стала прохаживаться от рояля к зеркалу. "Я совсем сплю, — говорит непонятно кому, потому что аккомпаниатор ушел, а нас она из-за колонны не видит. — У меня еще спят все мышицы. Нечем петь, — говорит женщина и массирует живот у зеркала, потом рассматривает выставленных в стеклянных витринах кукол и восхищается: — Замечательно. Это прелесть!" А из-за стены несутся магнитофонная запись: "Затопа ты-ы мне бань-ку по-белому-у..."

Тут Марьяна прыснула, мы стали давиться сдерживаемым смехом. Нам хотелось посмотреть на кукол, но пришлось ретироваться, и мы убежали, топя, как лошади.

Еще ходили по залам, поднялись по лестнице и видим: огромное окно, а за ним плоская крыша, как терраса. Сверху ее наполовину прикрывает каменный козырек. Мы толкнули раму, переступили узкий подоконник и оказались на замечательной свалке. Здесь стоят несколько гипсовых бюстов с обитыми носами и облупившейся побелкой, два великанских Деда Мороза и ободранная Снегурка из папье-маше. Картины навалены, стенды, плакаты на деревянных щитах, старая мебель — стулья и диван с обтрепанными и порванными шелковыми сиденьями. А поодаль расхажи-

вают голуби, взлетают и приземляются. Где-то здесь живут.

Тепло, даже жарко, ведь мы еще не вылезли из зимней одежды. Расстегнулись, сняли шапки и рухнули на старый шелковый диван с округлыми подлокотниками.

Я не думал ее целовать, а если бы подумал, то, наверно, не решился бы. Но я ни о чем таком не помышлял, просто ее лицо оказалось совсем близко. Весна разукрасила его веснушками, они были даже на губах. И то, что веснушки вспрыгнули на губы, как будто преступили запретную черту, делала Марьянино лицо необычайно милым, трогательным и беззащитным. Не знаю, как это началось, я смотрел, смотрел на веснушки, вдруг потянулся и поцеловал, чуть дотронулся до ее губ. Она не отстранилась, я опять поцеловал. И тогда она крепко обвила мою шею руками, и мы так поцеловались, что поплыла солнечная крыша с покачивающимися Дедами Морозами и Снегурочкой в дальнее плаванье. Потом я куртку сбросил, а она пальто, и мы целовались не знаю сколько времени. И все плыли-плыли под весенними парусами под шелест голубиных крыл.

18

Это — любовь. Теперь я думал о Марьяне очень даже часто. А о Лешке перестал думать. И теперь меня совсем не устраивало просто видеть Марьяну, мне постоянно хотелось уединиться с ней.

Когда мама увидела Марьяну, она пришла в ужас.

— У нее лицо, как перепелиное яйцо! (Это про веснушки.) В старости она превратится в жабу!

Я не помню, чтобы когда-нибудь впадал в ярость. А тут физически почувствовал жаркую сухую волну гнева, которая прокатилась по телу.

— А мне нравится, — сказал я чуть слышно. — Мне нравится ее лицо. И прошу больше не обсуждать ее лицо! И старость меня не волнует! Мне нравится! — прокричал я и выскочил из комнаты.

Я сидел у себя и цедил сквозь зубы: "Всех ненавижу, всех ненавижу, всех ненавижу..." — пока не опомнился. Кого это я ненавижу? Чуть как-какая. Я люблю Марьяну. Я люблю свою мать. Что бы мать не сделала — я ее люблю. Правда, мне совсем не нужно, чтобы она непременно была рядом. Рядом пусть будет Марьяна.

После маминой критики Марьянино лицо не стало для меня хуже. Я трогал пальцем веснушки на губах, я тащил ее в подъезд от людских глаз. Она смеялась и не шла, а потом шла, и мы целовались так, что казалось, растворимся друг в друге. Даже страшно становилось, я уже понимал, что нельзя переходить определенную черту, я же за Марьяну отвечаю. Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил...

Марьяне понравилась моя мать. Она сказала про нее:

— Красивая и уверенная в себе женщина. И сразу видно, счастливая женщина. И дом у вас очень хороший. Я не мебель, конечно, имею в виду...

К себе Марьяна меня не звала, сказала, что ее мама против того, чтобы к ней ходили мальчики.

— У нее испорченное воображение, она считает, что мальчишки приходят в гости только с определенной целью, — сказала Марьяна и засмеялась. — Глупости, хотя относительно тебя — в точку.

— Ну, это ты слишком, — обиделся я. — За кого же ты меня принимаешь?

— Шучу! — закричала она, толкнула меня в бок и помчалась по набережной, а я за ней, и Динка с нами понеслась с лаем.

— А можно к тебе зайти, когда мама на работе? — спросил я потом.

— Разумеется, нет. Соседи увидят, а еще и напридумывают с три короба.

19

Я был у Марьяны...

Шли осторожно. Сначала она миновала длинный, крашенный зеленой масляной краской коридор, открыла дверь в комнату, тогда и я прошмыгнул. Мне казалось, мы играем в конспирацию. Но так было интереснее: красться, возбужденно смеяться, затыкая друг другу рот, воображать опасность. Впрочем, как знать, может, злонамеренность соседей и не была выдуманной?

Комната меня поразила. Мне претит роскошь, комнаты-музеи, но здесь было не просто бедно или скромно, а убого, неуютно. Мы ведь тоже жили в старом деревянном доме. А тут не живут, квартируют, что ли... Нет духа обитателей, духа Марьяны — таинственно-неуловимой, необычной, оригинальной.

У двери, поперек комнаты, высился платяной шкаф, выгораживая угол с кроватью. По краям шкафа восседали две куклы с поблекшими физиономиями, в выгоревших от солнца платьях. Стол, накрытый клеенкой, четыре стула, тумбочка с радиоприемником и письменный стол у окна со стопками книг, по большей части учебных. А других книг и нет.

Я ходил по комнате. Наверно, я должен был что-то сказать? Я припер Марьяну к горке подушек на кровати и полез обниматься. Не всерьез, подурчиться хотел. А она решила, что я взаправду.

— Ты что? — говорит. — С ума сошел?!

— А что такое? — притворно удивился я, удерживая ее. — Разве мама тебе не говорила, зачем мальчики ходят к девочкам?

— Пусти, дурак! — взвизгнула она, влепила мне пощечину и мгновенно затихла — испугалась — и почти так же внезапно начала целовать меня в щеки, лоб, глаза, как сумасшедшая. И тут мы оказались на кровати. Я знал, что надо сейчас же

встать и уйти, но уже не мог этого сделать, тонул и понимал, что никто не спасет. Но раздался стук в дверь, и она заскрипела, открываясь.

— Мара, у тебя чайник на плите паром разрывается! — сказал женский голос. А Марьяна уже выходила из-за шкафа. Она не стала пригладивать волосы и оправлять платье, она на ходу ставила его через голову и, по всей видимости, пыталась не пустить женщину в комнату дальше шкафа.

— Иду, — сказала она совершенно обычным натуральным голосом. — Я переодеваюсь.

Затаившись на постели, я провел там неприятные минуты, пока не скрипнула, притворяясь, дверь и не раздалась удаляющиеся шаги и голоса. Встал, разгладил постель и встряхнул подушки, заправил выбившуюся рубашку, одернул свитер и причесался пятерней. Когда у двери послышались шаги, на всякий случай скрылся за шкафом. Но это была Марьяна во фланелевом халатике.

— Идиотка! — непонятно про кого сказала она. — Я же чайник не ставила! Это не мой кипел! — Помолчав, она предложила: — Хочешь пюре с котлетой?

Мы были немного смущены, держались на расстоянии и поначалу не знали, о чем говорить. Потом стали посмеиваться друг над другом и, кажется, появилось у нас взаимное облегчение, что ничего у нас не произошло. Все равно случится, этого не миновать, но хорошо, что не сегодня, не сейчас, потому что солнце заглянуло в комнату, и можно снова быть беспечным, как первокурсники.

Я съел противную жирную котлету, с трудом запихнул в себя. А к тому времени заметил, что комната мне уже не кажется такой неприятно-унылой. Может, с солнышком повеселело вокруг или обжился я здесь?

Марьяна рассказала, что ее мать разошлась с отцом. Марьяна не видела его семь лет. Под газетой, в ящике письменного стола, чтобы мать не нашла — она хранит его старую фотографию. Тут же она добавила, что по отношению к отцу не испытывает никаких сентиментальных чувств.

На армейской фотографии, заломив фуражки, стояли два разухабистых солдатика, и если бы она не показала, который отец, ни за что не отгадал бы. Я поразглядывал эту фотографию, потому что понимал — мне оказано особое доверие. И тут случилась очень неприятная штука, которая все перевернула и поломала. Когда Марьяна убирала фотографию, под газетой блеснула тоненькая цепочка с эмалевой висюлькой...

Не знаю, лучше ли, хуже ли, то, что я ее увидел? Правильно или нет, что ничего ей не сказал? Такая цепочка исчезла у моей матери, а хватилась она дня через два после прихода к нам Марьяны.

Может, это и не та, а такая же цепочка? Я сомневался, потому что не хотел, чтобы была та. И в то же время я знал, я хорошо разглядел: это

она, та самая, ведь именно потому я и не подал виду, что заметил.

Марьяна предлагала пойти гулять с Динкой, но я отказался под каким-то неуклюжим предлогом.

Вечером я спросил маму:

— Не нашлась твоя цепочка?

— Как сквозь землю провалилась, — сказала она и, как мне показалось, испытующе посмотрела на меня.

Пусть бы сегодняшнего дня совсем не было. И ничего бы я не знал. Но вспомнился длинный зеленый коридор с деревянным дощатым полом и куклы в блеклых платьях, сидевшие раскоряками на шкафу, и постель с горой подушек, где я блаженно и мучительно, как во сне, тонул... Нет, и теперь это не представлялось мне нечистым или случайным, но все-таки все было испорчено. Я еще раз перекрестился, что ничего у нас с Марьяной не случилось. Но не смешон ли я, когда считаю, что главным образом за все в ответе я? Наверно, это неправильно и вообще — не мужская психология...

На другой день я сторонился Марьяны, а она, казалось, не замечала этого. Нежели у нее не закралась мысль, что я мог увидеть цепочку? И снова — та ли это цепочка? И опять — та, та, которую мать не может найти!

И все-таки даже про себя мне невозможно было назвать ее "воровкой". И думал я — "зачем взяла...", а не "зачем украла..."

20

Зимой Динка реже ходила на кладбище, и я решил было, что она отвыкает от этой привычки. Но повеяло весной и теплом — хождения возобновились с прежней регулярностью. И я проведаль могилу друга после зимнего перерыва.

Мне нравится наш район, и я жалею, что город наступает на частный сектор. Но даже в таком "дачном месте", как наше, кладбище — уголок природы. Здесь много деревьев, а потому много птиц.

Синицы по весне звенят оглушительно и победно. Первых скворцов я увидел на кладбище. И зяблика здесь же услышал, у них сначала прилетают самцы, чтобы застолбить место. Здесь же я наблюдал, как появились проталины, на которых быстро просыхает прошлогодняя трава, как лопнули почки на осине, и выползли кончики серых толстых сережек.

Я принес корм для птиц и рассыпал вокруг раковины. Подошла женщина, которая ухаживала за соседней могилкой. Мы поздоровались, и она говорит:

— Хорошо, что я тебя встретила. Тебе тут бабушка записку оставила с адресом.

— Какая бабушка? — удивился я.

— Твоя, — говорит женщина и протягивает мне сложенную тетрадную страничку. — Здесь город-

ской адрес, по которому она гостила, а это ее домашний — она живет в Талицах.

— А почему вы решили, что это моя бабушка?

— Она увидела, что дорожка к могиле протоптана, вокруг расчищено. Я ей описала тебя и собаку. Она сразу сказала: этой мой внук.

— Я же вам говорил, что к могиле меня привела собака, — объяснил я, но бумажку с адресом все-таки взял.

Это была родственница Румянцева, приезжала на годовщину смерти. Не знаю точно, когда он умер. На памятнике написано — март, а числа нет.

К Марьяне я заметно поостыл. Неделю виделся с ней только в школе. А в воскресенье, гуляя с Динкой, то ли случайно ее встретил, то ли она подстерегала нас. Пошли вместе на кладбище, чинно посидели на скамейке у могилы, потом шли по дорожкам, и она стала читать свои стихи. Мне не хотелось слушать, я не верил ей. Унизительно, когда тебя нахально обманывают, а еще хуже, если подозреваешь, а точно не знаешь — врут или нет.

Марьяна спросила про дом с мансардой, где жил Румянцев.

— Давай туда съездим, — говорит.

— Теперь это чужой дом, и живут там чужие люди, — сухо ответил я.

Она лжет, я лгу, теперь еще не хватало мне что-нибудь у кого-нибудь стянуть.

21

На весенние каникулы Марьяна с матерью уехали в дом отдыха, и я задышал свободнее. Про ее поездку я знал давно и лелеял авантюрную идею: приехать туда, подкараулить, когда она будет одна, и внезапно предстать перед ней. Я сочинял эффектные детали своего появления и вообще был в восторге от своего плана. Разумеется, теперь я уже не собирался ехать к Марьяне. Перебьется.

Я записался в городскую библиотеку, потому что в районной перечитал весь раздел биологии. Новая библиотека в центре, на улице Пушкина. Я взял интересные книжки, читать их начал, как вдруг, будто подтолкнул меня кто: городские родственники Румянцева тоже на улице Пушкина живут. Стал искать бумажку с адресом — нету. Неделю я о ней даже не вспоминал, а тут выворачивал все карманы, перерыл ящик стола — вдруг туда сунул. И нашел — в старых брюках, среди скатанных в рулики автобусных талонов.

Правильно: улица Пушкина, 5. Это почти напротив библиотеки, немного подальше.

Я решил съездить к ним, познакомиться. Наверно, я нехорошо сделал, что забрал чужую записку с адресом. И хотя внук той бабушки на могилу не ходит, она-то думает, что записка попала к нему! Она его ждет!

Я почему-то волновался. Когда Динка подошла

ко мне, я зажал ее бока между коленей, погладил по голове и пообещал: "Завтра я с ними познакомлюсь. Я все узнаю. И про него, и про тебя". Динка смотрела на меня внимательно. Глаза у нее, будто черной краской обведены. Так женщины красятся.

22

Пятый дом на улице Пушкина — дореволюционный, каменный, массивный. Над первым этажом рельефы: женские рожи в кудрях-рогаликах перемежаются с мужскими, длинными, со зловеще изогнутыми губами, со взбухшими желваками между бровей. Над вторым и третьим этажами — бордюры из цветов. Стебли вьются, как змеи. Четвертый и пятый этажи, видимо, достроены позже.

Я стоял на противоположной стороне улицы и смотрел на окна, идти к родственникам Румянцева мне расхотелось. Сдрейфил. А вдруг Румянцев окажется не тем, кем я его воображал? И не только это. Просто здесь меня никто не ждал и, возможно, мой приход окажется бестактным.

Я постоял на лестнице у окна, которое выходило во дворик. На скамейке девочка играла с куклой, одетой в бордовый плюшевый балахон. Когда девочка переворачивала куклу, были видны бледные ровно сложенные ножки. От этих голых кукольных ног стало холодно и не по себе. Еще не поздно было уйти, но я поднялся и позвонил в квартиру.

Было тихо, никто не шел открывать. Я почувствовал облегчение и досаду. Но вдруг дверь распахнулась. Меня встретила невысокая немолодая женщина в халате и с полотенцем на голове.

— Саша?! — сказала она. — Входи быстрее. Раздевайся и иди в комнату. — Я прижался к простенку в дверях, пока она закрывала задвижку. Потом женщина распахнула дверь в комнату и скрылась.

В прихожей стоял шкаф, друг на друге чемоданы, перевязанные пачки газет, лыжи, висел велосипед. Я пристроил на вешалку куртку и вошел в комнату. Дверь не затворил.

Все случилось проще, чем я себе представлял. Женщина встретила меня так, будто мы вчера с ней виделись. А может, с кем-то перепутала, по имени назвала?

Я сел в кресло возле двери. Старый серый паркет со щелями, бумаги на столе вперемежку с чашками. Чем дальше я разглядывал комнату, тем больше она мне нравилась. Допотопный фанерный шкаф, на нем оленьи рога. На стенах карты и фотографии. На полу у кушетки оленья шкура. На стеллаже среди книг минералы, некоторые по внешнему виду от бульжников неотличимы. Сувениры тут же в художественном беспорядке и поздравительные открытки между ними. И картина странная. Приглядевшись, я понял, там, в рамке, ковриком вклеен мох и лишайник разных ви-

дов. А в углу, за шкафом, толстый пропыленный пучок рогоза в пятилитровой банке от маринованных огурцов и помидоров, с которой даже не смыта этикетка.

Рассматривать фотографии я не стал, не хотел, чтобы она застала меня расхаживающим по комнате.

Мне нравилось, что в комнате метут и пыль вытирают не каждый день. И не выкидывают всякие памятные находки и потерявшие вид сувениры. Ох, мама бы здесь навела порядок! Повыкидывала бы бульжники да ракушки. А самое первое — уничтожила бы рогоз и лифайниковую картину, как антигигиеническое скопление пыли.

Женщина вернулась, одетая в тренировочный костюм, влажные волосы сосульками висели вдоль длинного лица. Села напротив меня.

Сколько ей лет? Непонятно. Может, сорок, может, пятьдесят. Она молчала, только ласково смотрела на меня. Глаза у нее красивые. Выразительные. Но выражение какое-то странное — печально-просительное.

— Бабушка обычно у меня останавливается, — сказала женщина. — Она здесь провела три дня, все тебя ждала. Каждый день на кладбище ходила, надеялась встретить. Ты, наверно, поздно получил записку с адресом?

— Чья бабушка? — спросил я и улыбнулся.

— Твоя.

— Вы знаете, тут недоразумение, — сказал я. — Я не тот, за кого вы меня принимаете. Это я хожу на кладбище, и я взял чужую записку, а вы ждете... Но мне захотелось к вам прийти...

У женщины стал растерянный вид. Она словно и не поверила мне. Хотела пожать плечами, подняла их, да так и застыла.

— Мы с бабушкой решили, — говорит наконец, — что раз ты ходишь на могилу к отцу, мать тебе все рассказала...

— Тут совсем другое. — Я почему-то снова стал волноваться. — Я хожу на могилу не сам... То есть с собакой. Ну, то есть моя собака меня привела туда. Румянцев был ее хозяином.

Теперь у женщины опустились плечи и поднялись брови. Она встала, сняла со стены фотографию в рамочке и спросила:

— Эта?

На фотографии Динка стояла рядом с Румянцевым. Я узнал его сразу. В сапогах-забродах, в свитере, на плече ружье. И лицо человека, который ничего не боится. Иным Румянцев и не мог быть. Мне стало хорошо в этой комнате, спокойно, и какой-то тихий восторг в душе.

— Когда смотришь на него, кажется, что он очень решительный, может принять отчаянное решение, если это касается его, а с другими — мягкий. Да?

— Был, мог... — проговорила она бесцветным голосом. — С женщинами был мягкий. А вообще-то геологическая партия не кружок бальных тан-

цев. Там мягкостью что сделаешь? А он начальником был.

— Он писал стихи?

— Писал. Откуда ты знаешь? Песни писал. И стихи, конечно. Когда он умер, я пыталась забрать Альму, но она ушла. Я снова ее привела. И опять она убежала. Давно она у тебя?

Я рассказал.

— Все-таки хорошо, что ты ко мне пришел. Приведешь ко мне Альму? В гости.

— Обязательно приведу.

Я буду приходить в эту комнату с книгами, картами и оленьей шкурой на полу. Не раз буду сидеть в этом кресле. Но никогда больше сюда не придет Румянцев. А если бы он был жив? Мы бы с ним так и не встретились, ничего бы не знали друг о друге.

— Не понимаю, почему она у меня не осталась, — словно бы размышляла вслух женщина. — Я же любила его, она это понимала, она вообще все понимала. Знала же, что ни у нее, ни у меня никого не осталось... Как же так?

— Вы его жена?

— Нет, — ответила она. А помолчав, добавила:

— Хотя можно и так считать. — Еще помолчала. — Но он так не считал. По крайней мере вслух не говорил. Он меня, я думаю, не любил — жалел.

Она так просто говорила ужасно откровенные вещи. У меня никогда не было со взрослыми таких разговоров. Парни рассказывали радости про женщин. А чтобы взрослый человек про любовь говорил... И я даже испугался, что ей стыдно станет, и она будет по-другому себя вести. Она уже не казалась мне некрасивой. Волосы подсохли, и она прошлась по ним расческой.

— А сын его? — спросил я.

— Сын? А он и не знает, что он сын Румянцева.

— Как же так?

— Усыновили сына.

— Что же Румянцев, не захотел с ним познакомиться?

— Нельзя было. Мальчик не знал, что у него неродной отец. А Румянцев всю жизнь любил его мать, свою жену. Он не лез в ее семью, она так хотела.

Все точно. Деталей я не знал, но в общем правильно придумал Румянцева.

— Они вместе учились, — добавила женщина.

— Это его первая настоящая любовь. А он, судя по всему, был однолюбом. Вот такая штука...

— Как вас зовут?

— Алла, — сказала она.

— А по отчеству?

— Просто. — Алла. Так и называй. А тебя?

— Саша.

— Давай, Саша, хоть чаем тебя угощу, — спохватилась она и пошла на кухню. А я уже свободно ходил по комнате, рассматривал фотографии, кам-

ни, разные вещицы. Алла вернулась, чтобы взять со стола чашки.

— Он любил фотографировать? Зверюшек, птиц? — спросил я.

— Возил с собой аппарат. Но последнее время, мне кажется, занимался этим больше для мальчишек. Мальчишки, они любят это. Учил, часами сидели в чулане, проявляли печатали.

— Чьи мальчишки?

— Ничьи. Уличные. Все время вокруг него крутились.

Все верно я отгадал. И возможность дружбы между нами правильно предчувствовал.

— Ничего особенного я тебе к чаю не предложу, но чай заварю совсем особый, знатный, "геологический". Ты такой не пил. А пока можешь посмотреть фотографии.

Алла достала из шкафа разбухшую папку.

— Тут не разобрано — руки не дошли.

Я стал перебирать снимки. Алла в школьной форме, чья-то свадьба, Румянцев совсем молодой, в армейской форме. А вот он с рюкзаком, ружьем и каким-то инструментом идет по бревну, перкинутому через овраг или речку. Вот рыбу держит в поднятых руках за жабры, а хвост волочится по земле. А вот рядом с ним собака величиной с теленка. И вдруг я увидел групповую фотографию: стоят молодые мать с отцом, дядя Юра — их соученик, и Румянцев. У меня кровь прилила к щекам. Натякаясь в темном коридоре на вещи, добрался до кухни.

— Кто это? — спросил у Аллы.

— Студенческая фотография, — ответила Алла, наливая кипяток в заварной чайник. — Вот его жена. Потом она вышла замуж за этого.

Они стояли на фотографии и смеялись. Вид беззаботный. Мама в коротком легком платье, в руке — цветок.

— Это моя мать, — сказал я без выражения.

— Что? — не расслышала Алла, обернулась ко мне и поняла. Наверно, по лицу поняла и испугалась.

Она что-то говорила, пыталась задержать, бежала за мной по улице, но я пропустил и вскочил в автобус.

— Вон отсюда, — твердил я себе. — Вон отсюда. Все предатели. Подлые предатели!

По взглядам пасажиров я замечал, что веду себя как-то не так или вид странный. Когда выходил, тетка прошипела вслед с возмущением: "Такой молодой, а нажрался".

Потом я ехал на другом автобусе, а потом лежал в пригородном парке на земле возле обезглавленной церквушки или часовни. Кругом, слава богу, было безлюдно.

Когда я из той квартиры выскочил, какие-то всхлипы из меня рвались. А теперь наконец-то оставшись один, окаменел. Только тяжело было. А потом я заснул.

Проснулся — перед глазами колышутся ростки,

два листка пропеллером. Молоденькие дубки. И я все вспомнил.

Живые бледно-зеленые травинки, как иголочки, красноватые розетки листиков. Букашка ползет.

Солнце еще не зашло, но я трясся от холода. В церквухе, наверно, была котельная или не знаю что, но от нее под землей шла труба с горячей водой, земля в этом месте оттаяла, и высыпало полно мать-и-мачехи.

— Ерунда собачья, — подумал я. — Не может быть. И не было этой комнаты и женщины.

Но ведь было!

И вдруг странная мысль: провокация! Кому-то вся эта история нужна.

Дикое стечение обстоятельств. Зачем мне знать, что мои родители предали Румянцева, а я — Александр Румянцев. Они обманули и его, и меня.

Слезы текли по лицу, нос распух, платка не было. Я прижался к стене церквушки в том месте, где оттаяло и просохло. Я даже не узнал, как погиб Румянцев, то есть мой отец. Я не хочу видеть родителей. Ненавижу мать. Лжива, как все женщины. И Марьяна! Она такая же.

И тут же вспомнил почему-то, как я совсем маленький, на даче. В саду, напротив дома. Сидели с отцом на скамейке, а за ней куст. Я зашел за куст, а обратно дороги не найти, не оказалось ни отца, ни скамейки, ничего. Я завыл. И вдруг мать. Бежит навстречу ко мне и обнимает, что-то пришептывает, а рукава платья широкие, будто крыльями меня заслоняет. Большая она, теплая, сильная, от всего защитит. И я тоже ее обнимаю и еще сильнее реву.

У нас в альбоме есть такая фотография. Наверное, потому и случай этот помню. Снимал отец. Выражение лица у матери тревожное, будто утешает меня в большом горе. Меня всегда ее лицо на той фотографии удивляло. Обняла бы с улыбкой, смешно ведь — ребенок в трех шагах заблудился — а она с полной серьезностью, она чувствовала, как страшно мне было потеряться.

Я снова потерялся. Но на этот раз никто не прибежит, не закроет от беды.

23

Пришел домой поздно, мокрый, в ознобе трясуся. Мать полезла с выяснениями. Хотел бросить ей в лицо: "Что вы сделали с Румянцевым?" Язык не повернулся.

Видок у меня, наверно, был! Не стали ко мне приставать. "На место!" — грубо сказал Динке, и она, как побитая, ушла на половик. Я закрылся у себя, забрался под одеяло. Когда через некоторое время мать попыталась заглянуть, сказал: "Оставьте меня в покое!". А потом сам ее позвал, стуча зубами, попросил принести горячую грелку и снова велел уйти.

Они там шептались за дверью, ходили на цыпочках, а я свернулся бубликом, прижимая к грелке руки и ноги.

Я заболел. Судя по всему у меня была высокая температура. И я был этому рад. Согреваясь, с враждебностью думал о Румянцеве: зачем он вторгся в нашу жизнь? С какой стати все разрушил? И вдруг осознал: так ведь нет его! Нет и не было. Румянцев — миф! Досочинялся. И Аллы нет. Полет фантазии!

Интересно, инфекционная у меня болезнь или простудная? И как быть со школой, ведь наступит последняя четверть? Сколько я проболую? Не меньше месяца.

Я буду медленно поправляться. За мной будут ухаживать и исполнять мои желания и капризы. Как давно я по-настоящему не болел.

24

Просыпаться я не хотел, все пытался провалиться в сон — не тут-то было. Сел на кровати: самочувствие отличное, даже намек на насморк нет.

Мать приоткрыла дверь, вид обеспокоенный.

— Все в порядке. Здоров. Одеваюсь.

— Завтрак на плите!

Я снова залез под одеяло и дождался, пока родители не выкатились на работу. Чуть хлопнула дверь, вскочил и, не одевшись, стал рыться в их бумагах, искать документы.

В свидетельстве о рождении мой отец — Прохоров. Это я знал и раньше. А дальше — открытие. Если сопоставить дату моего рождения и заключения брака родителей, то получается, что я родился трехмесячным. Конечно, это не может служить доказательством. Заключили брак, когда захотели или нужно было. Но я ведь об этом самом ничего не знал. Докладывать мне, конечно, совсем было не обязательно, понимаю. Однако...

"Ну, дурак! Ну, дурак!" — говорил я себе. Но постепенно начал успокаиваться, перестал и раскидывать бумаги, разбирался аккуратно и внимательно. С Динкой я не вышел: открыл дверь и выставил гулять одну.

Ничего бесследно не проходит. Должны остаться какие-то следы. Письма какие-нибудь.

Не было таких писем. Не бы-ло! Ничего, кроме уродливо нарисованной и вырезанной совы в папке у отца я не нашел. На обороте бумажной совы материнским почерком: "По поручению сына: "Папочка, я по тебе соскучился. Папочка, я хочу к тебе на ручки. Папа, ты — совиный глаз". Бумаги в отцовской папке были рабочие и эта сова...

Может, на старой квартире я бы что-то и нашел. При переезде здорово почистились от разного хлама и бумаг.

В родительском студенческом альбоме я быстро обнаружил Румянцева. Ничего общего с моим. Я — Прохоров.

Опять залез в постель и проспал до пяти. Вскочил, как ошпаренный, испугался, что родители застанут меня в кровати. Одеваясь, вспомнил, что выгнал собаку, и она не вернулась.

72

Собака моя молчаливо сидела под дверью. Может, и просилась домой, да я не слышал. Мы с ней пошли на улицу, и тут до меня дошло: я ее сегодня не кормил.

С родителями никак не хотелось встречаться. Пошел к Инягину и говорю:

— У тебя нечем покормить собаку? Суп вчерашний годится или что-нибудь такое...

— Заходи, — отвечает Инягин. — Сейчас поищем.

Хороший парень Игорь Инягин. Почему я с ним не дружу по-настоящему?

25

На следующий день я проснулся глубоко несчастным. Прямо заплакать захотелось. Лежал и жалел себя.

Встал — матери нахамил. Слегка. Но она обиделась. Прощения просить не стал, решил ее наказать, хотя чувствовал себя виноватым: шпиону за родителями, вызвав их тайны. Но ведь это не только их тайна, она касается и меня. Подло я себя веду или правильно? Вот бы сообщить им о моем сногшибательном открытии, представляю сцену!

Было тридцать первое марта, последний день каникул. Наверно, вернулась Марьяна, только мне совершенно не хотелось ее видеть.

Я бездельничал и слонялся по квартире. Поговорить бы с кем-нибудь! С Румянцевым! Вот ведь замкнутый круг. Опять у меня это самое начинается...

А был ли Румянцев моим отцом? Я же на Прохорова похож, это все замечают. И толстыми щеками, и плечами — распялкой, и походкой. И ростом в Прохорова, Румянцев был невысокий. Румянцев был женат на моей матери, так ведь это еще не доказательство. Такой человек вряд ли бросил бы сына и не поинтересовался им за столько лет.

Мне очень нравится Румянцев, но пусть моим отцом останется Прохоров.

Я подумал, куда себя деть к приходу родителей с работы. А схожу-ка я к дяде Юре Иванюку, к тому самому, что на студенческой фотографии смеется в миленькой компании моей матери и ее мужей. Я поговорю с ним по-мужски. Надо бы подготовиться к такому разговору, продумать вступление, вопросы. И вроде сил нет думать об этом. Но мне все равно одно очко дано вперед — я застану его врасплох. Я нашел адрес в маминой записной книжке и поехал.

Когда я был маленьким, дядя Юра часто приходил к нам с женой. Теперь — совсем редко. Они далеко живут и, как говорят, стали тяжелы на подъем.

Дядя Юра очень удивился, увидев меня. Он только пришел с работы, забеспокоился, думал с родителями что-то случилось. А я не мог с ним объясниться, потому что жена звала его на кухню

слить в дуршлаг вермишель, пятилетний Вовка вокруг крутился, а старший, восьмиклассник, с математикой приставал.

— У меня личное дело, — сказал я. — Родители в порядке.

В результате я разбирался с математикой, а дядя Юра с вермишелью. Потом сели ужинать, и меня заставили, хотя я отказывался. Только после ужина мы с дядей Юрой вышли на улицы, чтобы спокойно поговорить.

Глаза у дяди Юры длинные, улыбающиеся. Борода рыже-седая, а голова стала совсем седой. Доброе у него лицо, располагающее. А вот разговор я никак не мог начать. Дядя Юра меня и не торопил.

Они живут в новом районе, уже вполне оформившемся — сплошная современная застройка. Во дворах и на уличных газонах встречаются невысокие и раскидистые плодовые деревья — все что осталось от бывших частных садов.

— Плодоносят?

— Не замечал, — говорит дядя Юра. — Мальчишки что-то обрывают. Но деревья старые и дичают без ухода.

Мы шли между домов-кораблей, я собрался с духом и изложил следующую версию: родители мне все рассказали, я узнал, что я — сын Румянцева.

Добродушное лицо дяди Юры стало недоверчивым и туповатым, будто он не спал двое суток.

— А вы что, не знали? — наступал я.

— Знал, — виновато сказал дядя Юра.

Вот и ответ, печально подумал я. Окончательный. Но за последние два дня я закалился — принял его спокойно и рассудительно.

Когда же дядя Юра услышал о смерти Румянцева, то встал как вкопанный, и лицо его проснулось.

— Да ты что! — воскликнул он. — Когда? Как это случилось?

— Погиб, наверное. Скоро я буду говорить с его второй женой, спрошу.

— А разве он вторично женился?

— Ну, может, и не женился, но была у него женщина, — сказал я многозначительно, предчувствуя, что разговор еще впереди.

— Это не первая смерть на нашем курсе, — задумчиво проговорил дядя Юра. — Но Витька был такой... Жизнелюбия — через край! Как-то дико. Наверно, смерть — всегда дико. Я его видел последний раз лет пять назад. Бежал куда-то, как всегда. Он так и не расстался с бродяжничеством?

— Он разотал в геологической партии. А какой он был, расскажите.

— Как сказать-то? Способный, учился с легкостью. Заводной. Друзей очень любил, пошел бы за них в огонь и в воду. А еще легко с ним было. — Дядя Юра махнул рукой и добавил: — Не то я говорю, слова не те, казенные. Не могу.

— А случай какой-нибудь запомнился?

— Много случаев было. А что тебя интересует?

Мы ведь в институте дружили; а потом разошлись; как в море корабли. Судьба по-разному сложилась. Мы вот с Прохоровым и твоей мамой сели в конторы штаны протирать; а он — в поле. И почти не встречались эти годы. А вот был такой случай; обожди, — попросил он; стрельнул у проходящего мужика сигарету; прикурил и продолжил: — Как-то вечером мы с Виктором и твоим отцом... — Он замялся и спросил: — Ты ведь, я надеюсь, не перестал его отцом звать?

— Конечно; нет.

— Он тебя вынынчил, — назидательно сказал дядя Юра и вздохнул: — Так вот, вечером мы выпили; неважно по какому случаю. Развеселились. И решили утром поехать в Самарканд. Виктор появился ко мне часов в шесть утра. Насильственно поднял. Я очень сопротивлялся, потому что, честно говоря, для меня и девять утра — рань. И ехать я никуда не хотел. Категорически. Мало ли что болтали вчера. И денег не было. У Виктора в кармане рублей двадцать; у меня рублей пять. А он: уговорим проводницу, а на жительство обратную дорогу заработаем. Черт возьми! Проводницу мы в конце концов уговорили; а вот твоего отца — нет. Он с нами не ездил. А я сейчас вспоминаю... Удивительно хорошо, что у стариков бывает юность, сумасбродство, всякие завихрения, потому что ничего более безрассудного я уже потом не совершал. А приключений была масса. И с археологами познакомились; и в узбечку я смертельно влюбился, и на хлопке работали. — Дядя Юра хмыкнул и похлопал меня по плечу. — С годами начинаешь кое-что приукрашивать; так это простительно и даже необходимо. На самом деле все было красочнее и интереснее; потому что мы были молоды.

— Но почему же отец не поехал?

— Не поехал и все. Я бы тоже сейчас не поехал.

— Но тогда вы же поехали?

— Твой отец был всегда здравомыслящим. И у него была воля. А я безвольный, Виктор меня насильно посадил в поезд.

— Вы только не старайтесь выгораживать отца, он совсем не упал в моих глазах, потому что не поехал в Самарканд, — успокоил я его.

— Да-а... — сказал дядя Юра, думая о чем-то своем.

— А все-таки почему же вы раздружились с Румянцевым? — настаивал я.

— А мы не раздружились, я ж говорю, жизнь развела. — По его интонации я понял, что скоро конец разговору, иссякло в дяде Юре желание говорить и вспоминать. — Отяжелел я для дружбы с Виктором; — добавил он резковато. — Взрослым стал и солидным.

Неожиданно мы вышли к речке, и в лицо ударил ветер, гулявший на свободе. Наверно, летом эта речка пересыхала, потому что и сейчас не больно-то разлилась. Она лежала в высоких коричневых берегах, напоенных водой растаявшего

снега, поросших клочками прошлогодней травы. На воде покачивались уточки и селезни, кружились и ныряли, как поплавки. Солнце уже зашло, но вода и небо были розовы.

— Но почему же Румянцев с мамой разошлись?

— Вот это уж ты у нее спроси.

Он ничего больше не скажет. Узнал я очень много и очень мало. Напоследок я сообщил ему; что ничего мне родители не рассказывали, и как все было на самом деле. И успокоил его: ничего нового; кроме случая с Самаркандом, он мне не сообщил. Еще попросил, чтобы разговор наш остался совершенно конфиденциальным, потому что я не намерен выкладывать своему отцу об открытии семейной тайны и отречься от него даже в такой малой степени. Нечего стариков волновать, пусть живут спокойно.

Дядя Юра выслушал меня не перебивая. На лице у него снова застыло выражение человека, не спавшего несколько суток. А еще мне показалось, что у него было большое желание выругаться, но он только сказал: "Поросенок!" Крепко сказал, с ударением, повернулся и пошел.

Я смотрел ему вслед, и шагов через десять дядя Юра обернулся, постоял и вдруг снова пошел ко мне.

— А может, ты и молодец... Какой-то румянцевский поступок. И я подозреваю, что от меня ты узнал не только про Самарканд.

Я приободрился и похвалил его в ответ:

— Вы тоже молодец.

Я бы не сумел сформулировать, почему дядя Юра молодец, но душой не кривил, просто я любил его в тот момент.

Дядя Юра засмелся, кивнул и ушел. Большой, грузный, с добрым лицом и длинными глазами.

Я спустился к речке, промочив ноги и измазавшись в грязи. Вот и сделано дело. И покончено с ним. Нужно думать о будущем.

26

Первого апреля я не пошел в школу. Даже не знаю, как это случилось. День был пасмурный и тусклый. Я бродил по старым улицам, сидел у чьих-то деревянных домов, где на ставнях накладная резьба. Потом в центр пошел, на набережную, река здесь широкая, серая, матовая; облака, как хорошо натянутое суровое полотно. И вдруг на небе щель прорезалась, а оттуда веер солнечных лучей.

Стоял и смотрел. В голове пустота. Устал размышлять о Румянцеве. Он, как песенка, которая очень нравится, не перестает ее петь, а потом так надоест, что даже обрыднет.

Вечером Марьяна объявилась, я сказал ей, что болен; надеялся — она ненадолго. Смотрю, сидит и сидит. Удивлена и обижена моей холодностью. Для того, чтобы вызвать во мне ревность, сообщила, что познакомилась в доме отдыха с мальчи-

ком. А я почему-то раздражился и сказал: "На здоровье!" Тут она совсем оскорбилась и ушла.

Скатертью дорожка!

Второго апреля я снова прогулял школу. Уехать бы. Хоть на неделю. К тете Зое, в Гродно.

Я был там три дня на бабушкиных похоронах, почти и не видел ничего. Помню, улочки взбегают и ныряют с горок, много деревьев, костелы. Трава и собранные в кучи листья по утрам схвачены инеем, потому что середина ноября. По обочинам и на газонах — васильки. Настоящие, синие, у нас-то растут только розовые. А еще — старинный замок.

Там есть зоопарк. И хотя это единственный настоящий зоопарк, где я был, все равно я уверен, это самый грустный зоопарк на свете.

Животные по-человечьи печальны, придавлены осенью и холодами. Кругом чисто. Народу — никого. Животных мало. А вот птиц — много. Фазаны, павлины, фламинго, лебеди, домашние цесарки, гуси всевозможных расцветок с розовыми, черными и оранжевыми лапами.

Черная курица-бентамка бежит к сетке, за которой я стою, словно боится опоздать. Очень смешно. Все интересуются мною. Сюю сквозь сетку ярко-желтую авторучку. Клевать ее никто не решается, кроме парочки серебряных фазанов. Эти, убедившись в несъедобности, клюют от недоумения, будто тщатся решить загадку странной вещи. У самца красная замшевая маска и черный опущенный хохол, как длинные и немытые, зачесанные назад волосы.

Помню, что не хочу домой, мне там скучно. До закрытия зоопарка еще далеко, а я уже думаю — еще бы подольше...

Венценосный журавль стоит на одной ноге. Голова под крылом, но один круглый глаз внимательно наблюдает за мной. А я на него двумя смотрю, округляю, как могу. Это его беспокоит. Высунул голову — лысая.

Макак — маленький человечек. Камышовый кот — очень серьезный. Песец свернулся в калачик, как кошка; взгляд кроткий. Олень громко мычит по-коровьи.

Животные тоже подходят к сетке, рассматривают меня. У ламы шевелятся мягкие губы, будто сказать что-то хочет. Ногой бьет решетку. Угощение просит или другой интерес? И кто здесь кого рассматривает?

Аквариумы беднее, чем я надеялся. Слон уже в зимнем помещении, куда закрыт доступ. Я хочу попросить пустить меня туда, все равно ведь народа нет, совсем нет. Пристраиваюсь к рабочему, который везет тележку с кочанами капусты и свеклой. Но обратиться не решаюсь, потому что в слоновнике — скандал, женщины кричат, как сумасшедшие, матерятся.

Томительная была поездка, но, как ни странно, мне часто хочется вернуться в Гродно. Тетя Зоя обрадовалась бы.

А еще я вспомнил один эпизод, когда рассердил

маму, сказав, что здешний театр похож на радиоприемник. Таким образом я похвалил современную архитектуру театра, потому что радиоприемник — черт знает, какая красота. Мама спросила, что такое — радиоприемник. А это такое микроскопическое, простейшее по организации морское животное, которое обитает в придонном планктоне, объяснил я.

Вот она разошлась! "Глупости! Вечные глупости!" — кричала и плакала. И сейчас не скажу точно, но вроде бы объединяла меня с отцом в глупостях и дури. "Копия своего отца!" А про какого отца она поминала?

Я тогда не обиделся, вообще промолчал. Понимал, что я здесь ни при чем, мама сорвалась, потому что переживала смерть бабушки и винила себя в том, что за десять лет, которые бабушка прожила и проболела у тети Зои в Гродно, она ни разу ее не провела.

Тетя Зоя утешала маму и говорила: "Она никогда тебя словом не попрекнула, она жалела тебя". Запомнил я это потому, что тогда недоумевал: что ж маму жалеть, у нее все в порядке, а у тети Зои нет мужа, а главное — детей. Она даже хотела взять ребенка из детского дома.

У меня есть сто пятьдесят рублей. Они лежат на сберкнижке, которую отец завел на мое имя и отдал в день рождения. "Это тебе на Москву", — сказал он.

Плюнуть на все, сесть в поезд и уехать к тете Зое?

27

На следующий день у меня было чувство, что в Гродно я уже съездил, тетю Зою повидал, побродил по улочкам и печальному осеннему зоопарку. И я отправился в школу.

Все-таки удобно быть отличником. Недаром Маркова (тьфу на Маркову!) говорила — "никаких проблем".

Классная прямо-таки обрадовалась, словно сучала без меня. Я сказал ей, что приболел, но врача мои не вызывали, мама напишет записку. Она говорит: "Не надо записки, главное — здоровье".

Потом я очень плохо ответил по химии. Не то, что не знал, а непонятная лень нашла, не мог заставить себя отвечать, все казалось ненужным и бессмысленным. Четверку поставила химичка.

"И терпентин на что-нибудь полезен!" — загадочно изрекает Козьма Прутков. По-моему, это про мою хорошую репутацию.

Марьяна все заговаривала, внимание мое привлекала. Заявляет:

— У нас теперь есть свой дом.

— Какой дом?

— Пойдем после уроков — покажу.

— Извини, — говорю, после уроков — занят.

А дел у меня никаких не было.

Днем я ничего не заметил, а ночью из окна темной кухни вижу: черемуха под фонарем, словно обрызгана светящимися зелеными точками, огоньками. Почки лопнули. И я почувствовал радость.

Мое одиночество и тоска явно шли на убыль. Я стал испытывать тягу к родителям. Мне хотелось сделать им что-нибудь приятное, поговорить с ними, утешить, ведь все это время им было не сладко со мной.

Я спрашивал отца, как решить уравнение, которое уже решил. Отец думал, объяснял и распространялся о том, что такие уравнения им давали на втором курсе института, что нынешняя школьная программа усложнена, а ребята хуже подготовлены к институту, специалистов, как пирожки пекут, но тянут они в лучшем случае на лаборантов. Любимые разговоры. Они с мамой уже много лет с удовольствием читают мои учебники, чтобы хаять их, сравнивать с прежними, обсуждать, как то или иное понятие объяснить проще, по-человечески. А когда несколько лет назад они объяснили мне урок "по-человечески", я чуть не схлопотал двойку. Отец ходил в школу, но у него хватило чувства юмора не лезть в бутылку, не пытаться учительницу заткнуть за пояс — что он, конечно, смог бы без труда. Просто отец сделал вывод, что в школе я должен отвечать не "по-человечески", а как положено, как в учебнике.

У отца чувство юмора, хоть и своеобразное, но развито сильнее, чем у мамы. Он способен абстрагироваться. А у мамы нет времени на юмор: в институте — работа, дома — хозяйство. Она держит в голове много мелочей: у отца рубашечная пуговица оторвалась, у меня шнурки от ботинок обтрепались, надо проверить, не забродило ли малиновое варенье, снести будильник в починку (про запас, вдруг второй выйдет из строя), пополнить количество подсолнечного масла — дома должно быть не меньше двух бутылок и т. д., и т. п., и так без конца. На каждый день она составляет список дел на блокнотном листке. Если пункт не выполнен, он переносится на завтра. До юмора ей? Зато — семейное равновесие.

Мне нравятся мои родители. Отец — настоящий мужчина, больше всего его занимает работа, он предан своей семье, не пьет, а если выпьет в праздник рюмку, становится смешным и милым. Мама — современная женщина, успевает все с равным успехом. А главное — они любят друг друга.

Я на отца не похож в том смысле, что кроме работы, мне всегда будет любопытно многое другое; люди, их отношения, все подряд — от положения в Никарагуа до строения цветка. Важно, чтобы любопытство не помешало основному. А обстановка на сегодняшний день такова, что из школы я выйду с медалью. Ни у кого в этом сомнения нет. И у меня почти нет.

Кончилось у меня с Марьяной, ничего тут не поделаешь. Помог и еще один случай.

В этот день нашей классной Аннушке стукнуло пятьдесят. Школа ей самовар подарила, а наш родительский комитет — бра. И надо было забрать из школы две стопки тетрадей с контрольными. Мы с Инягиным потащили сумки к ней домой. Бра должны были повесить, а также проверить, что с проводкой. Вот ведь женщины, сама физик, а с проводкой справиться не может.

В автобусе к Аннушке подошла модная девица, очень даже модная и вся застенчиво-вызывающая. Оказалась ее бывшей ученицей, а теперь студенткой московского театрального института. Аннушка пришла в восторг, что ее ученики в артисты выходят, обе защебетали, заохали, засмеялись. Аннушка и говорит:

— А у меня уже вон какие ребятки подросли. А помнишь, как ты в моем классе вожатой была, театральный кружок организовала и репетировала "Кошкин дом"? А еще ты доказывала, что каждый человек должен в театре хоть по одному разу сыграть — себя самого.

Студентка стала смеяться и говорить, что у нее было много завиральных идей. А я уже не слушал, я думал про разговор с Марьяной после театра. Как же я мог до такой степени заблуждаться? Кто она — Земляничка? С какой неподдельной искренностью, с каким вдохновением выдает краденые мысли и стихи за свое! И зачем ей цепочка, которую она, естественно, надеть не сможет, потому что я же ее уличу в воровстве? Не клептоманка ли она?

Этот факт с "театром одноразового актера" меня неприятно поразил. Но это была уже мелочь среди событий последнего времени. А после своего трудного "возвращения" к родителям, когда я преисполнился человеколюбием, история с Марьяной не очень здорово волновала меня. Только странно вспоминать, как я сходил от нее с ума. И смех, и грех. И не знал я, как объяснить ей, что не интересно мне больше целоваться, не тянет. Нет больше девочки-землянички, не существует ее.

Просит: "Помоги с алгеброй, я двойку завтра по контрольной схвачу". А я должен был встретить после работы маму, чтобы зайти в универмаг и купить ботинки. Сказал ей. На другой день точно — двойку получила. Идиотка! То ли по тупости, то ли мне назло. Разве поймешь девчонок?

Пристала со своим "домом". Пошел с ней. На чердаке устроила "комнату". Стол, застеленный старой портберой, два стула, сундук, торшер (разумеется, не светит) с голубым помятым колпаком и диван, из которого прут пружины. На слуховое окно кружевную тряпицу нацепила. Театр, помояная декорация.

— Нравится? — В глаза заглядывает, за руку берет, на диван опускается и меня тянет. Жалкая

какая-то. Отпустила руку, глаза отвела, молчит. И я молчу.

— Через три месяца мы расстанемся, — говорит наконец. — Ты в Москву уедешь?

— Да, — отвечаю, — а ты?

— А что я? Останусь.

— А что будешь делать?

— Манекенщицей сделаюсь, — говорит и странно улыбается — робко и с вызовом. — Не гожусь? Во мне что-то не так? Может, ноги у меня кривые?

Она скидывает туфли, задирает форменное платье, вытягивает ноги и выгибает носки.

Я смотрю на ее ноги в колготках. Сбоку строчка зашита простой ниткой. Выше колена полные, плотно прилегают друг к другу. Я дотрагиваюсь, провожу рукой по ее ноге, чувствую тепло. Меня, как магнитом к ней притягивает. А Марьяна застыла, не шевелится, и я с ужасом соображаю, что она на все готова.

Отчего так сердце бухает? От близости ее? Все возмущается во мне, потому что опять обман! Я делаю усилие, отрываюсь от Марьяны, неуклюже отскакиваю. Вероятно, я смешон. Говорю с притворным хохотом:

— Ты что, соблазняешь меня?

— Может быть... — отвечает и тоже сдавленно смеется, с кокетством, чудится мне.

И такая неприязнь во мне поднимается, что я говорю:

— Не надо этого. Не надо.

— Не кричи, — просит она, и лицо у нее становится испуганным.

— Совершенно не надо, — повторяю я. Она уже глаза утирает. А мне хочется унижить ее, сделать больно, оскорбить, но язык не поворачивается открыть то, что я знаю про нее, и поэтому я ору: — Найди себе другого дурака! Скажи ему, что гнездышко готовила для него и никогда в жизни ни с кем не целовалась и не лежала в постели!

— Кретин несчастный! — рыдает она и топает ногами в колготках по чердачному полу, засыпанному битым кирпичом.

Я иду по сверкающей весенней улице, тяжело на сердце, но я осознаю: тяжесть скоро пройдет, зато я избежал ужасной опасности и наконец-то свободен. Я даже немножко горд: у меня был разрыв с женщиной, со слезами, криками и всем, что положено.

Вечером я неожиданно вспоминаю планы насчет Динки и с сожалением думаю: теперь Марьяне ее не оставишь. Ну, да ладно, пристрою куда-нибудь.

30

Когда я вышел вечером гулять с Динкой, я еще не знал, что поеду на улицу Пушкина.

Алла открыла сразу, будто ждала. Она присела перед Динкой и прижалась щекой к ее голове. "Альма, Альма, — приговаривала она. — Ты меня помнишь?"

Конечно, помнит, в этом не было сомнений. Динка выражала радость, но, как мне показалось, сдерживалась, чтобы меня не обидеть. Поглядывала на меня.

Я снова сидел в старом мягком кресле. Она сказала:

— Я себе места не могла найти, когда ты убежал. У тебя такое лицо было! Я боялась за тебя. Ты прости, нехорошо все получилось.

Потом мы ели морскую капусту. А потом она рассказала, что Румянцев умер от опухоли в мозгу. Он трижды тонул (один раз очень страшно, в болоте), раз попал в автомобильную аварию, однажды еле спасся из горящей тайги. Его постоянно окружали опасности. А умер он на больничной койке, прооперированный. Друзья присылали лекарства со всего света, друзей было много. Но не помогли лекарства.

Алле было тяжело об этом говорить. Но она, слава богу, не плакала. Наоборот, глаза у нее стали сухие, даже без блеска, совсем пересохли. Голосом дрожала.

— Он стал много пить, я думаю, он знал, что очень болен. А я не догадывалась. Из последней своей партии он приехал загорелый, веселый. Привез новые песни. Мимходом заметил, что почему-то часто болит голова да пальцы иногда немеют, не может как следует зажать струны на гитаре. Вроде сам удивлялся этому. Потом больница.

— Почему же Динка не захотела с вами остаться? То есть Альма...

— Она ведь здесь никогда и не жила. И Виктор здесь не жил. Бывал. Иногда и день, и два. А жил у матери, и Альма с ним. Он брал ее в поле. Наверно, дом для нее был там, где Виктор. — И вдруг спросила: — Ты к бабушке собираешься?

— Не знаю.

— Съезди. Она, ей-богу, нормальная старуха, не занудная, все понимает. И совсем одна.

Алла захотела меня проводить. Луна была полная и стояла над улицей Пушкина, как электрический фонарь, желто-оранжевый с мутным ореолом.

Алла говорит:

— Отпуск у него был длинный. Я просила, чтобы мы хоть раз поехали вместе к морю. Ничего подобного. Собрал местных мальчишек и ушел с ними в поход. Построили плоты, сплавлялись по Куте. Ты знаешь, сколько мальчишек на похороны пришло! Один мне сказал на кладбище, что всем обязан Виктору, иначе стал бы хулиганом, наркоманом и сидел бы в колонии, и Виктор ему, как отец. Они под окнами больницы дежурили...

Все, что попало, рассказывала. Но мне не было горько, ей было горче.

Прощаясь, она обронила: "Я — Альма".

Понятно, что она хотела сказать. Только я ведь тоже — Альма.

И вдруг мне пришла в голову мысль — повезу



Динку к бабушке и оставлю там, а сам буду поступать в Москву.

31

Мальчишек я увидел недалеко от нашего дома. Трое двенадцати-тринадцати лет, четвертый — маленький, классе в третьем. Они стреляли по голубям проволочными пульками из какого-то подобия игрушечного ружья, выпиленного из фанеры, с крючком и петлями из резинки.

Я разорался, они перестали стрелять. Но главный среди них, с гривой нечесанных волос, стоял с нарочито наглым видом и ухмылялся. Я никогда не пользовался авторитетом у ребятни.

— Ты давно последний раз был в лесу? — спросил я у главаря.

— Не помню, — небрежно ответил он. — Наверно, в лагере. Но нас в походы не водили. Только старший отряд.

— А ты знаешь, как малиновка поет, ты отличишь чижа от синицы?

— Нет.

— А ты? — спросил я у длинного сутулого флегматика. — Ты отличишь?

Он покачал головой, вид у него был озадаченный и печальный.

— Ты знаешь птиц? — спросил я у третьего, хорошо, можно даже сказать любовно одетого родителями паренька.

— Мне это не нужно, — неожиданно тонким голосом сказал он. — У меня в жизни другие планы.

— Я знаю воробья, синицу, ворону, снегиря, кукушку и соловья, — доверительно сказал маленький, и я сразу понял, что из всей четверки он единственный принял меня без предубеждения.

— Человек не может быть полноценным, если он не знает родную природу. Надо знать, кто поет на деревьях и что растет под ногами.

— А как узнать про птиц? — спросил длинный. Его унылому висячему носу только насморочной капля на конце не доставало.

— И вообще биология — самый скучный предмет. Я бы, может, и хотел отличать травы и птиц, но нас этому не учат, — добавил главарь. Теперь он не казался мне нахальным. Мальчишка как мальчишка.

— Я из книжек узнавал. И всегда найдется кто-нибудь, кто подскажет. Вот у меня был взрослый друг, дядя Саша. А мой... — я чуть запнулся, — дядя, он ходил с ребятами в походы, они ставили палатки, варили на костре еду, потом строили

плоты и сплавливались по реке. Он хорошо знал природу, учил ходить по компасу и по карте.

— Он учитель? — спросил главарь.

— Он умер. Он был геолог.

— Ты с ним ходил? — допытывался главарь.

— Конечно, ходил... — сказал я.

Вот язык! Хотя ничего удивительного. Что на уме, то и на языке. А мне ведь и в самом деле еще не так давно казалось, что ходил.

— Давайте в воскресенье поедем в лес, — предложил я. — Вот мой подъезд, подходите к девяти утра. Возьмите бутерброды, а у кого есть термос — горячий чай. Послушаем птиц, посмотрим весну.

— А как тебя зовут? — спросил маленький.

— Саша, — сказал я и протянул руку.

— Лесик. — Он доверчиво посмотрел на меня.

— Вася, — печальный парень слабо тряхнул мою руку.

— Кузьмин, — представился главарь, постаравшись вложить в рукопожатие всю силу. — Юра Кузьмин.

— Игорь, — сказал хорошо одетый, и я понял, что в воскресенье он не придет.

— А тебя отпускают? — спросил я маленького.

— Отпустят, — заверил он. А Юра угрюмо сказал в сторону, будто и не мне:

— Его отпускают, за ним некому смотреть. Отца нет, мать шлендает неизвестно где, а бабка совсем старая.

Лесик виновато шмыгнул носом и опустил глаза, стал что-то рассматривать на асфальте.

32

Я не очень надеялся, что они придут в воскресенье. Но в субботу встретил длинного Васю и Лесика у подъезда. Может быть, они и поджидали меня, но сделали вид, что оказались здесь случайно.

— Так мы поедем? — спросил Вася.

Я уже раскаивался в своем предложении. Что делать с ними в лесу? Одно — постоять-поболтать возле дома, другое — ехать в поход. Правда, мальчишки были неплохие, видно, еще не вышли из управляемого возраста.

Когда людям затруднительно обращаться, помогает собака. И все-таки решил Динку не брать: до вокзала ехать двумя автобусами.

В девять утра, в воскресенье у моего подъезда стоял Юра Кузьмин и Лесик. Юра держал в руках сетку со свертком и термосом. Вскоре подошел печальный Вася, тоже с авоськой. Мы подождали еще десять минут, но Игорь не появился.

— Может, сбегать за ним? — спросил Лесик. А я, честно говоря, совсем не расстроился, что его нет.

— Не надо, — сказал Юра. — Не хочет — и не надо. У него родители — академики.

— Кто? — удивился я.

— Ну, какие-то... Важные. И полы лаковые...

— Ну, и что ж, что лаковые, — сказал я, подумав, вдруг ребята зайдут ко мне и увидят сверкающий натертый пол. — Это ничего не значит. Просто люди аккуратные.

— А у них значит.

— Тапки надо надевать? И что ж? Тебе ничего не стоит снять ботинки, а хозяйке приятно, потому что ты уважаешь ее труд.

— Да не про полы я, как ты не понимаешь?! — подсадовал Юра.

— Тронулись! — скомандовал я.

Мы ехали в Казарево. Жаль, что с нами не было Лехи. Ведь Казарево было нашим с Лехой любимым местом.

В электричке я напрягался, зато потом совсем расслабился, как пошли широким лугом к холму с селом, окольцованным плетнем. Село обернуто лицом к другой дороге, мы огибли его задворки с баньками и шестами со скворечниками. У подножия холма рос мощный разлапистый дуб и рядом здоровенная и прямая, как струна, сосна. Такая парочка.

По горизонту краснотальник, а над ним лес: темно-зеленые пирамиды елей и дымно-сиреневые весенние осины и березы.

— Красиво, — тихо сказал Вася.

Я рассказал им, что бывал здесь с другом летом и осенью. А тогда еще красивее. По лугу бродит стадо, и вокруг стоит перезвон. Это на шеях у коров звенят жестяные стаканы с язычками или колокольчики. Про перезвон сказал, а про мат — нет. Возле коров ходит вечно пьяный пастух, с волочащимся по земле кнутом, и непонятно почему, на чем свет материт буренок.

Снег лежал латками на лугу и полосами у леса и вдоль дороги. Вскоре мы услышали характерные громкие выкрики: "Чи вы? Чи вы?"

— Тихо, — предупредил я. — Слушать! Это чибис.

Мы увидели его, а он нас — и взмыл неровным полетом, словно юродствуя, кувыркался и захлебывался криком над луговиной. Под крик чибиса мы ступили на лесную дорогу.

— Узнаете теперь чибиса? Он кричит "чи вы"!

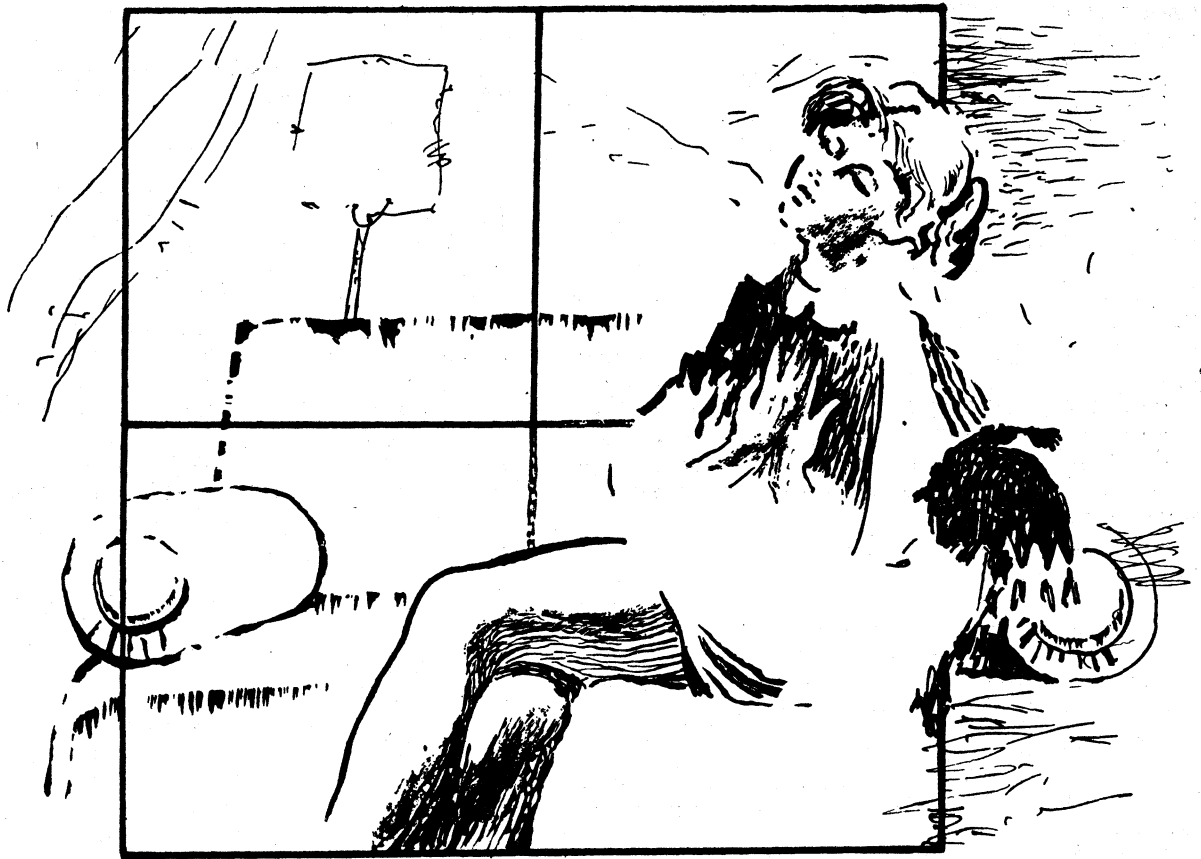
— А чи мы? — с философической грустью спросил Вася.

— А ничьи, — ответил Юра. — Мы не ботинки и не рубашки.

— Другдружкины мы, — наставительно изрек я и понял, что мальчишкам это понравилось.

Потом мы видели надутые почки бузины и черемухи, барашки на ивах, ольховые сережки, из которых вылетали облачка желтой пылицы и косяк диких гусей, большую стаю — штук пятьдесят; подкараулили оранжевогрудую зарянку, трясогузку и зяблика. Слышали синицины "чи-чи-ку" и барабанную дробь дятла — это самец завлекал подругу. На полянках зацветали фиолетовые пролески.

Во втором часу разложили костер, испекли картошку, ели бутерброды с чаем.



Вася пытал меня про йогов, биополе и систему чтения, сказал, что читает много, но все подряд, а это, видимо, неправильно. Я обрадовался, что он интересуется чтением и взялся наставлять на путь истинный, но запутался и тогда обещал подумать про систему. А Юре я обещал научить ходить по азимуту (придется сначала самому научиться. По книгам).

По моим расчетам мы недалеко углубились в лес, но почему-то в положенном месте не вышли на дорогу. Солнца, единственного для меня ориентира, не было. Я попробовал взять немного в сторону, но дорога не нашлась. Сначала я не говорил ребятам, что мы заплутали, показал им еще не зацветшее волчье лыко, бабочку-крапивницу, гнездо серой вороны и саму ворону, насиживающую яйца. А дороги все не было, и я запаниковал.

Первым догадался, что мы заблудились, Вася. Мальчишки не испугались, они пришли в непонятное радостное возбуждение, развязали языки. Для них это было приключение, кроме того они были уверены, что я их выведу. Эта уверенность помогала, я даже немного гордился этим, но груз ответственности и страх были сильнее.

Они воображали, что я знаю, куда иду. Хуже всего, что и плана никакого у меня не было, вел наугад. Надеялся наткнуться на какую-нибудь до-

рогу. Вышли мы на одну, но она завела в болото, в нем и исчезла.

Если бы с нами был Леха или хотя бы Динка!.. Лес, поначалу хвойный, сухой, по-весеннему теплый, становился неприветливым и неудобным. То и дело мы залезали в буреломные места, натыкались на болота и приходилось идти в обход. Стали попадаться большие участки под снегом, он заполнял низины, лежал в частом мелкоколесье и куполками на взгорках — сухой и твердый, будто искусственный. В пятом часу вечера я понял — дело дрянь.

Мы снова разложили костер и устроили бессмысленный совет.

Когда мы ехали в лес, я не обратил внимание, что Лесик в кедах. Носки у него оказались тонкие, синтетические, ноги мокрые и ледяные. Мальчишки сушили над костром кеда, а я грел его ступни в руках, дышал на них, растирал своим свитером. Лесик был трогательно-послушным и совсем не капризным. Я надел на него свои шерстяные носки, а сам обмотал ноги газетой и сунул в сапоги.

Юра сказал, что всегда мечтал заблудиться, не в одиночку, конечно.

— А ты не благодумствуй, — предупредил я. — После меня ты второй по старшинству.

— А что будем делать, когда стемнеет? — спросил Вася.

— Шалаш строить и ночевать, — бодро ответил я. — Такие люди, как мы, не пропадают.

Вася подбросил в костер еловых веток, и в небо устремился густой столб дыма, у основания серозеленый, выше — пепельно-голубой. Горела хвоя, просыхали влажные ветки, костер потрескивал, посвистывал, подвывал — так вырывается из кувшина, из сотеннолетней неволи джинн. Мы доедали немного, что осталось от прошлого пиршества, и Вася сказал:

— Если бы здесь появился Хоттабыч, я бы попросил, чтобы мы нашли домик, а там была печка.

— И пожрать что-нибудь вкусное, — добавил Юра.

— А лучше замок, — предложил я. — Очаг с бараньей ногой на вертеле, шкуры диких зверей, на которых бы мы возлежали, и прекрасные охотничьи собаки.

— А я бы попросил, чтобы мне было три года, — сказал Лесик. — Тогда мама с нами жила, и бабка хорошо видела, зимой у нас елка была с красивыми игрушками, и какой-то дядя приходил в гости и принес много-много мандаринов.

Мы все замолчали. будто вспомнили, кто мы и где.

В лесу начинает смеркаться раньше, чем на открытой местности. И не просто сереет, мутнеет по-городскому, а темнеет, словно перед грозой, затихает все, настораживается. Мы посадили Юру, он забрался на высокое дерево, но ничего кроме леса-леса-леса не увидел. В желудке уже сосало ого-го! Бумага в сапогах сбилась, не грела и страшно терла ноги. Деревья словно застыли в судорогах, сковало лес холодом. Трава стала сухой и хрусткой, схватилась изморозью.

Попеременно с Юрой мы перетаскивали Лесика через болотины. Набрели на просеку и вжарили по ней километра полтора. Здесь опять волочили Лесика на закорках, потому что под ногами было месиво из воды и ледяного крошева. Просека привела к перекрестку с другой. Куда идти? Имеет ли смысл держаться просек?

— А мы медведя или волка не встретим? — спросил Лесик.

— Их здесь перестреляли в девятнадцатом веке. И какие здесь медведи — кругом села!

А ведь слышал я и про волков, и про кабанов, и про неизвестно откуда взявшихся и размножившихся енотовидных собак. Достаточно всяких зверей в наших местах.

— Почему говорят "ведьма водит", когда заблудишься? — спросил Юра.

— Человек так устроен, что одна нога у него делает чуть больший шаг, чем другая. Когда он идет по дороге или есть ориентир, он идет правильно, а в лесу скругляет путь. В конечном итоге делает круг. Поэтому еще говорят — ведьмины круги.

— А какая нога делает больший шаг? — поинтересовался Вася.

— Знаешь, вот это я забыл.

— Если бы знать, можно было бы другой ногой делать больший шаг и вернуться в Казарево.

— Ну, во-первых, ведьмин круг не может быть правильным геометрическим кругом, а во-вторых, ты не сможешь искусственно дать нужную поправку второй ноге.

— Обидно, — пожалел Вася, и все стали развивать мысль о ведьминых кругах, о ногах, о приборчиках, которые привешивались бы к человеку и секли градус уклонения ноги, а потом бы определяли градус обратного уклонения.

Я решил двинуться, куда совсем не стемнело, потом развести костер и строить берлогу из веток и ельника. Теперь я шел впереди, продираясь сквозь сучья, за мной Лесик, Вася, а замыкал Юра. Ведьма вела нас мимо дорог, а может, лежали они, укрытые водой или сумерками. Стемнело быстро, но мы, проваливаясь и треща сухняком, продолжали ломиться по закоркам от холода лесу. Сквозь облака проглянула звездочка и печально наблюдала за нами. Ребята готовы были идти дальше, и я уже в который раз сказал им, чтоб только глаза берегли — не выкололи.

Иногда меня охватывало безнадежное отчаянье, иногда безразличие. Потом просыпалось очередное "дыхание", даже ноги согревались. Мальчишки, видать, очень устали, говорить не было сил, но не ныли. Ни одной жалобы. Мы остановились в березняке и, взрезав кору, тянули из щели сок. Тут Вася и сказал:

— А давай мы с тобой еще куда-нибудь пойдём.

Меня разобрал неудержимый нервный смех, и ребята дружно захохотали. Немного разрядились, а я пообещал, что обязательно пойдём, если когда-нибудь выберемся.

Ни на что я уже не надеялся, когда увидел огонек и остановился. На меня налетел, ткнулся в спину Лесик, все мы загомонили, заорали, "ура" закричали. Огонек расплывался, внезапно скрывался за стволами, и я начинал метаться, чтоб не потерять его из виду.

Казалось, он совсем не приблизился, когда внезапно мы вышли на поле и обнаружили на другой его стороне длинное белесое здание фермы, а рядом домишко с окном-маяком. Спотыкаясь о замерзшие комья земли, мы помчались туда и вопили дурными голосами: "Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко!" Даже не вспомню, кто начал петь, но орал мы с таким энтузиазмом, что на крыльцо вышел и уже ждал нас старик.

Разумеется, это было не Казарево, как мечтал Вася. Старик дал нам хлеба и указал направление к шоссе. Там мы остановили грузовик и с Юрой и Васей затиснулись к шоферу, а Лесика уложили в ноги. Перед ГАИ мы переместились в кузов, а в городе сели на автобус.

Только потеряв надежду на все хорошее, можно

пережить такой восторг, увидев огонек и старика с хлебом, а потом шоссе с машинами и город с домами.

Было почти одиннадцать, когда мы вернулись. Лесика я затащил к себе. Родителей, слава богу, не было, в гости ушли. Я поставил на газ кастрюлю с супом и, положив себе на колени Лесиковы ледяные ноги, стал растирать их одеколоном. Ступни у него были совсем маленькие и узкие. И я почему-то подумал: был бы он моим братом...

Потом мы хлебали горячий рассольник, и я заметил, что Лесик засыпает над тарелкой. Одед его и за руку отвел домой.

Лесик живет в Марьянином доме.

33

Лесик пришел ко мне в гости на другой день. У двери стал развязывать шнурки, снимать ботинки. А тут вышла мама и очень кстати заметила:

— Какой у тебя воспитанный товарищ.

С иронией сказала, это мне она давала понять, что скоро я докачусь до друзей из детского сада. Но для Лесика слово "товарищ" и похвала были лестны. Он, конечно, ничего не заподозрил, покраснел от удовольствия и расплылся до ушей. В маленьких меня очень трогает простодушие и доверчивость.

Через день пришли ко мне все втроем. Дружно сняли обувь, были немного смущены и не засиживались.

Все они — "бездомные". У Лесика старая бабка, у Юры одна мать, которая работает на двух работах и редко бывает дома. У Васиных родителей часты гости и пьянки.

Насчет системы Васиного чтения мы поговорили. Что тут мудрить? Надо посмотреть списки для внеклассного чтения за шестой класс. А пока я дал ему хорошие книжки про пчел и муравьев. Для общего развития. Любимый писатель Васи на сегодняшний день — Джек Лондон.

Вася — в шестом, Юра — в седьмом. Вася не знает, кем станет. Наверно, сказал он, в ПТУ пойдет. Юра хочет быть летчиком, но с учебкой не ладится. Я предложил помочь. А еще Юра хочет собаку. Они с мамой уже брали однажды щенка, только пришлось отдать. У Юры аллергия на шерсть.

Попробовал я с Юрой позаниматься. Он не тупой, просто пробелы большие, и не совсем понятно, как их восполнить. Эти пробелы накладываются друг на друга, "черные дыры" какие-то. Стали выяснять, докапываться, даже увлеклись, вдруг звонок в дверь. Мы решили, что это Лесик или Вася. Но входит мама и говорит:

— К тебе редкий гость. — И впускает Лешку.

Как я ждал его раньше, как ждал! Уже в новой квартире я смотрел в окно, а над ним, чуть наискосок — лестничное. Если высунуться из лестничного окна, то на протянутой руке можно спустить записку на ниточке прямо ко мне. Вот я и

мечтал увидеть порхающую записку за окном. Я бы ее выловил и привязал свою: "Я тебя давно жду".

Сентиментальщина! Затянувшееся прощание с детством!

А последний рецедив кратковременного и ослабленного скучания по Лешке произошел совсем недавно, во время "румянцевского кризиса". Мне хотелось рассказать ему о Румянцеве.

Леха осмотрелся и говорит:

— У тебя все так и осталось, как там было.

Одет он был нормально, такое впечатление, что прошлогодняя дурь с модным тряпьем прошла. Переболел, наверно. Леха подключился к Юркиной математике, и втроем мы даже успешнее позанимались. Но когда Юра ушел, Леха тоже заторопился. Мама очень удивилась, она хотела расспросить его про наш дом.

— Как же ты его отпустил? — выговаривала мне. — У меня шоколадные конфеты к чаю. Я же знаю, Лешка всегда любил сладкое.

Почему я его не задержал? У меня осталось чувство, будто Лешка пришел не просто так, ему хотелось поговорить.

И еще один неожиданный визит через день или два. Марьяна. А я на сей раз с Лесиком математику разбираю.

Марьяна не ожидала, что я не один, и совсем растерялась. А мне ее приход не был неприятен, наоборот, я пытался ее ободрить и задержать, подключив, как Лешку, к шефской помощи. Но она внезапно расплакалась и ушла.

— Она живет в нашем доме, — сказал Лесик. — Чуть что, мать ее бьет и выгоняет на лестницу. Она даже на чердаке сидит, я в дырку от старого замка видел. Там интересно, я подберу ключ и тоже буду туда ходить.

Все это неожиданной жалостью отозвалось во мне. И чердак с "комнатой", и колготки в зацепках, и красная земляничная кофточка — все всплыло. Я хотел догнать Марьяну, остановить, но прошло уже минут пять.

Зачем она приходила?

На следующий день в школе Марьяна не замечала меня, будто я был ей совершенно безразличен. Ну, и бог с ней...

34

Первого мая собрались с ребятами в поход с ночевкой, но пришлось его отложить. Юра заболел воспалением легких. Самочувствие было не таким уж плохим, и я велел ему обязательно прочесть Даррелла, а сам поехал к бабушке.

До Талиц два часа на электричке или чуть побольше на автобусе. Я выбрал автобус.

Все свои маленькие путешествия я до сих пор совершал с Лехой. А теперь ехал с Динкой. Она ворочалась и ложилась мне на ноги. Я внимательно глядел на дорогу и гнал от себя мысли о том, как встречу с бабушкой. Должен я с ней уви-

даться. И Динку пристроить. Если бы не Динка, не мой шкурный интерес, поехал бы я в Талицы? В отношении бабки меня мучило тягостное ощущение неловкости, в отношении собаки я чувствовал себя предателем.

Талицы — небольшой городок со старым монастырем, который реставрируют уже лет десять. Замшелый городок, почти не тронутый современностью. Однако при въезде выстроили грандиозный ресторан, легкий, невесомый, из бетона и стекла. Он вознесся на ногах-колоннах, которые, пронзая этажи, все утоньшались, утоньшались, и на крышу вышли стройными ножками зонтов. Под зонтами стояли столики. Разумеется, они пустовали. Не парижская у нас погода.

У входа в ресторан, на просторном газоне, начавшем весело зеленеть, стояли, сидели и лежали скульптуры из серого камня.

Невольно напрашивался вывод: Талицы хотят сделать туристским центром, иначе не закатили бы такого ресторана.

Мы вышли на невзрачном автовокзальчике, тут же сели на городской автобус и ехали совсем недолго. На остановке Динка заволновалась, закулила. Мне не надо было спрашивать дорогу, я шел за ней, и когда она остановилась у калитки, понял — мы у цели.

— Вот и вернулась ты домой, — сказал я Динке.

Я открыл щеколду, и тут же звякнул далекий колокольчик в доме. Дорожка от калитки выложена кирпичом, идет между черными пышными, готовыми к посадке или уже засаженными грядками. У самого дома желтеют нарциссы. Навстречу мне раскрылась дверь. Невысокая плотная старуха крикнула: "Альма!"

Динка побежала к ней, но не бросилась передними лапами на грудь, как положено, а ткнулась мордой в подол. Старуха не нагнулась к собаке, не погладила, она смотрела на меня и плакала. Совершенно дикая ситуация: что же, броситься обнимать новоявленную бабку?

Пока я раздумывал, она сама подошла, неловко обняла меня и поцеловала, обмазав своими слезами. Я ее тоже приобнял. Одета она была по-домашнему: в футболку из комплекта теплого мужского белья, вязаную полосатую безрукавку, поверх юбки — передник.

Старуха повела меня к дому. На крыльце опустилась, будто ноги не слушались. Подбородок дрожал. Мне стало ее жалко, но я не знал, что предпринять. Она гладила Динку, приговаривая: "Альма, Альмушка..." Динка сидела присмирившая. Наконец бабка взяла себя в руки и сказала:

— Хорошо, что мама тебе рассказала. Я ждала тебя. Правда, я надеялась, что она тоже придет. — Старуха поднялась и на пороге проговорила: — Вот дом, где ты должен был расти. Не в пионерлагерь ездить, а сюда. Не бог весть что, но если бы ты здесь рос, ты бы любил этот дом.

Тон ее показался мне несколько напыщенным,

и я не мог поручиться, что не было здесь скрытого упрека. А если упреки продлятся, как предложить ей Динку?

Она, конечно, права, я должен был здесь расти. И она — единственная бабушка, которая могла бы быть моей. У новосибирской были свои внуки, которые жили с ней. У белорусской, можно считать, не было внуков, меня возили только на похороны к ней.

— Как мама поживает? Все такая же энергичная и красивая? А Зоя как, сестра? Замуж не вышла? Милый человек Зоя, безобидный. По характеру она лучше матери, мягче, а тоже счастья нет.

Меня коробит, когда обсуждают мою мать, когда говорят о ней не только приятное. Я могу это делать, другие — нет. Но вроде бабка и не сказала ничего порочащего. Вот только эта интонация — объективная — мне не очень понравилась.

— Идем, — позвала она. Из коридорчика мы прошли в комнату с круглым столом и старым абажуром. В застекленной фанерной надстройке буфета стояли разнотипные чашки и рюмки. У дивана была спинка с полочкой, а на ней, вперемежку с минералами, маленькие фарфоровые уточки, белочка, лягушка, свинья, что-то невнятно напоминавшие мне. На стене висели часы с маятником под стеклом и барометр.

— Здесь моя спальня, — старуха показала комнатушку, где умещалась кровать и этажерка с книгами. — А вот кухня.

Газа на кухне не было. В углу печка, на табуретке электрическая плитка. Зато водопровод был. Бабка наполнила чайник и поставила на плитку.

— Обедать вроде рано, — посоветовалась она. — Чаю попьем?

— С удовольствием, — ответил я. — Давайте помогу.

— Помогать пока не надо. И не "выкай". Я ж не чужая.

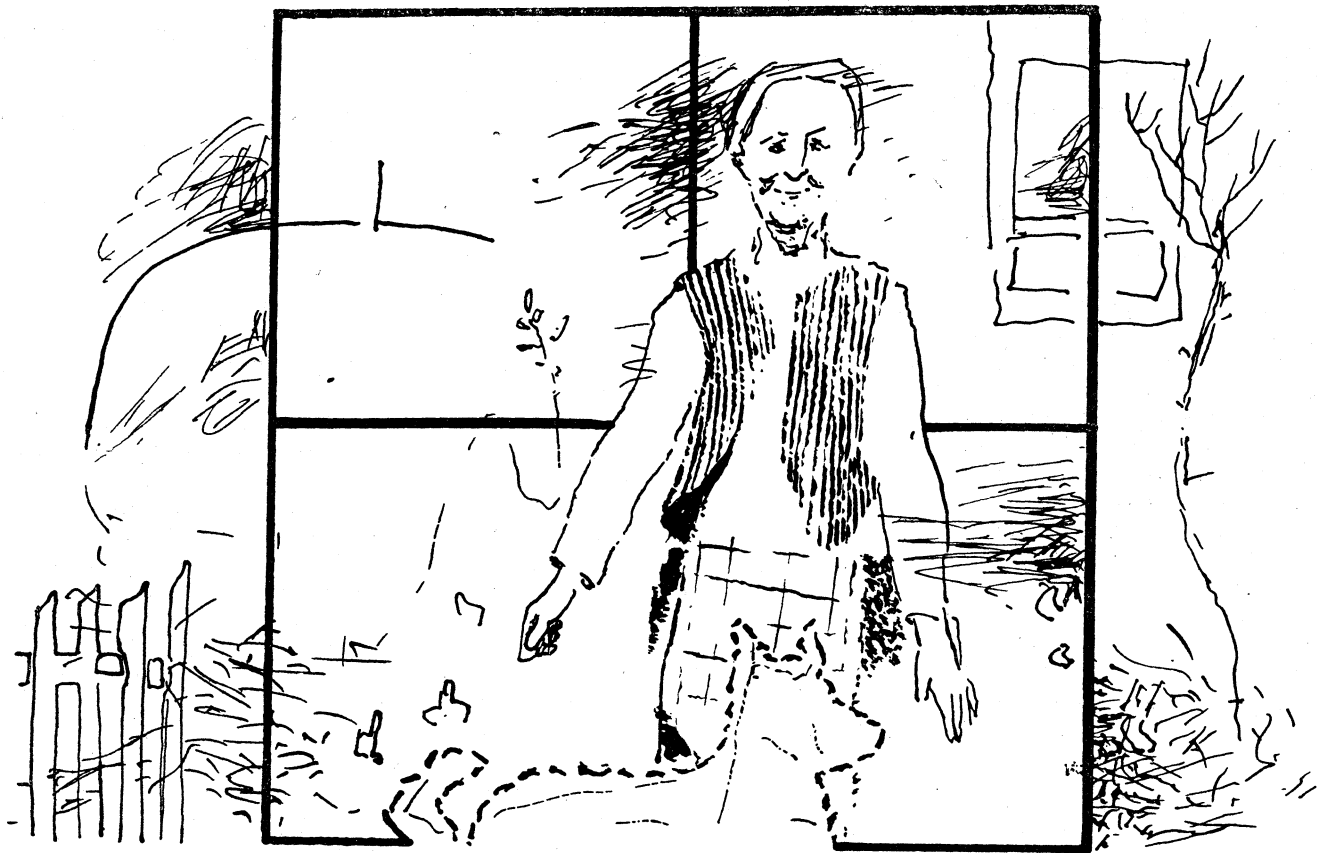
Я сел, чтобы не мешать ей передвигаться по маленькой кухне. Чувствовал себя скованно. Побуду немного и уеду, решил я.

К лицу ее я уже присмотрелся. Была в нем какая-то мягкая пластилиновая бесформенность, разглаженность между морщин. На скулах румянец из тонких красных жилок.

Я подумал, что уеду и забуду это лицо, не удержать в памяти и не представить, какое оно было в молодости. На Румянцева не похожа. Нет его светлых, простодушно и открыто глядящих глаз. И у меня нет.

Она нарезала сыр, хлеб, налила в вазочку меду, положила масло в масленку.

Керамическая глазурованная масленка была сделана в виде плетеной корзинки, а на крышке вылеплены грибки с красными и коричневыми шляпками. Есть вещи, которые почему-то нравятся, на них приятно смотреть. И вдруг мысль: я и раньше видел ее, водил пальцем по гладким холмным грибкам. Где? Когда?



Бабушка заварила чай, вручив мне тарелки, велела:

— Отнеси в зал.

Когда сели за стол, я уже освоился. Время от времени поглядывал на масленку и неожиданно для себя задал вопрос, хотя ответ был известен.

— Вы, то есть ты, так и живете здесь одна?

— Так и живу. Но ты не бойся, опекать меня не надо. А станешь приезжать — не по обязанности, конечно, — буду рада.

Так мне и надо за бестактность. Осадила. Лицо у нее мягкое, а характер, видать, твердый, конкретный характер. Кто она, интересно, по профессии, кем работала до пенсии? По внешности ничего не скажешь. Не удивлюсь, если она цветами торгует из сада, морковкой, укропом...

— А я тебя другим представляла, — неожиданно сказала бабка и улыбнулась. — Витя был сильный, жилистый, но на вид хрупкий, невысокий.

— Кем ты была? — спросил я у бабушки. — По профессии?

— Спроси лучше, кем я не была? — засмеялась она.

Бабушка родилась в семье сельского фельдшера. Десятилетку кончила, а по тем временам это было изрядное образование. Сначала она учительствовала в селе, потом работала бухгалтером. Народ-

ным заседателем была в суде. В войну на заводе и в госпитале работала. После войны — корректором в типографии, а потом глаза стали слабеть, перешла на телефонный узел, оттуда — на пенсию.

— Я и сейчас работаю, — сказала бабушка. — В больнице, санитаркой. Иногда зарабатываю ночной сиделкой у тяжелых больных. Совсем, знаешь, спать не хочется, старческая бессонница. Лежу и глаза в темноту пялю, и думаю, думаю. А мне не надо думать. Как говорят — тяжел крест, да надо несть... — Я понял, что это она о смерти сына...

— Ты обижена на маму? — спросил я.

— Какие обиды? Оба виноваты. Промаялись всю жизнь.

— Как промаялись?

— Вместе тесно, врозь — скучно.

— А почему они разошлись? Мама объяснила, но я так и не понял, — соврал я.

Бабушка замаялась, вздохнула, словно обдумывая, стоит ли со мной обсуждать эти вопросы, а потом сказала прямо, что мать моя хотела нормальной благополучной жизни, а Румянцев мотался по экспедициям. Она не стала с ним ездить. Дома был вечный "постоялый двор", останавливались и жили друзья, знакомые и незнакомые, ко-

торых матери приходилось обихаживать и кормить. А Румянцев еще и деньгами швырялся. Не выдержала мать. Разные они были люди.

— А ты что, не помнишь, как у меня жил? — огорошила меня бабушка.

— Не помню, — сказал я, и тут же всплыла картина: желтая дощатая стена, косой потолок под крышей, по которому бегают солнечные зайчики. Зеленый, потертый, как весенняя шейка селезня, ковер у кровати.

— У тебя есть зеленый прикроватный ковер? — волнуясь, спросил я.

— Есть, — обрадовалась бабушка. — Два, одинаковые. Ты помнишь?

Так вот они, странные видения-воспоминания, которые приводили меня в недоумение. Будто сны, тени другой жизни. Стена, потолок, ковер...

Я один. Пытаюсь встать на ноги, но они не слушаются, подгибаются под тяжестью тела, как ватные. Дотягиваюсь до кровати и хватаюсь за покрывало. Принимаю вертикальное положение. Когда стоишь — мир другой. В чем разница, не помню, а может, объяснить не могу, но она очень существенна. Делаю шаг, второй шаг, отпускаю никелированную ножку кровати. Снова на цветеньях. Опять хватаюсь за кровать и встаю. Может, мне год, а может, меньше. Солнце, ковер и попытка выпрямиться, тяжелые усилия, туман сознания, беспомощная оболочка, в которой я существую...

— Как же я у тебя оказался? Сколько мне было?

— Первый раз около года, второй — года три. Они сходились и расходились, а я надеялся, что все утрясется, она останется. Не виню я ее, не оправдываю его. Понимаешь?

— Понимаю.

Мы поднялись по лестнице из коридора. Спальня наверху с дощатыми стенами, скошенной крышей и зелеными, как трава, но сильно вытоптанными ковриками у кровати друг против друга.

Комната из детских снов.

Бабушка открыла дверь напротив и подтолкнула меня.

Это была его комната. Те же дощатые стены и скошенный потолок, полосатая дорожка от двери к окну. Перед окном — стол. Пепельница — чугунная голова собаки с разверстой пастью, фигурка Дон Кихота. Карандаши, ручки, ножницы в стаканчике. В деревянной настольной рамке фотография мамы: молодая, веселая, и прическа времен ее молодости — начесанная башня волос. А с другой стороны в такой же рамке — мама держит меня на коленях.

Не за этим ли столом я рисовал сову для моего отца-Прохорова, а мама писала с моих слов: "Папочка, я по тебе соскучился..."

На самодельных полках книги. Карты Севера на стене. В углу кресло, и в нем гитара стоит. Над кроватью портрет Румянцева. Совершенно

непередаваемый взгляд. Человек с таким взглядом не может быть низким, мелким, скучным.

— Я здесь ничего не трогала, только портрет повесила после его смерти. — Бабушка стояла в дверях, смотрела на комнату и на меня.

Потом мы ходили по саду, по рыхлой дышащей земле между грядок и яблонь. На обед варили картошку и ели ее с квашеной капустой и огурцами. И снова пили чай с медом. Бабушка сказала:

— Обидно, что ты не знал его. Виктор к детскому садику ходил на тебя посмотреть и к школе. Юра ему помогал, знаешь Юру Иванюка, их однокурсника? А соседи были уверены, что ты сын Прохорова. Рожала Лида в Новосибирске, а к тому времени она уже официально была Прохоровой.

— А он знал?

— Дмитрий-то? Как же не знать? Все он знал. И записал тебя на свое имя. А когда она уходила к Виктору — ждал. И она возвращалась. Конечно, надо и Дмитрия понять, он тебя растил, ты ему сын.

Я больше не торопился домой. И вообще успокоился. У матери во всем вечная спешка, я к этому привык. А бабушка была по-деревенски спокойна и нетороплива. Но и копушей не была — руки ее сами делали дело, она не подгоняла их, а получалось быстро и без дерганья.

Я рассказал бабушке о Москве и Динке, не насилуя себя, будто о само-собой разумеющемся. И так же естественно она отнеслась к моей просьбе.

— Давай попробуем, — сказала про Динку. — Но она же не осталась здесь без Виктора. Надо ее запереть, когда будешь уходить.

— Я вообще-то не думал ее сегодня оставлять.

— А чего тянуть? Отведем ее в Витину комнату.

Динка лежала на крыльце, я позвал ее, за мной она поднялась на второй этаж и переступила знакомый порог. Присела, потом стала ходить по комнате, как человек, осматривающий, что изменилось в его отсутствие. Мы с бабушкой вышли и закрыли дверь. В комнате стояла тишина. Может, Динка думала, что сюда придет Румянцев? Теперь мне надо было уезжать.

Провожая меня, бабушка сказала:

— Ты похож на отца, — и замаялась, — я имею в виду Виктора.

— Я искал сходство по фотографиям и не заметил.

— Пока у тебя выражение лица глуповатое. Щеки пухлые. А вот увидишь, лет через десять, как оформится физиономия, очень похоже будет.

Я совсем размягчился, обнял бабушку, пообещал:

— Приеду в конце мая. Пусть Динка попривыкнет.

— Лиде передай спасибо, что рассказала тебе. И скажи, что жду ее.

Я ехал в автобусе и думал: когда-то кто-то го-

ворил про мое лицо — доброе и умное. Но я ничуть не был разочарован, услышав от бабушки про глуповатое выражение. Улыбка растягивала губы, как я не пытался ее сдержать.

35

На другой день я все думал про бабушку. А лицо ее смутно помнил. Надо следующий раз посмотреть старые фотографии — ее в молодости и других родственников. Ведь, наверно же, у меня был и дед, отец Румянцева. Как же я про него не спросил?

Удивительно, что мои воспоминания ограничались прикроватным ковром и дощатыми стенами. Масленка выплыла из каких-то неведомых глубинных слоев памяти, фарфоровые зверюшки, но для этого нужно было их увидеть. Румянцев, бабушка, сад, кабинет с книгами и чугунной фигуркой Дон Кихота не запечатлелись. Как странно, даже страшновато.

Мне хотелось вернуться в бабушкин дом, а может, и пожить там.

Вечером произошли два события.

Мама нашла свою цепочку. Она спокойно лежала в "стенке", в хрустальной чаше. Мама удивлялась, как она могла ее туда положить и пыталась вспомнить, когда последний раз надевала цепочку — хотела таким образом воспроизвести ее путь до чаши. А я думал: как же я обманулся! А может, я сам не очень хороший человек, если мог заподозрить в воровстве любимую (тогда любимую!) девушку? Нельзя подозревать, если любишь, это тоже предательство. А вернее всего, я был не прав, когда смолчал у нее дома, увидев цепочку. Но как было сказать?

И тут в голову мне пришла подлая мысль: цепочка появилась после визита Марьяны.

Я чувствовал себя подонком, и я следил за матерью — не связывает ли она появление Марьяны и обнаружившуюся цепочку? А еще я стал вспоминать, как появилась у нас Марьяна, могла ли она, проходя через большую комнату, подбросить цепочку в чашу? Кажется, открыла ей мама, а ушла она внезапно, заплакала и выбежала, я и не провожал ее, только позже дверь закрыл. Зачем она приходила? Помирилась хотела, мосты навести? А может, из-за цепочки и приходила?

Опять начались выматывающие "ведьмины круги". Но тут случилось второе событие этого вечера.

Я услышал знакомое поскребывание, открыл дверь, и Динка бросилась мне на грудь. Она проявляла бурный восторг, и я обрадовался тоже. А потом думаю: намучаюсь я с ней, я ее нигде не пристрою. Что же делать?

36

Марьяна ко мне больше не подходила. А я смотрел на нее и недоумевал, что я в ней такого находил? Без любви значительно удобнее жить, а

главное, времени очень много высвобождается. Наверное, это и не любовь была, иначе не могла же она так быстро кончиться?

Почти ежедневно ко мне навевались ребята. Я рассказывал им про рыб. Васе нравятся скалярии, говорит, что они движутся, как парусники в море, строгие, невозмутимые. Зато Лесик обожает смотреть, как дерутся петухи и макроподы. И всем троим по душе Динка.

В воскресенье я собрался ехать к бабушке. Во-первых, я боялся, что она за Динку волнуется, разыщет нас и придет — она ведь думает, что мама все знает. Во-вторых, почему-то захотелось снова ее увидеть.

А в субботу зашел на Пушкина. У Аллы в дверях торчал конверт: "Саше Прохорову". Письмо прочел тут же на лестнице. Алла коротко сообщила, что уехала до осени в экспедицию, в Архангельскую область, и чтобы я написал ей, был ли у бабушки.

Очень грустно мне стало у пустой запертой квартиры. Отправился домой, а там натыкаюсь на Лесика, слоняется по улице, скучает, говорит мне задумчиво:

— А Марьяна на чердаке с Сережкой целуется.

У меня кровь к голове прилила, прямо дурно стало: ярость и слабость.

Я направляюсь к синему обшарпанному дому с серыми наличниками и балконами. Наверху двускатной крыши рядом голуби сидят. Ноги не несут меня, остановился на скрипучей лестнице и вижу, Лесик рядом стоит. "Тише ты", — говорит и палец к губам прикладывает. Я стараюсь ступать неслышно, но ступени визжат, миную площадку второго этажа, еще один лестничный марш — и я у деревянной двери.

Лесик встает на колени возле дырки от выломанного внутреннего замка и манит меня рукой. Бессильно опускаюсь рядом, ничего не вижу. Мне кажется, у меня дыхание останавливается. Тогда я поднимаюсь и с силой рву на себя дверь. Крючок вылетает с гвоздями и, повиснув на колечке, позвякивает.

С минуту проходит, пока я с порога вглядываюсь в темноту. Сначала слышу: "Выйди вон! Это низко — подглядывать!" Потом вижу: она вскакивает с дивана, натягивая на себя одеяло, из которого ключьями лезет вата, но запнувшись за него, падает на щепень. На диване кто-то сжался и молчит.

Я ору не своим голосом:

— Дрянь! Дрянь поганая!

Крючок все еще покачивается, а я уже бегу вниз. В глазах — туман. Сбоку семенит перепуганный Лесик.

У дверей уже все наши собрались, Юра и Вася, но я прохожу мимо, не обращая внимания. Только слышу, как Юра угрожающе говорит у меня за спиной:

— А по ушам?

Тогда я оборачиваюсь и говорю:

— Оставь его, он маленький, не понимает.

Я куда-то иду, почти бегу и вдруг вспоминаю, как во Дворце культуры я впервые ее целовал, а она не смутилась и не сопротивлялась, и по морде мне не дала. Что же это? Земляничка! Чистая, как раннее утро! Она хочет роль одну сыграть! Джульетту она хочет сыграть... Еще вчера я радовался, что так просто и безболезненно кончилось мое любовное приключение, и Марьяна мне не нужна. А сейчас зубами скриплю, убил бы ее. Манекенщица... Проститутка...

Не заметил, как остановился у старого тополя на набережной. Кто-то трогал меня за рукав. Лесик.

— Ты не сердись, — говорит он. — Она же сама просила, и я пошел к тебе и сказал, что она целуется с Сережкой. Даже заставила повторить, чтоб не перепутал.

"Черт возьми, черт возьми", — повторяю я как идиот, и тру костяшками пальцев ребристую кору тополя, со всей силы, до крови.

37

Очень люблю ездить в автобусе. Самолетом я летал дважды. Под окошком простирается снежная степь, то ровная, как покрывало, то округлобугристая. Мертво и призрачно. В этой заоблачной степи даже колокольчик не зазвенит однозвучно. Наверно, в настоящей пустыне или на Северном полюсе не так одиноко.

В поезде лучше. Но уж потянутся леса и леса, и леса... И что за цветы там у насыпи растут, едва догадаешься, а уж все ползающее и бегающее в траве вообще скрыто. Города заслонены зданиями вокзалов. Деревни — снегозадержательной лентой елей. Как игрушечные, коровы на пастбищах, — и снова леса, поля, одинокие железнодорожные домики со смородиной и георгинами у крыльца.

Вот когда едешь автобусом по шоссе, жизнь рядом. Лес, кажется, вот он, руку протяни. И тропинки, по которым можно туда углубиться, вот они. Пролетают над полем стаи птиц, как взмах воздушного покрывала. Обогнали женщину на велосипеде, она катит, свесив по ягодице с каждой стороны сиденья. Парочка с транзистором идет в обнимку по обочине, она — в рейтузах. А теперь справа — река, но ее не видно. Только над зарослями прибрежного сухого тростника проплывает маленький треугольный флажок на мачте.

Бабушка встретила меня на крыльце.

— Альма вернулась? А я тебя ждала. С самого утра пироги пеку.

— Откуда ты знала, что я приеду? — спросил я, чувствуя, что глуповатая улыбка расплывается по моему глуповатому лицу.

— А вот уж знала. Предчувствие у меня было.

Мы пили чай с пирогами, а потом бабушка показала мне семейные фотографии, начиная с до-

революционных, на толстых картонках с вытесненными фамилиями и адресами фотографов.

Мой дед, муж бабушки, погиб на фронте. Правда, к тому времени у него была другая жена. Развелись они перед самой войной.

В сорок седьмом бабушка собиралась замуж за какого-то инженера, два месяца они прожили в этом доме, а потом бабушка инженера выгнала. Она не объяснила, почему он не оправдал ожиданий.

Виктор Румянцев родился в сороковом году, болел костным туберкулезом. После этого он всю жизнь немного прихрамывал. Однако это не помешало ему получить первый разряд по туризму и работать в геологической разведке.

— Он очень здоровый был и выносливый. Он только и болел в раннем детстве, но это от войны и голода. А потом и горя с ним не знала, — сказала бабушка. — Только вот пить он стал в последнее время. Думала, может, на работе неприятности или мучается из-за Лиды, из-за тебя. А он, видать, свою болезнь чувствовал. А может, боль заглушал? Он не жаловался, а у него голова болела и не просто болела...

Бабушка просила Румянцева не пить, он обещал, но не выполнял обещаний. А потом мальчишки, с которыми он водился, устроили собрание и предъявили ему ультиматум, потребовали сухого закона. Отношение мальчишек на него очень подействовало, перестал пить. А вскоре после этого попал в больницу и домой уже не вернулся.

Румянцевские мальчишки, оказалось, у нас в городе живут, а не в Талицах. Один уже успел уехать, поступил в морское училище в Ленинграде. Присылает бабушке открытки к праздникам. Она дала мне его адрес.

— А ты не хочешь пожить в Витиной комнате? — неожиданно спросила она.

И тут я признался, что матери о смерти Румянцева неизвестно, и мне она ничего не говорила.

— Знаю, — спокойно сказала бабушка.

— Откуда? — изумился я.

— Письмо получила: Виктору от Лиды. Я думаю, что она его не забыла. Твоему отцу, Прохорову, — уточнила она, — тяжело, наверно, было с ней жить. Любил ее, вот и терпел. А Лидушка до сих пор любит Витю и не знает, что он уже далеко.

Оказывается, мать писала Румянцеву. Не очень часто, но все прошедшие годы и до сего дня. Бабушка сказала, это очень хорошие письма, там все лучшее, что есть в матери.

— Эти письма можно печатать в газете, чтобы люди читали и плакали.

— Почему плакали? — не понял я.

— Потому что жалко. Ее жалко, его. И над своей жизнью заодно плакали бы.

Она думала, как поступить с письмами. Матери отослать — уничтожит. Тогда бабушка собрала их, завязала в пакет, а два, пришедшие после смерти Румянцева, не распечатывала.

— Собираемся жить с локоть, а живем с ногой. Мало ли со мной что случится? Вещи растащат — бог с ними, а представь, как бумаги, письма, фотографии разбросаны по дому, по саду, ветер их носит. Я такое не раз видела. А тут приехала к Вите на кладбище, там женщина мне и говорит, что мальчик с собакой на могилу ходит. Стала тебя ждать. Пока не увидела, боялась, что окажешься вроде нынешних, патлатых. Им мотоциклы и магнитофоны нужны, плевать им на какие-то бумажки. С другой стороны, думаю, был бы ты, как эти, Альма к тебе не привязалась бы. Ну, а когда увидела, тут уж поняла — с бумагами решать тебе. Надо бы маме рассказать о Викторе, и пусть бы они с Дмитрием посмотрели статьи и диссертацию, они все же специалисты. А материнские письма, если со мной что случится, на твоей совести. Сохрани. И обещай, прочтешь их, когда сам будешь отцом, и тогда решишь, как поступить. Обещаешь?

Я обещал. А бабушка добавила, что такие письма надо детям и внукам передавать. А в бумагах отца я могу разобраться хоть сейчас, и остальные письма, кроме материнских, могу читать, они уже никакие не личные, зато помогут мне лучше узнать Румянцева.

— А Виктор отвечал матери? — спросил я, бабушка ужасно заинтриговала меня.

— Наверное. А вот встречаться — не думаю, чтобы встречались.

— Дела... — только и сказал я.

Возвращаясь из Талиц, я ломал голову, как столько лет не подозревал об истинной жизни своей семьи, воображал мать счастливой, деловой и холодноватой от красоты и гордости. Неужели ее могло волновать что-то кроме работы, благополучия семьи и уюта в доме? Невероятно. И все-таки я сразу поверил в ее любовь к Румянцеву и в то, что она может писать какие-то особые, прекрасные письма. И почему-то не оскорбился за моего отца-Прохорова.

Мне было чуть-чуть грустно, самую малость. От автобуса я пошел по городу пешком. Вечер был подстать моему настроению, тихий, теплый, солнце еще не зашло. В домах женщины мыли окна, и скрип чистых стекол под размашистыми движениями рук звучал, как птичий хор.

38

Аннушка сказала, чтобы я поднажал с учебой, потому что в последнее время не очень старался, через месяц выпускные, а в классе я единственный потенциальный медалист.

Я и поднажал. Спокойно, делово. Выпускные сдал на пятерки.

Теперь можно было вплотную думать о Москве. Но как быть с Динкой?

Лесик просил оставить ему собаку. Мама предлагала отдать ее сослуживцу, тот жил в своем доме, и у него убили сторожевую собаку. Посадить

Динку на цепь? Но если она не осталась у бабушки, вряд ли она станет жить у Лесика, а тем более в будке у чужих.

Был и еще один, вероятно, беспроблемный вариант: рассказать все матери и оставить Динку дома. Но я оттягивал разговор, смотрел на родителей, и страшно было разрушать их покой и привычную жизнь.

На выпускной вечер я явился без всяких сентиментальных чувств. После торжественной части собралась было поехать в свою прежнюю школу. Но зачем? Отдалился я от старого класса, да и к этому не приблизился.

Игорь Инягин предложил праздновать у него, а с рассветом выйти за город, на Сторожевую гору, встречать солнце. В его распоряжении двухкомнатная квартира, родители уехали на дачу. А еще у него есть шампанское, и мать оставила кастрюлю винегрета.

Собрались человек десять и отправились в магазин покупать хлеб, сырки, консервы. Наверно, я шел с ними по инерции, все равно деться некуда, а к Игорю я хорошо относился. Но и у других, мне кажется, не было более веских причин собираться вместе.

Я не сразу заметил, что Марьяна идет с нами. Разряженные девчонки оживленно болтали, а она осталась в стороне, не вписалась в компанию. На ней была знакомая мне красная кофточка Землянички. Я подошел к ней, спросил, как настроение.

Странно, еще весной я ее целовал, потом ненавидел, потом она перестала для меня существовать. Кажется, будто не четыре месяца прошло, а целая жизнь.

— Ты едешь в Москву? — спросила она.

— Да. А ты будешь поступать?

— Это неважно.

Дуется, решил я.

Тут мы пришли к Инягину. Девчонки стали готовить бутерброды в кухне, наш спец по року запустил музыку, а я, признаться, физически не приспособлен к громкой музыке, плохо ее переношу. Я рассматривал корешки книг в "стенке", как вдруг увидел в стекле, что Марьяна вошла в комнату, и обрадовался. В это время выстрелила пробка. Инягин разливал шампанское, а оно не хотело вмещаться в фужеры, вылезало пеной на стол.

— Девчонки! — орал Инягин. — На минутку сюда! Поднимем бокалы, сдвинем их разом! Ура!

Визг, писк, звон стекла, и тут, у самого своего плеча слышу спокойный голос Марьяны.

— Я тебе хочу что-то сказать. Выйдем на балкон.

— Выйдем, — согласился я, и почему-то учащенно забило сердце.

Мы выпили шампанское, оно щекотало горло. И пока мы шли к лоджии, мне вдруг все представилось немного в ином свете. Что ж, если она путала свои мысли и чужие? Что ж с того? И укращение, спрятанное в столе под газетой вместе с

фотографией отца (если даже, допустим, она его брала) — было для нее символом другой жизни, частичкой красивой и счастливой, как она думала, женщины, моей матери. Что-то такое я почувствовал, приблизительно такое. И жалость с нежностью снова потянули меня к ней, еще больше потянули. Это была моя девушка, земная, несовершеннолетняя, и я сто лет не видел ее, не прикасался к ней. Сегодня наша ночь, а утром мы вместе встретим солнце.

Лоджия была захламлена пустыми банками, бутылками, лишним в квартире. У решетки зеленая дружная поросль помидоров. Ветерок шевелил тюлевую занавеску со стороны комнаты. Я закрыл дверь и дотронулся до мягких блестящих колечек волос, положил руку на ее талию. Я не собирался этого делать, но опять начался магнетизм. Щека у нее была прохладная и упругая, а лицо Марьяна все-таки отвернула от моих губ.

— Ты назвал меня дрянью.

Я почувствовал, что краснею. Совсем не собирался просить прощения, наше прощение должно было быть обоюдным.

— Ты не можешь представить мое тогдашнее состояние, — волнуясь, стал оправдываться. — Но ведь все кончилось? Все плохое...

Она оторвала от себя мои руки и отошла в конец лоджии, а я опустился на посылочный ящик.

— Ты обманул меня, — жестко сказала она.

Вот те раз! Я даже попробовал ухмыльнуться и перевести все в шутку. Наверно, надо выдержать эту дурацкую театральщину, чтобы помириться. А еще мне вспомнилось ее смешное: "Низко подглядывать!"

Марьяна зачем-то стала рассказывать, как в детстве вскрыла елочный картонаж — Деда Мороза. Она думала, уж если в хлопушках есть сюрприз, то в мешке деда Мороза обязательно спрятан подарок. Разодрала его и, разумеется, ничего между двух картонных половинок не обнаружила. Тогда она разорвала мешок у ватного Деда Мороза и снова ничего не нашла. Тогда она стала бить стеклянные игрушки с елки, просто от злости, потому что обманули. А потом били ее за это.

— Ты сам дрянь, — четко выговорила Марьяна. — Дед Мороз! — Глаза у нее стали, как из жести. Она не мириться пришла. Она ненавидит, она убить меня готова. И тут я испугался.

— У меня такое произошло весной... — залепетал я. — Ты же не знаешь, что со мной случилось! — Она не слушала.

— Что-то ты мне хотел подарить? Вроде бабочки, помнишь? Радость нечаянную! А кроме пустоты тебе нечего дарить. Ты сам пустой. Решил, что со мной можно все продолжить? А завтра заорешь, что я потаскуха?

— Что я сделал тебе? — голос у меня дрожал.

— Не понял? Жаль.

— Подожди, — униженно просил я, — мне нужно тебе объяснить. Мы не можем расстаться так...

Марьяна оттолкнула меня, ударила по руке, когда я хотел задержать ее и, прямая, непреклонная, прошла мимо меня, мимо суетящихся в комнате ребят, а через минуту я увидел ее, как она появилась из подъезда и какая-то сжавшаяся, сторбленная, почти бегом, направилась через садик.

Инягин похлопал по плечу.

— Что она от тебя хотела? Она вообще странная девка.

Я тихонько выскользнул из квартиры, осторожно прикрыв дверь. Марьяны уже не было, да и догонять ее было бессмысленно.

Я бежал по городу. Как буйно цвела во дворах сирень и как одуряюще пахла. Городской сад весь светился сиренью. Она здесь всех оттенков от розового до синего. Я сел на скамейку и закрыл глаза. Было часов десять вечера. В саду играл духовой оркестр и везде слышались голоса и смех. Кто-то хотел занять скамейку, но увидев меня из-за сирени, ойкнул, фыркнул. Засмеялись и ушли.

Запах был невыносим, сильный и томный. Надо мной висели отцветающие кисти сирени. И я недоуменно подумал, что в полном праздничном цветении уже есть все, включая сладостный запах тлена.

Сколько потерь за последнее время? А что найдено?

И я опять куда-то побежал. По дороге понял — к Лешке.

Моя старая школа была закрыта. Где же все? Наш деревянный дом приветливо светил окнами. На втором этаже клетка с чижом, на первом невестились в горшках и жестяных банках белые и сиреневые фиалки. На окне у Нинки, которая со Славкой Капитоновым гуляла, сушились ползунки. Лешкины окна встречали меня веселым зеленоватым светом. Его родители, наверно, знали, куда пошли наши ребята. А мне показалось, если найду сейчас Лешку, то все будет нормально. И я его найду во что бы то ни стало, хоть к утру.

На пороге застыла Лешкина мать.

— Тетя Тоня, это же я, Санька Прохоров. Вы что, не узнали меня?

Она пошла в комнату, а я за ней. Тут на свету я увидел, что она очень постарела и выпивши. И комнату милую с детства увидел. И фарфоровую балерину на буфете, и фигурки Городничего, Хлестакова и Собакевича.

Отец Лешки сидел на разобранной постели в белье, в белых полотнянных кальсонах с болтающимися у шиколоток завязками. Он встал мне навстречу, обнял, и по щекам у него потекли слезы. И я обнял его и тоже заплакал, и стало легче.

— Лешку-то нашего посадили... — сказал он.

У меня слезы высохли.

— Как посадили?

— Ты разве не знал? Я думал, ты знаешь... Я думал, ты и пришел, потому что сегодня выпускной. Мы со старухой тут одни...

Тетя Тоня сидела за столом, подперев голову



рукой, она налила себе водки и по-мужски, одним махом опрокинула, только в горле булькнуло.

— Учиться хорошо стал, поступать в институт собрался, все наладилось, — сказала она. — Потом завелся с дружками, выпили и буфет обокрали. В гостинице. Лешка мне говорит: "Мама, я тебе клянусь, я не брал. Но я был пьяный, ничего не помню". А свалили на него. Мне и следователь сказал: "Сомневаюсь, что он брал, но дружки говорят на него, а он не помнит".

— Дали ему два года, ему же в апреле восемнадцать стукнуло, — добавил отец.

Мать снова наполнила рюмку и выпила. Когда отец хотел достать из буфета другую рюмку, угрюмо глянула.

— Ну-ка, поставь на место.

— Саньке-то налей, — пробурчал отец.

— Нечего ему. И тебе нечего. Выпил свое. А ты, Саня, иди домой, — сказала она, хотя держала меня за рукав. — Лешка не взял бы чужого, и меня бы не обманул. Только ведь, как говорится, нет такого молодца, чтобы обманул винца. Выпивка такое делает с человеком, что не придумаешь.

— Ты, мать, совсем... Сидишь, клещешь, другим не даешь, и хаешь водку...

— Иди, Саня, — повторила тетя Тоня и стукнула ладонью о стол. — Кому говорю, иди!

Я повернулся и пошел. Мучительно вспоминал, когда же Лешка приходил ко мне. До или после того, что с ним случилось? А может, поговори мы с ним тогда, не было бы ни пьянки, ни гостиницы, ни буфета?

Как-то я добрался до дому, хотел завалиться спать, а мама спрашивает: "Ты выпил?" "Ты что? — говорю. Не пил я. Один бокал шампанского".

39

Мне ничего не оставалось делать, кроме как пожитки сложить и уехать отсюда. Но как быть с Динкой?

Я должен решать свою судьбу, при чем здесь собака? Неужели ради собаки ломать жизнь? Мне было тошно на нее смотреть. Динка это чувствовала, ходила с виноватым видом. В это лето я узнал, что такое бессонница.

Откуда Динка свалилась на мою голову? Это ужас какой-то! Я ненавижу себя. И всех. И собаку. Я хочу ее предать. А иначе мне придется предать самого себя, свои мечты, свое будущее. Разве это равнозначные вещи?

Только в сказках о принцах и розах пишется:

ты навсегда в ответе... А принц оставляет и розу, и Лиса, и никто его в том не винит. Бабушка говорит: "Никто не виноват". А ведь все перед всеми виноваты. Румянцев предал меня, моя мать предала Румянцева и их любовь. Думали они про ответ за прирученных?

А теперь надо мать казнить — рассказывать эту бредовую историю с ее первым любимым мужем и собакой. Я пробовал, начал с того, что придется Динку оставить дома, а она покачала головой.

— Мы с папой решили взять отпуск в октябре и поехать в Армению. Мы же никогда не отдыхали вместе. Отдай Динку ребятам, освободи ты меня, вспомни, что ты обещал, когда привел ее осенью.

И в самом деле, они никогда не проводили отпуск вместе. И я должен это поручить? Может быть, мать начала освобождаться от Румянцева, может оттуда он не мог так сильно притягивать ее сердце, ослаб магнит?

Мать изменилась за последний год, помягчела, что ли. Перестала мной командовать на каждом шагу. И теперь ее требование отдать Динку прозвучало просительно.

Отец каждый день спрашивал, собираюсь ли в Москву. А я валялся на койке, читал "Королеву Марго", "Остров сокровищ" и все глубже и глубже падал, проваливался в какую-то яму. Мне уже и вставать утром не хотелось, умываться. Стал читать "Три товарища", и Ремарк меня пронял, слезами обливался, когда дочитывал. А потом я бродил по городу, по улице Пушкина, смотрел на Аллыны окна без огня.

В июне я проводил в пионерлагерь Юру и Лесика, а вскоре получил от них письма. Юра сетовал, что мы не сходили в настоящий поход, и я написал ему и обещал, что вернусь из Москвы на каникулы, и мы пойдем в такой поход, и, наверное, с нами будут ребята моего дяди, про которого я рассказывал. Эти ребята много умеют и научат нас, а еще мы будем петь дядины песни.

Верил я в это? До сих пор не удосужился написать в Ленинград. И к Лешкиным родителям не зашел узнать адрес, а письмо Лешке нельзя было откладывать в долгий ящик.

Потом у Васи дома случился пьяный скандал, и Вася вынужден был пожить у нас два дня. Это немного встряхнуло, привело меня в чувство. А на третий день за Васей пришла мать, смущалась, как робкая овечка, оправдывалась перед моей. Моя мама только губы поджала.

Я получил еще два письма из пионерлагеря. На конверте Лесика сверху написано: "Шире шаг, почтальон", а на обороте, по диагонали — "Лети, как Гагарин, вернись, как Титов". А Юра написал: "Даже не знаю, как мы будем без тебя, когда ты в Москву уедешь. Мы будем по тебе скучать, а вот Лесика худо придется".

Однажды я встретил Юркину мать, Нину Ивановну, и узнал, что он ей не пишет. В очередном письме я настоятельно просил написать матери.

Собрался проконтролировать, даже заходил, но не заставал Нину Ивановну дома. И вдруг встречаю ее на улице. Она обрадовалась.

— Он мне написал, — говорит. — Представляешь? Как не Юрка. Я знаю, что он меня любит, только он грубоватый. Я и не ждала письма. Зайди, почитай.

Прочел я: в письме голая информация — погода, еда, состояние одежды и немного про купание и авиамодельный кружок. А мне он про мысли свои писал. Может, считает, что его размышления матери неинтересны или недоступны? А она просто счастлива письму.

Нина Ивановна меня не отпускала, чай соорудила, рассказывала, что работает с шестнадцати лет; сначала на овощебазе, потом на стройке красновощицей. Два года назад ее муж Славик не вернулся с работы. Была пятница, день полочки, она волновалась, но объяснение вроде было — загулял с друзьями. Ночь, конечно, она не спала, а на другой день не выходила из дому, ждала. Юра беспокоился, она его утешала, а сама места себе не находила. Решила идти в милицию, если не явится в воскресенье. А к ночи, совсем поздно, звонок — милиционер. Такая-то? Ваш муж такой-то? Она спрашивает: "Что он натворил? Где он?" Милиционер мялся, мялся и говорит: "Убили". Затряслась, как в лихорадке, но не верит. Муж у Нины Ивановны был не задиристый. Работал шофером, пил редко, хотя случалось иногда. Жили они в любви. А ростом он был метр девяносто, богатырь.

Тогда милиционер выложил водительское удостоверение. А назавтра она пошла в морг, чтобы опознать мужа. Так и осталось неизвестным, кто убил и при каких обстоятельствах.

У Нины Ивановны покраснели глаза, но она не плакала. Руки ее рабочие, без маникюра, дрожали, когда сыпала сахар в чашку.

Она сказала, что когда-то ее Славик принес домой котенка — Рыжика, он вырос у них. За два дня до несчастья Рыжик все прыгал к мужу на плечо. Когда обедали и потом. Они смеялись, а утром смотрят — нет Рыжика. Потом соседка пришла и говорит: "Это не ваш котик во дворе лежит?" Рыжик выпал из окна и разбился — внизу торчали штыри арматуры, на них он и упал. Славик нашел лопату и похоронил кота, а на следующий день его убили.

Нина Ивановна вопросительно на меня смотрела, словно ждала объяснения этому странному совпадению. А потом сказала:

— Сбережений у нас не было, а долг был — взяла мебель в кредит. Пошла на две работы. Болясь не выдержу. Один раз заснула на кране, а ты представляешь, что такое кран? На минуту заснула, очнулась — страх взял. Потом привыкла ко всему. Юрка, небось, уверял тебя, что летчиком станешь?

— Хочет стать.

— Он и в школе в сочинении писал. Он мечтает

про самолеты, а мне все время говорит, после восьмого класса на стройку пойду, буду тебе помогать. Я ему — потерплю еще, выучись, а он свое. Иногда я Славика во сне вижу и жалуюсь ему: что ж ты с нами сделал? Как же ты мог нас оставить? Разве ж я такая была? Да я на десять лет постарела. Ну, и Юрка. У него после этого аллергия началась страшная: на пыль, на тополиный пух, на шерсть животных, не знаю, на что у него не было аллергии. Вечно слезы текут, нос забит, задыхается. Лечили, теперь ничего, но все-таки есть.

Почему-то Нина Ивановна напомнила мне бабушку, хоть были они не похожи ни внешне, ни судьбой. Ушел я от нее и все раздумывал, как бездарно провел последнее время. Люди живут, борются за жизнь наперекор всему и, наверное, это главное, что нужно уважать в человеке. А мне надо срочно принимать решение и кончать бессмысленную, бесполезную жизнь.

Дома я снова выслушал вразумление отца. Он сказал, если я не хочу ехать в Москву, чтоб устраивался на работу.

Я собрал документы для института и, как мать, написал список дел.

1. Взять билет в Москву.
2. Узнать адрес Лехи и написать.
3. Написать в Ленинград.
4. Устроить Динку (?)
5. Съездить к бабушке.

Потом я убрался в своей комнате. Из письменного стола прямо в помойное ведро выгреб старые тетрадки, испорченные ручки и высохшие фломастеры. Нашел два смятых и разглаженных листка: "Все в жизни необходимо: от ромашки и маленького жучка до волка и тигра..." Бросил в помойку, потом вытащил и снова засунул в ящик стола.

Ночью мне снилось, что я учусь в университете, а живу у Юркиной матери, они почему-то тоже в Москве. Кому я Динку оставил — не помню, только становится мне известно, что она пропала. Юркина мать говорит, поезжай и найди ее, я иду на вокзал, а там толпы народу, как в военных фильмах. Сидят на узлах и на полу, дети спят между котомок и чемоданов, я блуждаю между людей и вещей и не могу найти кассы, и никто не знает, можно ли выехать из Москвы.

40

Утром я положил список дел в карман, хотя помнил его наизусть, свистнул Динку и отправился на вокзал. Надо отрезать пути отступления, тогда хочешь-не хочешь придется решить все вопросы.

От центра я пошел пешком через городской парк. Сирень давно отцвела и топорщилась ржавыми налитыми семенем гроздьями. Нет, о прошлом я не хотел вспоминать. На ходу время от времени я поглаживал Динку и думал о Юре. Должно быть, он не такой, каким я его представ-

лял, лучше и интереснее. Потом я думал о Москве и так дошел до массивного здания педагогического института, у дверей которого оживленно беседовали новоиспеченные абитуриенты. Мне захотелось войти в институт, я похлопал Динку по спине и велел: "Сиди тут".

По обе стороны темноватого вестибюля тянулись коридоры, там были расставлены столы с тумбочками: "физфак", "отделение графики" и т. д. Здесь сдавали документы. И вдруг навстречу мне Ленка Маркова из старой школы. Мы долго трясли друг другу руки и улыбались. Она решила, что я тоже хочу отдать документы.

— Куда же ты поступаешь? — спросила она.

— Черт его знает куда, — весело ответил я.

— А я тебя вспоминала.

— Я тебя тоже. Ты меня ужасно озадачила своим высказыванием про душу отличника, где царит кладбищенский покой.

Ленка очень удивилась, она забыла про это, а когда я растолковал — засмеялась.

— Не знаю, к чему бы я так сказала.

— Ты неприязненно ко мне относилась?

— Ты что! — возмутилась она. — Я даже была в тебя влюблена. Но ты, конечно, был для меня недостижим. Может быть, таким образом я хотела заговорить с тобой? — Она снова засмеялась и тут же посерьезнела.

— Знаешь, что с Лешей?

— Знаю.

— А ведь это мы виноваты.

— Я виноват.

— Мы вместе. У нас был недружный класс.

Чудеса. Девять лет Ленку в упор не видел и не вспоминал бы о ней, если бы не обидела меня. Казалась она мне интересной. Впрочем, она классной жизнью и не жила, никак не проявлялась, все во Дворец пионеров бегала, то ли в юнкорский кружок, то ли в пионерский театр.

В разговоре одна бровь у Ленки поднималась выше другой, и лицо при этом становилось лукавым. При малейшей улыбке на щеках играли ямочки. Никогда не замечал, какое у нее живое лицо и приятная манера разговаривать.

Ленка сказала, что поступает в педагогический на заочное и идет работать пионервожатой в нашу школу.

— Она тебе не обрыдла за десять лет? — поинтересовался я.

— Она мне не очень нравится. Но теперь и от меня будет кое-что зависеть. Я хочу, чтобы ребята любили школу. Можно же учить совсем не так, как нас учили, есть совсем другие учителя и методы работы. Сейчас педагогом быть не очень престижно, существует мнение, что учителя в основном серые люди.

Тут есть доля правды. И вообще наша педагогика зашла в тупик, грядет революция. Это будет потрясающе интересно! Борьба, понимаешь, жизнь, прорва работы! И люди пойдут в учителя совсем особые и только по призванию. Иди в пе-

дагогический. Это же здорово — мужчина-учитель! В школах засилье баб, а это не меньшая ненормальность, чем раздельное обучение. Ты ведь биологией увлекался?

Сопротивляться ее напору и вдохновению было бесполезно. Я посмеивался, а она тащила меня за руку к столу "биофака", только не могла оторвать от пола. И вдруг в конце коридора, у окна, я увидел девушку в красной кофточке. Она сдавала документы. Я не мог разглядеть ее, я шестым чувством ее узнал, светилась она вдаль, как красная ягодка. И тут я позволил сдвинуть себя с места и отвести к столу, где над амбарной книгой сидела девушка, а за ее плечом маячил седой представительный старик.

— Хотите поступать, молодые люди? — спросил он.

— Это он хочет, — ответила за меня Ленка.

— А что привело вас на биофак? Давно ли намерены стать учителем? — поинтересовался старик.

— Она меня привела, — сказал я, показывая на Ленку. — А учителем до сегодняшнего дня не думал становиться.

Хотел послушать, но шутка явно не получилась. Старик вскинул голову и задумался. От глаз у него шли тоненькие складочки-морщинки и казалось, он близорук и щурится, вглядываясь далеко вперед.

— А что же такое случилось сегодня, позвольте узнать. Почему изменились ваши планы?

— Меня вообще-то интересует биология, а не педагогика. — Краем глаза я следил за красным пятнышком в конце коридора, держал в поле зрения. И вдруг подумал — а почему бы не поступить в педагогический... В это время красная кофточка отделилась от стола и пошла в нашу сторону, а я внезапно и неожиданно горячо заговорил: — Но у меня есть ребята. Мальчишки. Мне интересно с ними. — Красная кофточка приближалась, я уже видел лицо с блестящими кудряшками. — Только у меня есть сомнения, вдруг из меня не получится учитель, и я не стану работать в школе? Я ведь могу и другую работу найти с дипломом биофака. Честно ли это?

Старик сказал, что ценит мою совестливость, а в это время Марьяна прошла совсем рядом и направилась к выходу. Тут я сообщил старику, что уроки биологии в школе меня совсем не удовлетворяют, а можно сделать их иными, главное же — научить ребят любить и знать природу.

— Пестики, тычинки... А на уроках дохнут мухи, — задумчиво продолжил старик, снова вскинул голову, словно бы прищурившись, взглянул в будущее. — А между прочим, учиться у нас очень интересно. На кафедре ведется серьезная научная

работа, есть ДОП — дружина охраны природы, и люди там работают прекрасные. Я вас не уговариваю. Подумайте.

— Я подумаю, — пообещал я, старик был мне очень симпатичен.

На улице, пока Маркова знакомилась с Динкой, я огляделся, но Марьяны уже след простыл. Я глубоко вздохнул и понял, что завтра приду сюда с документами. И гора свалилась с плеч, будто вышел на огонек, и дорога к шоссе известна, а там ходят машины.

Ленка позвала пойти погулять.

В пустой аллее парка я поднял толстую ветку и забросил далеко вперед. Динка стремглав помчалась за ней, а я за Динкой. Я сдерживал в себе дикий победный клич освобождения, который испустил бы, не будь тут Ленки. Она, запыхавшись, догнала нас и предложила покататься на лодке. По большому пруду скользили редкие в будний день лодочки и водяные велосипеды.

Мы катались на лодке, и Ленка, играя ямочками на щеках, с воодушевлением повествовала мне о перевороте в школьной жизни и новаторах-педагогах. Как приятно, что мы встретились, и она оказалась такой славной. Я смотрел на нее, но иногда не слышал, а разговаривал про себя с Марьяной, объяснял ей, втолковывал про недоразумение между нами, я признавал, что виноват. Сидела бы она здесь, рукой в воде болтала, слушала и все бы выслушала — уйти можно только вplashь.

Потом мы с Ленкой ели пирожки в кулинарии и глазели, как художники оформляют витрину универмага. Пошел парной и легкий, как дышание, дождик, мы переждали его под аркой дома.

— У меня такое чувство, — застенчиво сказала Ленка, — что когда-то давно мы с тобой дружили, потом разбегались, а теперь встретились. И прежнее осталось и новое прибавилось. Я очень рада.

— Хороший ты парень, Ленка, — сказал я с чувством.

У нее одна бровь взлетела, лицо стало озадаченным. И тут я подумал: елки-палки, кажется, она что-то ко мне питает. И что же теперь делать? Но подумав еще минутку, я понял, что ничего делать не надо.

Проводив Ленку, я зашел к Лешкиным родителям за адресом, а возвращался — уже смеркалось. За весь день я ни минуты не ощущал сомнений или досады на свое внезапное решение.

Вечер был теплый, домой не хотелось. Я шел с собакой по старым улочкам. В домах зажегся свет, окна были совсем низкие, так и тянуло туда заглянуть. Я заглядывал. И вдруг заметил, что форточки в домах открываются не вовнутрь, а наружу, и похожи на протянутые для пожатия руки.

"Уральский следопыт" — 94

ПРОЗА

- БЛОК Л.**
Гонорар мистера Эренграфа. № 4
- ГЕОРГИЕВ С.**
Правдивое жизнеописание короля Уго II-го. № 1
- ГЕОРГИЕВ С.**
Простодушный Ганс. № 9
- КОРОТКОВ Ю.**
Спас Ярое Око. № 1, 2
- КОВАЛЬ Ю.**
Сэр Суер-Вьер. № 9
- КРАПИВИН В.**
Бронзовый мальчик. № 3, 4, 5—6
- ЛАЗАРЕВА Н.**
Лешачок. Три тополя. Гадания. № 9
- МАНФЕРТ Д.**
Ловушка для наемника. № 9
- МАТВЕЕВА С.**
Ведьмины круги. № 10, 11—12
- МЕРТВАГО А.**
Парижские огородники. № 8
- МОСКВИНА М.**
Рассказы. № 9
- РОНЬШИН В.**
Четыре страшилки. № 9
- ТУШЕЛЬ К. Х.**
Экспертная система. № 7
- ЧУМИЧЕВ Л.**
Остались былицы. № 8

ПОЭЗИЯ

- ГОЛЬД А.**
Стихи. № 8
- ЗАСТЫРЕЦ А.**
Стихи. № 7
- ИЛЬИНА Е.**
Стихи. № 5—6
- КАЗАРИН Ю.**
На краешке тепла. № 1
- КУЗИН В.**
Стихи. № 11—12
- НАЙДИЧ М.**
И падало солнце на землю... № 2
- НАЙДИЧ М.**
Стихи. № 11—12

- РЫЖИЙ Б.**
Стихи. № 3
- СИБИРЕВ В.**
Стихи. № 9
- СТАНЦЕВ В.**
И ты не забудь обо мне... № 10
- СУХОВ Ю.**
Стихи. № 4
- ФЕДОРОВА Т.**
Стихи. № 5—6

"АЭЛИТА"—94

- АНДРИЕНКО А., ЕРИМЕЕНКО Р.**
Черно-белое. № 11—12
- АНДРОШУК И.**
В лабиринтах Инфора. № 8
- БАЮШЕВ Д.**
Чистый разум. № 9
- ГАПЕЕВ В.**
Микроб на лысине. № 11—12
- ГАРКУШЕВ Е.**
Биологический возраст. № 11—12
- ГРОМОВ А.**
Наработка на отказ. № 2, 3, 4
- ДРУГАЛЬ С.**
Закон равновесия. № 5—6
- ЗЕЛИЧЕНОК А., БУРМИСТРОВА Е.**
Пленник. № 11—12
- КОСТЕНКО О.**
Ловцы бульдозеров. № 11—12
- ЛАВКРАФТ Г.**
Таинственный высокий дом в тумане. № 5—6
- ЛИНЦ К.**
Свет и кровь Галагара. № 5—6
- МОИСЕЕВ А.**
Спасатель. № 7
- МЯСНИКОВ В.**
Загарай. № 11—12
- НЕМЧЕНКО М.**
Гостеньки из мироздания.
- Вылазка в мрак. № 11—12
- ПОКРОВСКИЙ В.**
Отец. № 11—12
- ПРАШКЕВИЧ Г.**
Приговоренный. № 1, 2

- ЩЕПЕТНЕВ В.**
Кормить зверей воспрещается! № 10
- Заочный КЛФ.** № 1—12

КРАЕВЕДЕНИЕ

ОДИННАДЦАТЬ УРОКОВ ИЗ УРАЛЬСКОЙ ИСТОРИИ ПО БЕЛУ СВЕТУ ТРОПОЙ ПОИСКА СТРАНА ТОПОНИМИЯ ДАВНЫМ-ДАВНО РУКОМЕСЛА МАЛЫЕ ГОРОДА РОССИИ ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ АВТОГРАФ

- АЮПОВА Г.**
Дюжина индюков... № 4
- БАЙДИН В.**
Антихрист у власти. № 3
- БАЙДИН В.**
Пути-дороги инока Паисия. № 4
- БЕЛОБОРОДОВ С.**
История "кровожаждущего" архимандрита. № 5—6
- БЕЛОБОРДОВА И.**
Святочные "страшные" вечера. № 2
- Библиотека-музей. № 3
- БЕНЬКОВСКИЙ Л., ОЖИГАНОВА М.**
Заповедная Вишера. № 4
- БУАЛО-НАРСЕЖАК**
Ограбление почтового поезда. № 11—12
- ВАЙСБЕРГ Б.**
Последняя экспедиция капитана Гарнета. № 10
- ГАРБУЗОВ В., КОЛОСОВ В.**
Крест с берегов Арала. № 4
- ГОРБУНОВ Ю.**
Легенда о княгине Ольге. № 3
- ГОРБУНОВ Ю.**
Малуша-любечанка. № 5—6
- ГОРБУНОВ Ю.**
Горислава. № 7
- ГОРБУНОВ Ю.**
Невеста из Царьграда. № 9

ГОРБУНОВ Ю.
Верхушлава из Большого Гнезда.
№ 11—12

ДМИТРИЕВА Т.
Тайны водяного мамонта. № 3

ДУНЯШИН А.
Мой Харламов. № 10

Журнал "К". № 2

КАРЕЛИН А.
Что в имени твоём, вершина... № 5—6

КОЛЕСОВ А.
Третий русский паровоз. № 2

Краеведческая копилка. №№ 4, 5—6, 9

ЛЕЗИНСКИЙ М.
Во всем виноват Дюма. № 1

ЛЯПИН В.
Сибирского железа пушки. № 9

МАНГИЛЕВ П.
Поморское согласие. № 8

МЕЛЬЧАКОВА О.
Уральские заводы и власть. № 7

МУДРОВА Н.
Раритеты Мокея Нечеухина. № 8

НЕЧАЕВА М.
Хочу принять постриг... № 11—12

НОВОКШОНОВ П.
Чей же ветер "Баргузин"? № 3

ПОСКРЕБЫШЕВ О.
Дороги. № 8

Пустозерские страдальцы. № 1

ПУРОНЕН В.
Записки старого юриста. № 8

Разговор в учительской. № 1

РЫЖОВА М.
И еще о "Санси". № 8

САФРОНОВ В.
Страна сибиров. № 1

ХОХЛАЧЕВ В.
Матэ — парагвайский чай. № 2

**НАУКА И ТЕХНИКА
ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
ОГОРОД "УРАЛЬСКОГО
СЛЕДОПЫТА"**

**ВЕРСИЯ
НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ
МУЗЕИ**

АБРАМОВ Ю., ЕЛКОВ И.
Полигон. № 2

БЛЮМ А.
Перед прочтением — сжечь. № 7

ГОРБУНОВ Ю.
Замечательны тем, что жили. № 2

ГРАЧЕВ А.
Холодный синтез на "бис". № 1

ДЕБЕРДЕЕВ В.
Земля—орбита—Земля. № 4

ДОМОВ М.
Бог Род и его дети. № 7

ИЩЕНКО Е.
НЛО — свидетельства древних славян.
№ 7

КОСТРОВ М.
Рдейский рай. № 5—6

Лауреаты Демидовских премий. № 1

МИХАЙЛОВ М.
Пирамиды Египта. № 9

МИШЛАНОВА Л.
Дорогая наша Флора и Фауна... № 9

МЮЛЛЕР И.
Яйва — таежная река. № 9

ПИСКУНОВ А.
Почему вымерли мамонты. № 8

ПЛОТНИКОВА Т.
Будет буря? Мы поспорим. № 10

РЫЖИКОВ А.
Неуловимый или несуществующий?
№ 10

СЕНТЯБРЕВ Ю.
Спутник планеты "Галилей". № 2

СИДОРОВ М.
Горщик — слово уральское. № 1

ШИРИНОВСКАЯ Л.
Челюскинец Факидов. № 2

ЯРОВОЙ Ю.
Страна каменных идолов. № 7

**КЛУБ СОБИРАТЕЛЕЙ
НАШИ ИНТЕРВЬЮ
В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО
КТО ВО ЧТО ГОРАЗД
МИР НА ЛАДОНИ
ЭКЗОТЫ НА ОКНАХ**

БИАНКИ Е., РУСАНОВ В.
Сундучок Виталия Бианки. № 1

ДМИТРИЕВ А.
Злоключения твердого червонца.
№ 5—6

ДЬЯКОВА Л.
Театром единым... № 5—6

ИВАНОВА А.
Мульттики а ля Аляшев. № 9

КОЛПАКОВА О.
Все вороны были в сборе. № 9

ЛОБАШЕВ А.
Удивить меня трудно. № 8

ЛОБАШЕВ А., РУДЕНКО В.
Корея: Ют-нори и другие. № 2

ЛОБАШЕВ А., РУДЕНКО В.
Патолли. № 7

ЛОМАКИН С.
Люблю навек. № 3

МАКЕЕВ А.
Мудрому слову цены нет. № 5—6

Мир на ладони. № 1, 2, 3, 4, 5—6,
7, 8

ПОПОВ В.
Гавайская гитара. № 5—6

ПУРОНЕН В.
Чи доспехи тяжелее? № 10

РУДЕНКО В., МОШКИН С.
Екатеринбургер—93. № 3

СЕМЕНИН А.
Земляничник. № 4

СЕМЕНИН А.
Пастернак. № 7

СМЫШЛЯЕВ М.
В них обретает сердце пищу... № 10

СТОЛИЦЫН В.
Наследник молодого Пушкина. №
11—12

ТЕРЕШКИНА Р.
Куклы народов мира. № 1

ХИТРОДУМОВ Е.
Снежная кавалерия. № 11—12

ЧЕКМЕНЕВА Л.
Птица Сирий на ромашковом лугу.
№ 4

ШИНКАРЕНКО Ю.
Дубовые дощечки. № 3, 11—12

ШИРОКОВА Н.
Узловат узор очарует взор. № 11—12

ШУМИЛОВ Е.
Самобытная пластика. № 10

ЮРЬЕВ Л.
Легенда о колючей красавице. № 10

Нина ШИРОКОВА

УЗЛОВАТ УЗОР ОЧАРУЕТ ВЗОР

Снур, снурок, шнурок, шнур... Кто не догадается, что это — нить, бечевка? Скрученная, свитая, ссученная или сплетенная... Вспомним наугад: лапти, корзины, половики — вещи разные, но способ изготовления один — плетение. Плелись девичьи косы, рыбацкие сети, пастушьи плетки, узоры на гусарских венгерках; плелись кружева — это потом появились коклюшки, крючки, спицы. Плелись хитрым перевоем, впереворку, завязывались всякими дивными узлами — не только абстрактным "узелком на память", вошедшим в поговорку, но и конкретными, такими, как узел "калач", известный на Руси как символ благоденствия, процветания; два "калача", связанные между собой, олицетворяли верное и надежное супружество... Наверное, искусство плетения — самое интернациональное и самое древнее, известное на Земле. Поэтому и существуют самые разноязыкие названия узлов: русский "калач", французский "узел Жозефины", "китайский" узел... По-разному завязанные узлы наделялись свойствами накопления и передачи информации, тайным смыслом, который можно было распознать по форме, размерам, цвету, по взаимному сочетанию. Тайны эти знали жрецы Ассирии и Египта, магическим свойствам узлов придавали значение в Китае, Северной Америке, России. В египетских гробницах, например, найдены образцы узелкового плетения, которым более четырех тысяч лет. А в древней культуре инков существовала даже развитая система узелковой письменности.

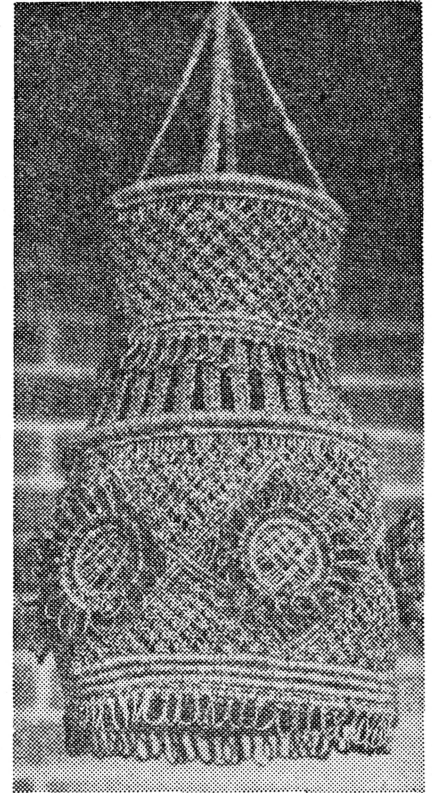
Но все же, несмотря на все любопытные подробности и интересную историю, — откуда взялось название этого вида рукоделия, основой которого стал узелок? Откуда взялось слово "макраме"? Мы можем искать истоки узелкового плетения в Древнем Китае или Японии, сослаться на французский "прононс" и рыскать по странам Европы, заглядывая мысленно в первобытные пещеры, где связывалось растительное волокно и полоски шкур, или грешить на

моряков, издревне славившихся своим умением завязывать узлы на канатах... Но истоки самого слова — "макраме" — обнаружатся в арабском слове "миграмах" — что означает платок, шаль, покрывало на голову, и в турецком слове "макрама" — нарядный платок или шаль с бахромой. Ну и, потом уже, нагулявшись вдоволь по разным странам света, это слово превратилось в знакомое нам "макраме" — искусство плетения.

Бог знает, когда техника этого причудливого ремесла пришла из стран Востока через Испанию в Европу. В XV столетии крестоносцы принесли его в Италию. К этому времени в большом ходу оказались шелковые нити, гарус, золотые пряжи — нарядные кружева и бахрома украшали камзолы вельмож, накидки и капюшоны дам. Несмотря на всю пышность французского двора Людовиков, золотым веком макраме считается викторианская эпоха в Англии, когда искусство плетения проникло в разнообразные предметы быта и стало так популярно, что дошло до изготовления хитроумную сплетенных скатертей, покрывал, абажуров, отделок ширм, кресельных и диванных накидок и так далее.

И по сей день есть мастерицы, которые умеют плести "большой объем" — шали, полотенца, шторы, скатерти, даже ковры. Более доступны все же оказались "малые формы", в основном плетеные детали для женской одежды — вставки, кокетки, воротнички, карманы, манжеты, погончики, а также всякие очаровательные безделушки — очешники, ремешки для часов, просто поясные ремешки, галстуки, кулоны, оплетка для сосудов, плетеные сумочки, кашпо, декоративные салфетки, настенные украшения.

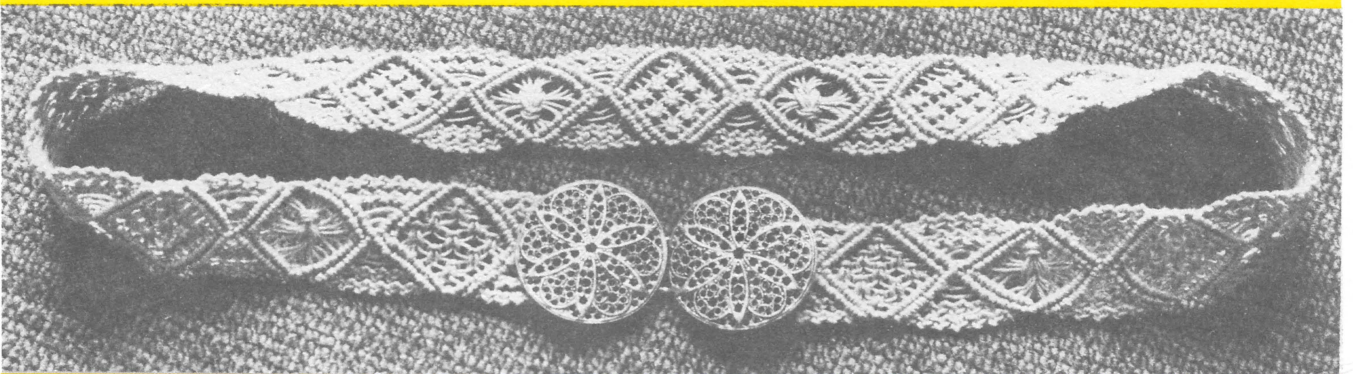
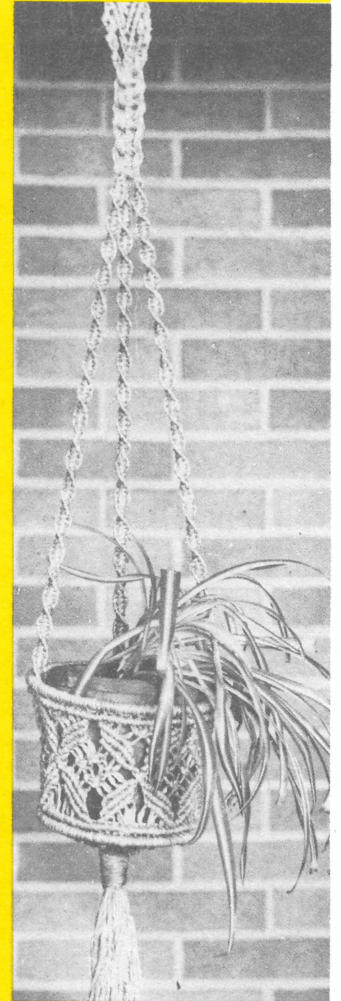
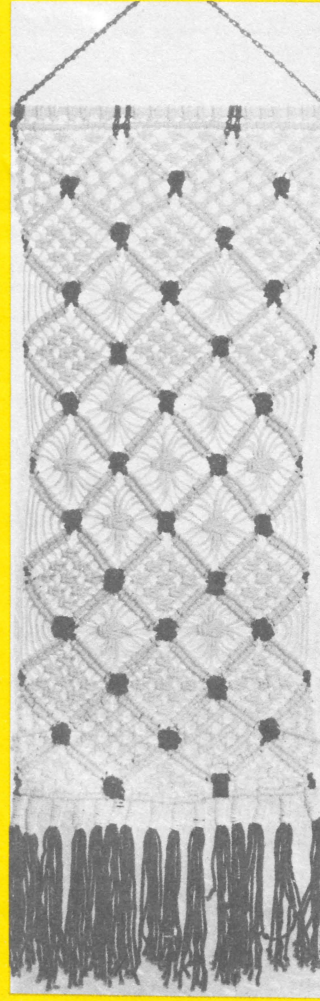
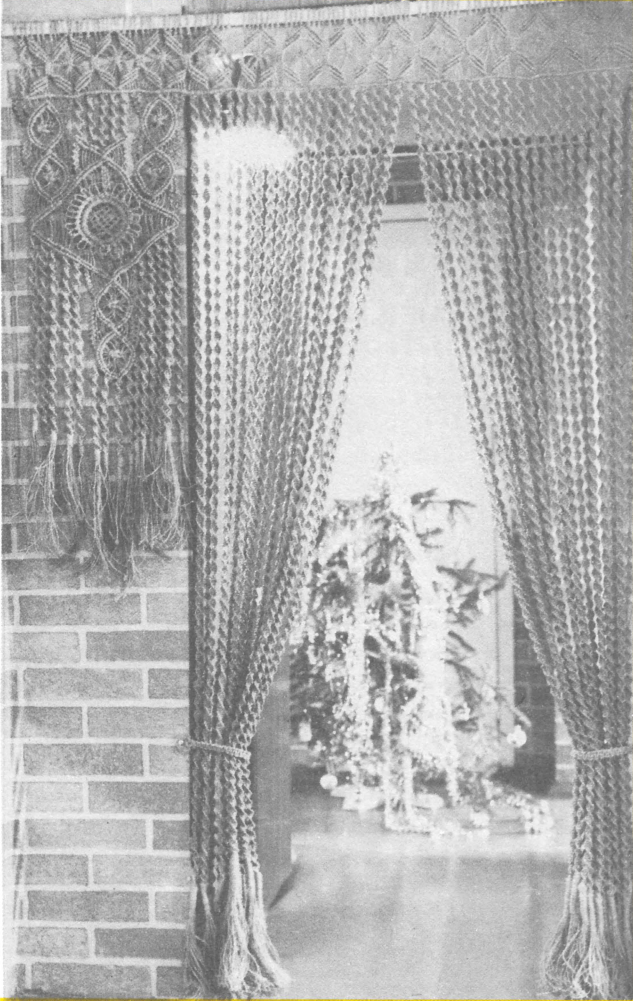
И хотя для дела здесь нужен только один инструмент — умелые пальцы, искусство это, конечно, не простое: оно требует терпения, сообразительности, памяти и, разумеется, "сырья", иногда и в большом количестве — бечевки, веревок, тесьмы,



нитей и т. д. Но овладеть им, как видите, можно — вы убедитесь в этом, взглянув на прекрасные работы екатеринбургской мастерицы Лилии Феловой. Не боги горшки обжигают!..

Хотите попробовать?.. Тогда вернемся к нашим лаптям — то есть, к нашим ботинкам и туфлям, где есть снурок-шнурок. Поперевивайте его концы и так и эдак — перекрутите, соедините, поиграйте. Только не завязывайте простой "бабий" узел, чтобы потом не развязывать зубами. Затяните слегка "репейком" — бантиком, захлестните концы снова и сделайте еще петельку...

Ну, вот и — первый урок макраме. И пусть ваши руки потянутся теперь к ниткам или веревочкам с желанием сделать себе просто кошелек, косметичку или ремешок. Удачи и успеха!



Вот и окончился 1994 год. Он был трудным для всех. Но в Новом году хочется вспоминать хорошее, желать друг другу всего доброго, дарить подарки...

Вот и мы, сотрудники "Уральского следопыта", хотели бы поздравить всех своих читателей с праздником и пожелать Вам в 1995 году благополучия, здоровья, счастья и еще — чтобы Вы всегда оставались с нами.

Надеемся, что содержание журнала в новом году не разочарует Вас и станет приятным дополнением к Вашим новогодним подаркам.

Думаем, что Вам понравится и наше нововведение. В каждом номере, на четвертой странице обложки, мы будем публиковать краткое содержание последующих номеров, и Вы всегда будете в курсе наших ближайших планов. И те из Вас, кто не успел или не сумел из-за материальных затруднений подписаться на наш журнал смогут, зная содержание будущих номеров, выписать любой из них либо на почте, либо обратившись в редакцию.

В первом полугодии 1995 года на страницах "Уральского следопыта" Вас ждет новая встреча с героями повести Владислава КРАПИВИНА "Лето кончится не скоро". Преодолевая жесткие, а порой и жестокие реалии современной действительности, ребята в мечтах и на деле стараются осуществить свои замыслы — пытаются построить более справедливый и добрый мир.

Ошеломит Ваше воображение исключительный по динамике развития событий, неординарности и напряженности сюжета приключенческий боевик Андрея ИЛЬИНА "Тайные люди" (Записки невидимки). Публикация его начнется уже в 1-ом номере. Русский ниндзя, или, как у нас принято называть, боец невидимого фронта, выполняя секретные задания спецслужбы, постоянно оказывается в таких ситуациях, из которых, кажется, уже нет выхода...

Один из номеров "УС", как и в минувшем году, будет почти полностью адресован младшим подросткам. В подборке "ОИ, КУДА МЫ ЗАЛЕТЕЛИ!" представлены многотемные материалы знаменитых и пока неизвестных авторов, пишущих для детей.

Отдел фантастики продолжит работу в традициях В. И. БУГРОВА. Вы получите книгу фантастических повестей и рассказов "АЭЛИТА-95", составив ее из листов, которые достанете из середины журнала. В первом полугодии в "Аэлиту" войдут: повесть екатеринбуржца Андрея ЩУПОВА "Холод Малиогонта" — о схватке сегодняшней российской мафии с магами и колдунами; повесть известного новосибирского писателя-фантаста, лауреата приза "Аэлита" Геннадия ПРАШКЕВИЧА "Демон Сократа" — об аномальных явлениях и контактерах; рассказы российских авторов. На обложке "Аэлиты" — картины художника-фантаста Анатолия ПАСЕКИ. "ЗАОЧНЫЙ КЛФ", построенный на письмах читателей, будет освещать жизнь и проблемы клубов любителей фантастики; здесь же продолжится "ИГРОТЕКА". Отдел фантастики предложит вам еще две постоянные рубрики — "КОСМОНАВТИКА" и "УФОЛОГИЯ".

Краеоведам предлагаются многочисленные материалы под новыми и уже полюбившимися рубриками "России царской ордена", "СЕНСАЦИИ", "КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОПИЛКА", "ЖЕНЩИНЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ", "ВЕРСИЯ", "МИР НА ЛАДОНИ" и многим другим.

Меломаны вновь встретятся с нестареющей группой "ЧайФ", познакомятся с новыми восходящими звездами поп и рок музыки.

Садоводы и огородники получают полезные рекомендации по выращиванию комнатных и садовых растений, рецепты хранения и приготовления различных овощей и фруктов.

Мы постараемся не забыть интересы всех возрастных групп наших читателей, чтобы подкрепить лестное для "Уральского следопыта" звание — журнал для семейного чтения.